

Архив Российской академии наук  
Архив Мих. Лифшица

Мих. ЛИФШИЦ



**ПРОБЛЕМА  
ДОСТОЕВСКОГО**



**(РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ)**

Москва  
Академический Проект  
2013

УДК 1/14  
ББК 87  
Λ 64

Публикация В.М. Герман, А.М. Пичикян, В.Г. Арсланова

Издательство благодарит за содействие в публикации  
директора Архива РАН В.Ю. Афиани,  
зав. отделом Архива РАН Е.В. Косыреву  
и зав. читальным залом И.Г. Тараканову

**Лифшиц Мих.**

Λ 64 Проблема Достоевского (Разговор с чертом). — М.: Академический Проект, 2013. — 267 с. — (Современная русская философия).

ISBN 978-5-8291-?

Ф.М. Достоевский поставил проблему, на которую пока не сумела ответить современная цивилизация. Решение этой проблемы, восходящей к «вечным вопросам» (бессмертия, смысла мира, абсолюта), полагал Мих. Лифшиц, способен дать марксизм. В книге представлены фрагменты и наброски не написанной Лифшицем книги о Достоевском, в том числе его незаконченный памфлет «Разговор с чертом» и полемические заметки о М. Бахтине. В споре с отечественными «младотурками» 60-х гг. Лифшиц показывает, что их «творческий марксизм» был возвращением к вульгарным представлениям о творчестве Достоевского 20–50-х гг. (В. Ермилова, В. Кирпотина, Я. Эльсберга). Комментарии А.Н. Столовича рассказывают об истории создания памфлета «Разговор с чертом», а комментарии В.Г. Арсланова ставят спор Лифшица с советской интеллигенцией в контекст современных политических событий — митингов «За честные выборы».

УДК 1/14  
ББК 87

ISBN 978-5-8291-?

- © Архив Мих. Лифшица, 2012
- © Оригинал-макет, оформление.  
Академический Проект, 2013
- © Арсланов В.Г., сост., предисл., 2012
- © Арсланов В.Г., Столович А.Н., коммент., 2012
- © Арсланов В.Г., Ботвин А.П., примеч., 2012

## ПРЕДИСЛОВИЕ

История советской России XX века — история несбывшегося, имеющего, однако, известную реальность. «Неосуществленное, — писал Мих. Лифшиц, — входит в общий баланс осуществления целого и часто бывает ближе к сердцу его, как первый набросок может быть ближе к цели, чем законченная картина. Нельзя ценить только победителей». Может быть, и сама жизнь людей имеет смысл потому, что неосуществленное входит в ее состав. В последние годы книги, составленные на основе материалов обширного архива Мих. Лифшица (1905–1983), его незавершенные работы находят дорогу к читателю<sup>[1]\*</sup>.

В настоящем издании представлены наброски Мих. Лифшица к задуманной им в 60-е годы прошлого века, но не написанной работы о Достоевском, а также другие материалы, имеющие отношение к этой теме.

Достоевский, по убеждению Мих. Лифшица, сложившемуся еще в 30-е годы, — один из «великих консерваторов человечества». Тема «реакционной демократии», «темной демократии» возникла в т. н. литературно-философском «течении» 30-х годов (Г. Лукач, В. Гриб, В. Александров, И. Сац, Е. Усиевич и др.), духовным лидером которого являлся Мих. Лифшиц.

Проблема Достоевского, доказывает Лифшиц в публикуемых ниже материалах, стоит перед марксизмом и перед всем современным человечеством как вопрос, заданный Сфинксом. Одна сторона этого вопроса: откуда «бескорыстно злое», любовь к жестокости, радость уничтожения и одновременно — жажда бездумной жизни, которая охватила современный мир? Достижение всеобщей сытости эту проблему не решает, а только обостряет. Другая его сторона: если бога нет, то все позволено? Зачем бескорыстие и совесть, зачем вообще идеальное, да и есть ли оно в реальности, если личного бессмертия нет? — внушает черт Ивану Карамазову. Проблема Достоевского, полагает Лифшиц, имеет прямое отношение к судьбе России в XX веке, к пути, который она выбрала. Если мы хотим понять, что произошло со всеми нами, если мы хотим найти выход из тупиковой ситуации, то должны умными глазами читать Достоевского.

В трудный, поворотный для его жизни момент, накануне публикации памфлета «Почему я не модернист?» (1966), Мих. Лифшиц обращается к Достоевскому, к его полемике с чертом. У Достоевского черт предстает в облике вполне приличного, но несколько потертого господина пореформенного времени, либерала, мечтающего о старом добром «огоньке» средневековых костров. В наши дни разоблаченные Достоевским

---

\* Здесь и далее цифры в квадратных скобках служат отсылкой к примечаниям В.Г. Арсланова и А.П. Ботвина, помещенным в конце книги.

«бесы» скрываются под новыми масками. Они пишут статьи и книги, исполненные праведного гнева против бесовства — в первую очередь, конечно, «бесовства» большевистской революции. Но кто же был бесом в этой революции? И почему революция, поставившая себе в октябре 1917 года целью отрицание всякой азиатчины, парадоксальным образом дала ей новую жизнь? Потому, отвечает современная историческая наука вслед за Плехановым и меньшевиками, что революция опиралась на «архаическую крестьянскую демократию», т. е. на «матушку Азию». Лифшиц иначе отвечает на этот вопрос, ключ к пониманию истории России он видит не в абстрактном противопоставлении Востока и Запада, а в двух разных формах их соединения. Одно дело — соединение Востока и Запада, которое дало России Ломоносова и Пушкина, Московский Кремль Аристотеля Фиораванти и русский классицизм XVIII века, музыку революции, которую услышал А. Блок в январские дни 1918 года, победу во Второй мировой войне и полет Гагарина. И совсем другое их соединение — азиатские формы бюрократизма и низкопоклонства, псевдорелигиозная мифология литературы «бюрократического оптимизма» и возрождение крепостного права в середине XX века, бандитский паразитический капитализм наших дней. Именно потому, что эти две формы соединения Азии и европейской культуры тесно между собой переплетались и смешивались, задача дня — понять их принципиальное различие и проложить дорогу тому типу развития, который дал миру то, что не будет забыто, в том числе — творчество Пушкина, Толстого и Достоевского.

В центре онтогносеологии Мих. Лифшица, его «теории тождеств» — метод различения (*distinguo*), не в последнюю очередь различение зла, невольного творящего добро, от всяческого рода чертовщины, не заключающей в себе никакого положительного начала. По убеждению Лифшица, такой чертовщиной является «анархобесия» современности, рядящаяся в одежды революционного отрицания. Между тем она представляет собой на деле не революцию — «силу хранительную» (Герцен), а серую обывательщину, мелочное самолюбие ничтожествов, сеющее вокруг себя в конечном счете ложь и скуку. Как и почему ничтожное приобрело в современном мире власть и значительность, как и почему смогла «ветوشка» Достоевского превратиться в удавку?

Итак, вниманию читателей предлагается разговор с чертом, состоявшийся, если верить Мих. Лифшицу, в дни войны 1941–1945 годов и продолженный в оттепельные 60-е...

И еще одно, последнее замечание. П.В. Палиевский рассказывал мне, что академик-секретарь отделения языка и литературы АН СССР, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной премий М.Б. Храпченко<sup>[2]</sup> после публикации сочувственной рецензии (под псевдонимом, однако, раскрытым Храпченко) на книгу Мих. Лифшица «Искусство и современный мир»<sup>[3]</sup> говорил ему: «Вы для доказательства своих взглядов готовы связаться даже с таким дьяволом, как Лифшиц».

На протяжении жизни Мих. Лифшиц советовал своему читателю никому не верить на слово, а опираться только на собственную вменяемость и чувство правды, если оно, конечно, у нас есть. Материалы к рассуждению и свободному решению предлагаются читателю этой книги.

Издание подготовлено Научным коллективом «Архив Мих. Лифшица». Составление и предисловие В.Г. Арсланова. Подготовка текстов Мих. Лифшица к печати, комментарии В.Г. Арсланова и Л.Н. Столовича (Л.Н. Столовичу принадлежит комментарий I к истории возникновения памфлета «Разговор с чертом», он предоставил и подготовил для настоящего издания два письма Мих. Лифшица к нему, снабдив их своими примечаниями, авторство которых отмечено инициалами — А. С.). Комментарий II ко всему сборнику написан составителем. Примечания к настоящему изданию сделаны А.П. Ботвиным (его авторство обозначено инициалами — А. Б.), принимавшим также участие в подготовке текстов Лифшица, и составителем.

В квадратных скобках — вставки от составителя.

Знак вопроса в квадратных скобках [?] — расшифровка предшествующего слова вызывает сомнение.

*В. Арсланов*

## I. РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ<sup>[4]</sup>

### I

Недавно, роясь в пыли книжного магазина, я услышал за спиной чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева?

Сонная продавщица ответила, что таких авторов у них нет, а я заинтересовался любителем философии — интересно все же взглянуть на человека, который не Гоголя и Белинского, а Бердяева с базара понесет. Наверно, какая-нибудь старая крыса, если не привидение с того света.

Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы едва пробиваются над верхней губой. Это меня озадачило.

Вы понимаете, что я никому не хочу запретить чтение Бердяева<sup>[5]</sup>. Вот, например, Маркс и Ленин читали авторов разных направлений, в том числе и самых реакционных, а здоровы были. И никто, даже в самые смутные времена, не осмелился внятно сказать, что они делали это потому, что были далеки от народа. Я не могу также устанавливать правила — кому и в каком возрасте разрешается читать то или другое. Ведь я не законодатель платоновской «Республики», в которой даже любовь между мужчиной и женщиной допускалась только по выбору особых должностных лиц.

Но все-таки, понимаете, странно. Много ли этот молодой человек успел прочесть из того, что гораздо ближе к его действительной, а не воображаемой личности? Зачем же ему Бердяев — старый недруг русской революции, участник реакционного сборника «Вехи», один из основателей религиозного экзистенциализма и прочая и прочая? Тут что-то неладно. И я позволил себе нескромность спросить об этом. Боже мой! Вместо ответа молодой человек отбросил меня на исходные позиции ледяным взглядом, полным глубокого презрения. В одну минуту я почувствовал себя троглодитом, далеко отставшим от развития современной мысли.

Само собой разумеется, что такое поведение молодого человека, оскорбившего в моем лице старшее поколение, мне не понравилось. Я начал мысленно кричать на него и топтать ногами. Я ставил ему в пример героическую юность Октябрьской революции, припомнил даже слова моего друга, служившего в Богунском полку<sup>[6]</sup>:

— Подумать только, когда я лежал в госпитале с перебитой спиной и прочел в «Азбуке коммунизма», что вода при ста градусах путем скачка превращается в пар, чему я так обрадовался, ты не знаешь?

Да, были люди в наше время. Они готовы были, кажется, умереть за то, что вода превращается в пар. Наивные люди, но сколько благородного энтузиазма было в этой наивности. А вы-то, нынешние, больно поумнели! С чего это вас на Бердяева потянуло?

Так я кипел, переживая обиду и стараясь получше устроиться в тащанке прошлого. Но здесь мне пришла в голову мысль, что кривые побеги этого молодого растения бросают тень и на меня. Если говорить об ответственности, то где же я был, когда оно принималось расти? Да и смешно ругать стихийные явления — от этого мало бывает пользы. Ну что, например, будет, если я скажу: «Ах ты, сукин сын, дождь! Зачем идешь не вовремя? И без тебя грязно?» Ругательствами делу не поможешь.

Однако молодой человек во цвете лет — это не дождь, а живое существо — личность, обладающая сознанием. Пусть так, но и живые существа могут действовать стихийно, как явления природы, на чем основаны все теории моделирования мозга и т. п. А если мы сами не хотим остаться только природой, «комком реагирующей протоплазмы», как назвал человека основатель американского бихевиоризма Уотсон, то надо, по крайней мере, избегать стихийной реакции и понимать причины.

Какие же тут могут быть причины? Я постарался вспомнить физиономию молодого человека. Лицо как лицо. Ничего демонического в нем не замечалось — ни черных пронзительных глаз, ни крючковатого носа. Глаза, наоборот, голубые, волосы светлые. На ногах, правда, узкие брючки, но кто же теперь носит широкие? По внешнему виду это, скорее всего, студент или молодой рабочий из тех, которые занимаются в литературных кружках. Я не думаю, чтобы он был княжеского происхождения или принадлежал к потомкам фабрикантов. В его родословной деревня была еще видна.

Читает ли этот молодой человек газету «Нью-Йорк Таймс» или журналы «Лайф», «Тайм», «Ньюс-Уик»? Быть может, он извлекает свои настроения из этих популярных органов буржуазной печати? Думаю, что нет. А если допустить, что ему знакома эта литература, что из того? Разве буржуазная пропаганда так сильна? Почему этот юный продукт советского воспитания должен иметь такую хрупкую идеологию?

И тут меня осенило. А что, если к этому делу имел отношение Гвоздили́н? Похоже, право похоже. Гвоздили́н — мой старый знакомый, я помню его чуть ли не с первых лет нашей истории. Уж если Гвоздили́н за что возьмется — никто не устоит. Бердяеву лучшего помощника не надо.

— Да кто такой Гвоздили́н? Вы его знаете, а нам до него дела нет.

— Ошибаетесь, вам есть дело до него и ему до вас. Вот, например, недавно я читал трагическую историю рек. Ведь это Гвоздили́н проводит в жизнь губительный проект осушения пойменных земель, заставляя плакать тысячи взрослых людей.

Там, где ступал сапог Гвоздили́на, трава не растет. Газетные фельетоны каждый день рассказывают о нем новые забавные истории. Они сообщают также, что Гвоздили́н предупрежден или получил выговор.

Теперь вы знаете, кто такой Гвоздили́н. Если по радио льется пошлость на самых высоких тонах и в таком количестве, что ее хватило бы для целой галактики, если все это может вызвать отвращение к любым

идеям — ищите Гвоздилина. Пусть ему дадут выговор или, по крайней мере, укажут на его недостатки.

Представьте себе, что науку о превращении воды в пар читает ex cathedra<sup>1</sup> сам Гвоздилин, а молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, является его слушателем. Это вполне возможно.

Гвоздилин лекции читает — значит, кто-то обязан их слушать. Он книги пишет — значит, у него и читатели. Интересно, что с ними будет? Я думаю так: из пяти случайно выбранных экземпляров один соблазнится лаврами своего учителя и пойдет по его стопам. Это — не лучший из пяти. Трое других махнут рукой на всякие идеи и найдут утешение в своей специальности. Ну, а последний? — Он пойдет в церковь или будет искать Бердяева. Что-нибудь в этом роде неизбежно.

Есть украинская поговорка: «На злысть моеї мати відріжу собі нос — нехай у моеї мати буде дочка без носу». Можно ругать или жалеть дочку без носу, ну а «матю»<sup>2</sup>, что же, выходит, ни при чем?

Все это, конечно, игра случая, теория вероятностей. В другой пятерке может оказаться лучшее распределение. Найдутся такие засухоустойчивые особи, которые поймут объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину, глядя вперед, как бы сквозь прозрачное тело. Но согласитесь, что мы предъявляем в данном случае самые серьезные и высокие требования.

Каждый солдат должен знать свой маневр, сказал Суворов. И так, в чем должен состоять мой маневр перед лицом описанной ситуации?

Я мог бы, например, взяться за критику Бердяева. Нетрудно доказать, что увлечение Бердяевым — дело нестоящее, что мысли, развитые этим изящным поклонником Средневековья, это даже не мысли, а, скорее, умные или просто умственные позы, что они относятся к реальному содержанию нашей головы, как бравурные ариозо Фарлафа — к настоящей храбрости. Я могу утверждать это, во-первых, потому, что это верно, и, во-вторых, потому, что я так думаю, таково мое убеждение.

Но представьте себе, что мне пришло бы в голову взяться за критику Бердяева. Молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, долго разбираться не будет. Он тотчас же смешает меня с Гвоздилиным. Уже само намерение покажется ему оскорбительным:

— Воспитывать меня хочешь? Как бы не так — я не глина, чтобы из меня горшки лепили. Я сам по себе!<sup>[7]</sup>

Одному лектору принесли записку: «Не вкусив от древа познания, нельзя вкусить и от древа жизни, и я не хочу, чтобы кто-то вкушал и дегустировал за меня»<sup>[8]</sup>.

Бывают такие времена, когда желание лично дегустировать все растущее на древе познания не так бросается в глаза и уступает место дру-

<sup>1</sup> С кафедры; непререкаемо, авторитетно (*лат.*). Первоначально имелась в виду церковная кафедра в Риме, откуда папы выступали с посланиями (энцикликами).

<sup>2</sup> Мать (*укр.*). На украинском эта фраза выглядит так: «На зло моїй матері відріжу собі ніс — нехай у моєї матері буде дочка без носа».



гому чувству. В такие эпохи люди, и молодые, и старые, больше всего на свете хотят быть одинаковыми, цельными, простыми, далекими от всяких сомнений. Вспомните времена «энергично функционирующих кожаных курток»<sup>[9]</sup>. Добровольного пламенного догматизма было тогда сколько угодно. А люди более других изысканные — те прямо старались покончить с избытком знания, чтобы покрепче вкусить от древа жизни. Для этой цели, между прочим, боролись против психологических тонкостей в искусстве во имя грубой буффонады, писали утонченно-вульгарные агитки и всячески «обнажали свой прием». Им и не снилось, что это их самоотречение в пользу мнимой или действительной коллективности будет когда-то рассматриваться как проявление крайней свободы творчества. Само слово «свобода» было бы ими встречено презрительной усмешкой.

Когда волна бьет в эту сторону, вы не остановите ее своими критическими соображениями. Но времена меняются, и мы живем в эпоху, когда посредствующих звеньев на свете мало и все приобретает характер «безудержа», иногда просто карамазовского. Таким образом, получается, что одна и та же социальная энергия рождает теперь желание все дегустировать по-своему, и с этим фактом также необходимо считаться.

— Однако существуют истины вполне достоверные и прочные, не так ли?

— Так. «Дело прочно, когда под ним струится кровь», сказал поэт, а крови уже пролито немало. Я думаю, что истины марксизма, вообще говоря, не нуждаются в новой проверке, но... вообще ставить вопрос нельзя.

— А конкретно?

— Конкретно выходит так, что если я хочу сократить расходы на всякие новые дегустации, ибо расходы могут быть велики, мне надобно, прежде всего, отмежеваться от Гвоздилина. Другого пути нет.

И не потому, что, раз смешав меня с Гвоздилиным, сей юный, но придирчивый сын века не станет нас обоих слушать или читать, а если прочтет, то с таким предубеждением, которое может увести его бог знает куда. И получится, что я своими руками буду содействовать глупой моде, успеху вредных и реакционных идей. Ведь идеи, как сказал один французский писатель, похожи на гвозди — чем больше по ним колотишь, тем глубже они входят. Вот почему я должен отмежеваться от Гвоздилина.

Да, но что из этого выйдет? Если сказать все, что я о нем думаю, не будет ли это слишком? И не подхватит ли мои слова нечистая сила? Всякое ликвидаторство, всякая арьергардная тактика, делающая уступку за уступкой ходячим идеям-вирусам буржуазного мышления, мне глубоко противны. Если молодой человек, испорченный Гвоздилиным, бросается на блестящую дрянь, как рыба на крючок, это еще можно понять. Мне же искать выхода посредством лести толпе — не той старой толпе, которая, по римскому обычаю, кричала Калигуле: «Ты наше солнышко!», а той новой толпе, которая задним числом показывает ему кукиш, было бы грязно. Пусть уж этим сам Гвоздилин занимается. Я совершенно уве-

рен в том, что он сумеет найти форму приспособления. Внутренне я уже вижу, как он расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо и, самое главное, преследует узкие души, не способные вместить всю широту современности.

В общем, дело запутанное, хуже, чем с травосеянием. Вот почему мне становится грустно при одном взгляде на перо и бумагу. Не осуждайте меня за робость, вспомните лучше деда из «Заколдованного места» Голя:

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать, — заблелая баранья голова.

— Слово сказать, — рывкнул медведь.

## II

Для пронизательного читателя я хотел бы заметить, что эти беспорядочные мысли выражают мое настроение по выходе из книжного магазина — не более. Я отвечаю за них лишь частично, как автор литературного произведения отвечает за речи своих героев.

Правда, должен признаться, что настроение мое в этот момент оставяло желать лучшего. Я шел по Ленинскому проспекту, и черные мысли клубились в моей голове, как дым из трубы крематория. Заметив эту минутную слабость, враг рода человеческого шептал мне на ухо слова, полные лжи и коварства.

— Оставь свои заботы! Что значит твой жалкий голос среди шума и грохота этой дьявольской мельницы? Ведь все положения в механизме современности уже заранее определены, и, скажи ты хоть слово, тебя немедленно отнесет или к Гвоздилину, или к его антиподам, и не забудь при этом, что они друг друга лучше поймут, чем юный искатель правды, блуждающий между деревом познания и деревом жизни, поймет твои действительные намерения. В лучшем случае ему придет в голову, что ты хочешь сесть между двух стульев.

— Да, голубчик, предупреждаю тебя, что так и будет. Ты никого не удовлетворишь, а заслужить обвинение в гордости очень легко. Даже друзья будут относиться к тебе с легкой иронией. К чему этот резкий голос, эта преданность старой вере? Будь хоть поклонником Конфуция или Пикассо, но говори то, что принято говорить, — выбора нет, зато попугаи живут долго.

— А порядочным человеком можно быть, даже не сражаясь с ветряными мельницами. Взгляни на порядочных людей — они никогда ни в чем не принимали участия, потому и порядочные. На свете много чистых занятий, выбери любое и воздвигай свой сад. Чем специальное будет твое занятие, тем чище — тем меньше опасность наткнуться на что-нибудь грязное. Положим, ты изобретаешь техническую деталь: быть может, она пригодится для подслушивания разговоров или для поджигания хижин. Но не тебе решать, пойдет ли твое изобретение на пользу добру или

злу. Все это так далеко от нас. Кто-то другой берет на себя твоё бремя, снимает с тебя моральную ответственность. Тебе остается только изящество формулы и авантюрный дух исследования. Боже мой, разве это не достаточно для человека? А в свободное время ты можешь пожить и для души. Почему бы тебе не изучить древнескандинавский язык, если не хочешь забивать «козла»? Ты можешь собирать картины Фешина или репродукции с Модильяни. Люди живут собиранием спичечных коробок — и не жалуется.

По правде сказать, я даже вспотел, мне стало не по себе от этой идеологической диверсии. Не помню, как я оказался в метро, проехал несколько остановок и направился к выходу. Только грозная надпись «Выхода нет» вернула меня к действительности.

— Вот, значит, как... Поп свое, черт свое, а доброму человеку уже и податься некуда. Врешь, нечистая сила! Вот я тебе сейчас прижму хвост, и будешь ты у меня знать, что безвыходных положений не бывает.

С этими словами я нарушил правила движения и быстро поднялся по лестнице, пробивая себе дорогу сквозь толпу равнодушных людей, спешивших вниз. Это меня оживило.

Выйдя на бульвар, я понял, что жизнь продолжается. Гигантский термоядерный котел, именуемый Солнцем, кипел по-летнему. Щедро обрызганная его лучами зелень сияла, как тысячи лет назад. Дети возились в песке. На лавочках сидели пенсионеры, мирно беседуя о культе личности. Все кругом дышало спокойствием, как будто физики еще не разложили ядро урана. Я выбрал свободную скамейку и открыл книгу. Это был томик Достоевского.

Книга открылась на разговоре Ивана Карамазова с чертом. Ну что ж, думаю, сюжет подходит, и стал с удовольствием вычитывать все ругательства, которыми герой Достоевского награждал своего привязчивого собеседника. Вы заметили, наверное, что Достоевский у нас теперь модный классик. В нем открыли нечто музыкальное — полифонию и контрапункт. Не потому ли, что все у нас идет *punctum contra punctum*<sup>1</sup>, так что каждому нынешнему увлечению можно отыскать в недавнем прошлом его прообраз с обратным знаком?

Бывало... Но зачем вспоминать? Теперь вот все пишут книги о Достоевском. Иной пытливым ум самой природой предназначен писать одни заявления, а тоже, смотришь, несет читателю книгу о Федоре Михайловиче. И вот подлость мироздания! — выходит, что и в этой книге окажется что-нибудь дельное.

Итак, я погрузился в чтение «Братьев Карамазовых», наслаждаясь творческой дискуссией между братом Иваном и его собственной тенью, или, как теперь принято говорить, его «отчуждением».

— Лакей, приживальщик, дурак, ты — моя галлюцинация, ты глуп, ты ужасно глуп, не философствуй, осел!

<sup>1</sup> Точка против точки (*лат.*) — контрапунктический тип композиции.

Моя позиция в этом споре определилась с первых шагов — как человек я сочувствовал человеку. Мне кажется, я сам видел эту пошлую улыбку на добродушной складной физиономии господина или, лучше сказать, известного сорта русского джентльмена из «бывших», который привиделся Ивану накануне его острого заболевания белой горячкой. Да, я сам видел эту физиономию, готовую, как сказал Достоевский, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Я так же чувствовал себя оскорбленным этой плоской иронией с оттенком снисходительного внимания в ответ на бешенство Ивана. Черт был исполнен гуманности и заботы о человеке, а человек ни за что не хотел этого принять.

— Не философствуй, осел! Ни одному твоему слову я не верю. Как можно с таким мефистофельским видом нести пошлые фразы времен «Биржевых ведомостей»? С твоей претензией на оригинальность во всех этих антимирах ты удивительно однообразен. В конце концов, если освободить тебя от мнимой новизны, останется мещанин образца 1912 года. Ты проповедуешь домашние добродетели, якый ты к черту лыцарь!

Все это я прибавил, конечно, уже от себя, а последнее даже заимствовал из письма запорожцев турецкому султану. Гневные реплики Ивана Карамазова переключались с моими собственными мыслями, и все это совершенно поглотило мое внимание. Между тем послышался странный шум, похожий на шипение и щелканье испорченного телефона. Я не сразу понял, что этот шум несет в себе какую-то информацию, однако тут выскочили отдельные слова, и, по прошествии некоторого времени, быть может, очень малого, до меня наконец дошло, что кто-то со мной разговаривает.

— Вот ты все дураком ругаешься, а сам ходишь в кабак проповедовать трезвость. Разве я тебе не доказал, что брать на себя ответственность за чужие грехи — по меньшей мере глупо? Не говорю уже о том, что эти волнения страшно вредны для сердечно-сосудистой системы. Неужели тебе недостаток старой войны с Гвоздилиным? Ты хочешь теперь пострадать от либералов? Ну что ж, те и другие охотно почтут твою память вставанием.

Я поднял голову и увидел, что рядом со мной на скамейке сидит гражданин среднего возраста, а по нашим теперешним понятиям — из молодого поколения, одним словом, лет сорока или, может быть, больше, под пятьдесят, «qui frisait la cinquantaine»<sup>1</sup>, как говорят французы. Откуда он здесь взялся, честное слово, не помню. Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Вы, кажется, что-то сказали? — спросил я.

— Во-первых, можешь говорить мне «ты», ведь мы с тобой старые знакомые. А во-вторых, я просто отвечаю на твои мысли.

— Привет! Откуда вы знаете мои мысли? Вы меня разыгрываете, или, может быть, у вас там детектор в кармане? Вы этим занимаетесь?

<sup>1</sup> Под пятьдесят (фр.).

— Значит, не узнаешь, — сказал он, горестно качая головой.

— Нет.

— А помнишь горящий Льгов?

— Ну, помню, дальше что?

— А помнишь, в тех краях станция стояла? Вся такая кудрявая, из дерева вырезанная, наверно, еще при Александре III строили. Утром стояла станция, а вечером — ничего, бритое место. Местное население все разнесло — по винтику, по бревнышку.

Какое-то смутное воспоминание пронеслось в моей голове. Это было в конце 1941 года.

— А мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, на грузовике ехали километров пятьдесят прямо по шпалам. Иначе не проехать — спереди наши уходят, сзади немцы наступают, грунтовая дорога минирована. Помнишь, еще скотина местами лежала побитая. Остался только железнодорожный путь, а рельсы уже сняты — вот мы и катили по шпалам. Ну и езда, я тебе скажу, до сих пор внутренности болят.

— Да, что-то было.

— Так вот, в кузове машины мы с тобой и разговорились о судьбе этой станции. Ты говоришь: им велели не оставлять ничего врагу, они и разобрали — все правильно. А я еще тебе сказал: все-таки не без удовольствия тащили. Когда еще такое счастье выпадет? Тут и патриотизм, и ломать можно, да и в своем углу что-нибудь пригодится. А ломать у нас любят. Помнишь, я тебе песню привел: «Некому березу заломати». А зачем ее, собственно, ломати? Да уж надо. Как это она просто так стоит? Непорядок, ей самой обидно будет. Ну, разве немцы такое поймут? А мы понимаем. Кажется, я тебе даже сказал — это у нас от дьявола.

— Смотри-ка! Вспомни, честное слово. Ты тогда майор был, так, что ли?

— Точно.

— Однако ты здорово сохранился, выглядишь молодо.

— Мы не стареем.

— А как же ты меня узнал?

— Мы с тобой не один раз встречались. Помнишь, нам как-то нужно было лететь из Казани в один маленький городок на Каме — вот как раз тот, о котором, кажется, Горький сказал «не достать руками, не дойти ногами». Зима, железной дороги нет. Ходим мы с тобой на аэродром за несколько километров, а начальник нас вежливо провожает — сегодня полетов нет, погода нелетная, машины в ремонте. Ты все кипел и под конец не выдержал, нагрубил. А он, зная свою силу, так, с улыбочкой, издевается: не вы, мол, а я отвечаю, если мясорубка выйдет, не на чем мне вас переправить!

— Да, помню. Но позволь, разве мы с тобой ходили? По-моему, это был другой, тот, кажется, из Волжской флотилии, в морской шинели.

— Форма одежды роли не играет. Так шли мы с тобой обратно в город и все спорили. Ты горячился, руками размахивал — бюрократов и взя-

точников ругал, а я тебя успокаивал. Помнишь мои аргументы? Социализм без блага невозможен. Раз на все существует два порядка — этому положено, другому нет, значит, в промежутке обязательно заведется нечто. Да это и хорошо, что заведется, — смягчает трение. По закону прожить нельзя, поправка нужна — без этого дела и поросенка не воспитаешь. Так нам классическое наследие говорит, опыт громаднейший. Вот у Островского в «Горячем сердце», если еще не забыл, Градобоев объясняет купцам: Как же мне вас теперь судить? Ежели судить по законам, то законов у нас много... Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов. Вон сколько законов, и законы все строгие. Сидоренко, убери на место! Так вот, друзья любезные, судить ли мне вас по законам или по душе? — Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарыч! И правильно — по-хорошему надо.

Я молчал, подавленный этой болтовней, которая, разумеется, вызывала у меня боли со стороны поджелудочной железы. Но я не знал, что сказать, так как само появление этого гражданина, с его претензией на роль старого знакомого, казалось мне достаточно странным. Между тем у меня не было никаких показаний к белой горячке.

— А то вот еще, если помнишь, мы встретились в самом конце «l'ancien Régime»<sup>1</sup> покойного отца родного и корифея науки, встретились именно в коридоре академии каких-то наук. Мы долго говорили с тобой и, между прочим, о том, каким образом тебе удалось уцелеть в такое-то время, уцелеть от опасности более верной, чем немецкая пуля.

— Ну вот, — стал бы я говорить с тобой о таких вещах!

— Однако же говорил. Бывает и с более осторожным, чем ты. Напомню тебе, если хочешь, что ты мне развил целую теорию на этот счет. Ведь вашему брату только дай случай развить какую-нибудь теорию — вы и готовы, не удержитесь. Будто бы меч несправедливости прошел над твоей головой лишь потому, что ты никогда не поднимал ее слишком высоко, никогда не стремился к преимуществам силы, не цеплялся за эскалатор, идущий вверх. — Тщеславие, друг мой, пустое тщеславие! Я тебе объяснил действие законов случая, который завтра может втянуть тебя в другую букву своей алгебраической формулы. Вот и все! Ты жил просто по недосмотру. В России всегда деспотизм ограничен беспорядком, это у нас неписаная конституция, которая действовала и в сталинские времена. Помнишь, в начале войны один боец сказал: «Немцы погибнут от нашей дезорганизации». Действительно, подходят к укрепленной линии — никого, и вдруг беззащитный город на маленьком клочке земли, отрезанный от тыла водой, — тут упорное, страшное сопротивление. Но я бы сказал более широко — все в этом мире основано на беспорядке. То, что вы называете порядком, организацией, чем-то понятным вашему бедному разуму, есть лишь небольшое отклонение от беспорядка, в котором все направления равны, все безразлично. Эта бесконечная дезор-

<sup>1</sup> Старый режим; *ист.* королевский строй (во Франции) (фр.).

ганизация рано или поздно должна поглотить мелкие очаги вашего сопротивления в этом мире. Поражение обеспечено.

— Пожалуйста, не читай мне популярных лекций по кибернетике. Все это я нашел у Норберта Винера и гораздо раньше у Демокрита, который жил две тысячи лет тому назад. Скажи лучше, кто ты такой и что тебе от меня нужно?

— Неужели до сих пор не догадался? Я — тот, кого никто не любит и все живущее клянет. Впрочем, это определение совершенно устарело. В буржуазную эпоху черт имел классово-ограниченные черты. Он был узким индивидуалистом. В наши дни он живет в коллективе, идет впереди прогресса, творит добро, не впадая, конечно, в абстрактный гуманизм.

Вы понимаете, что услышать такое даже среди бела дня немного страшно. Даже если предположить, что собеседник сбежал с Канатчиковой дачи<sup>[10]</sup>.

— Так ты черт! — сказал я и засмеялся деланным смехом.

Но мой собеседник явно обиделся.

— Я так и знал, что ты не в состоянии этого понять по своей закоренелой марксистской тупости. Ты думаешь, конечно, что я не существую, что я — плод воображения, в лучшем случае — твоя галлюцинация, по словам Ивана Карамазова. Отстал, голубчик. Догматизм, чистейший догматизм! Ты, наверное, из тех, которые отрицали кибернетику, ты просто даже газет не читаешь!

Мой собеседник как-то ощерился, в его глазах блеснул знакомый мне огонек.

— Гвоздилин?! — воскликнул я с ужасом и какой-то радостью. Все показалось мне сразу более знакомым, простым и ясным.

...Кто-то упорно тряс меня за плечо.

— Гражданин, поезд дальше не пойдет. Освободите вагон!

Оказывается, все это было со мной в полусне. На минуту я сбился с пути, мне даже показалось, что мир — это только наше представление. Я проехал свою остановку и находился на станции «Первомайская».

Но я хочу ответить в рагу рода человеческого:

— Врешь, проклятый сатана, чтоб ты не дождал детей своих видеть! Хоть ты и одет по моде, хоть сам сорочинский заседатель тебя не узнает, а мне твои слова все равно сор, дряг... стыдно сказать, что такое. Не стану я слушать твои пошлые речи, потому что все разумное действительно.

Многие еще не забыли формулу Гегеля: «Все действительное разумно». Некоторые помнят даже, что Фридрих Энгельс придал ей материалистическое и революционное истолкование<sup>[11]</sup>. Менее известна другая, обратная сторона формулы Гегеля: «Все разумное действительно». Что это значит? Это значит, что всякая мысль невидимой нитью связана с реальным ходом жизни. Голос разума — это голос жизни, диктат действительности. И ничто его не заглушит, не исковеркает страхом или насмешкой — ни птичий нос, ни баранья голова, ни грозный медведь.

Как существует закон сохранения материи, так в области мысли ничто действительно мыслимое не пропадет, как бы ни казалось оно слабым, ничтожным, уступающим силе и коварству, и злоупотреблению.

Да, мысль не бессильна, вопреки мнению другого немецкого философа, жившего уже в наше время, создателя формулы «бессилие духа»<sup>[12]</sup>.

Все это прекрасно, все это хорошо. И хорошо, что ты веришь в разум и знаешь, что нет безвыходных положений в истории, что все перетрется — мука будет. Но если я ничего конкретно не делал, то все это только доказательство того, что я — хороший, а кому это интересно? Что же все-таки делать?

Как сделать, чтобы меня не зачислили в разряд современных модников, считающих марксизм устаревшей схоластикой? Будьте покойны, Гвоздилин не дремлет — ведь речь идет о его кровных интересах. Он тотчас же объяснит, что к чему, и получится, что я работаю, по крайней мере, на советский отдел «Нью-Йорк Таймс».

Значит, боитесь? — Боюсь, но не так, как вы думаете. Кто прожил большую часть жизни в те суровые времена, когда привычка стоять на своем была связана с опасностью часто смертельной, тот не будет жаловаться на подводные камни в наши свободные творческие дни. Почему бы мне не высказать свое мнение — что от этого изменится? Но примите во внимание, что я принадлежу к той школе, которая оценивает каждое слово не по его номинальной стоимости, а по действительному значению сказанного. Значение это может зависеть от привходящих обстоятельств.

...Я пришел домой и долго думал, как мне *отреагировать* на эту встречу. В самом деле, как мне отреагировать? И так как никаких средств для наведения порядка в мире у меня нет, может быть, к счастью для этого мира и, во всяком случае, к счастью для меня, то я решил писать книгу у Достоевском.

[Приходит черт в образе черносотенца<sup>[13]</sup>]

(На этом рукопись обрывается. — *Сост.*)



## II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И НАБРОСКИ МИХ. ЛИФШИЦА К КНИГЕ О ДОСТОЕВСКОМ

### 1. АРХИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО (1950–1970-е ГОДЫ)<sup>1</sup>

В архиве Мих. Лифшица находятся папки, содержащие подготовительные материалы к его книге о Ф.М. Достоевском: № 247. Достоевский (оранжевая) — 214 стр.; № 246. Достоевский Н. Ф.<sup>[14]</sup> (зеленая) — 54 стр. и № 242. Достоевский (белая) — 131 стр. В настоящем издании воспроизводятся фрагменты из этих папок.

#### а) Записи из папок № 247, 246

Из папки № 247

с. 181–182

**Демократия и либерализм**

(осложнения). Романтизм, реакционная демократия

Два полюса:

а) подло в стране феод[альных] нравов [?] нападать на буржуазию

б) подло поддерживать *либеральную* буржуазию, идущую на сговор с феод[ализмом]

Вывод: нужно различать между *либерализмом* и *демократией*, между *двумя путями развития капитализма*

с. 208. Достоевский не против освобождения, а против освобождения *аракчеевскими методами* — вот источник его популярности. Капитализм, одоляясь у социализма<sup>[15]</sup>, создает невыносимое удушьё.

[Полемика Мих. Лифшица с Г.М. Фридендером и Ю.Ф. Карякиным]

с. 209–214 [Письмо Мих. Лифшица Г.М. Фридендеру<sup>[16]</sup> от 24.III.1956 г.]

Дорогой Юра!

Что это, бунт? Долой культ личности? Я уже Леонид Андреев<sup>[17]</sup> Ну, погодите, покажу Вам, как бунтовать! Дайте только прочесть подряд Собрание сочинений Достоевского под редакцией нового властителя Ваших дум — В. Ермилова<sup>[18]</sup>.

Пока что я успел прочесть только первый том с вступительной статьей [зачеркнуто — с предисловием Ермилова] и не мог не повеселиться по поводу того, как из Поприщина с Голядкиным демократов делают. Что-то и в Вашей статье (из «Звезды»)<sup>[19]</sup> мне показалось о Голядкине

<sup>1</sup> Здесь и далее архивные материалы, как правило, приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

сказано *очень серьезное*. Правда, у Вас его фаустовская раздвоенность изображена не так торжественно, как у Ермилова, человеческое достоинство Голядкина не прямо погибает под ударами капитализма, но все же — противоречие между «пошлостью обыденно-мещанского существования» и карьеризмом заверчено круто. Голядкин выходит «простым человеком», страдающим от «губительных соблазнов» большого города. И не стыдно? Можно простить, что Вы пишете: «самой зарабатывающей на кусок хлеба», но отучитесь, ради бога, от этого превращения марксистской критики капитализма в какую-то *моралистику*. Не хватало еще, чтобы Вы начали казнить «буржуазный эгоизм» в лице Голядкина-младшего, который съел на чужой счет десять расстегайчиков.

Я хотел прочесть «Тьму», чтобы достойно ответить на Ваш удар *прямой наводкой*<sup>[20]</sup>, но нигде не мог достать. Поэтому ответу пока в общей форме — если Андреев развивает мысль Достоевского, то в этом нет ничего удивительного. Удивительно было бы обратное. Все мысли Достоевского нашли себе место в декадентской литературе. Я не понял, отчего Вы с такими предосторожностями сообщили мне о своем открытии.

Нет, это совсем не аргумент. Если Вы хотите сказать, что мысль «нет в мире правых» ложна, то это верно. Она действительно ложна, как и другая мысль, — «нет в мире виноватых», любезная сердцу Толстого. Кроме того, обе эти мысли гораздо старше второй половины XIX века<sup>[21]</sup>. Но отсюда еще не следует, что эти мысли только глупая выдумка. Нет, они имеют свое основание в ложности тех отношений, которые ими выражаются. Действительно, нет в мире правых, пока существуют виновные, пока правые не беспокоятся об устранении тех условий, которые вызывают нравственное уродство. Если правота выступает свысока со своими реформаторскими рецептами, со своим желанием облагодетельствовать меньшую братию, исправить ее пороки, то грош ей цена. Тогда это — «последняя форма, которую придаю себе предрассудки аристократии», так, кажется, сказано в «Святом семействе»<sup>[22]</sup>.

Отсюда Вы можете видеть, что эта проблема стояла и перед людьми сороковых годов на Западе. В России Достоевский только придавал ей более угловатую форму, а родилась она в кружке Белинского и вышла отсюда вместе с родственной проблемой деликатности и «деликатных натур». Есть она и у Чернышевского: вспомните всю его критику морального превосходства, его личную манеру «прибедняться» в нравственном и умственном отношении. Достоевскому принадлежит своеобразное заострение этой критики либерального благообразия (как заостряет он известную идею Белинского в своей речи о Пушкине). «Положительные герои» Достоевского, как Мышкин, положительны не горделивым сознанием своей чистоты, а напротив — тем, что они стесняются ее, чувствуют и свою вину за это, в сущности, счастье, готовы принять на себя грехи мира и преклониться перед малой искрой чело-

вечности, тонущей в целой ночи зла. Это — чисто христианское воззрение, но оно является только односторонним развитием демократической идеи.

С Вами трудно спорить, ибо от общественной, исторической постановки вопроса Вы скользите куда-то в сторону, в сторону фраз, по-моему. «Не либеральные благодетели, а плоские схематики и рационалисты» были врагами Достоевского — не понимаю Вашего противопоставления. Кто такие эти схематики? Социалисты, что ли? Если социалисты, то какие? Если это буржуазные филантропы или мелкобуржуазные прожекторы-утописты, то я не вижу, почему их *политически* нельзя отнести к категории «либеральных благодетелей»? Если, с другой стороны, Достоевский осуждает анархический бунт, то разве анархизм не является той же либеральной блажью навыворот?

Я говорю об историческом, реальном содержании, демократическом зерне идей Достоевского, а Вы мне возражаете, что Достоевский боролся против стеснения свободы и против вырождения ее в цинизм. «Высшая свобода личности, добровольно отказывающейся от своей свободы». По-моему, оставаться в плоскости этих фраз — значит скользить в сторону Леонида Андреева. Почему, собственно, личность стремится по собственной воле отказаться от своей постылой свободы? Эта личность, конечно, не желает, чтобы ее лишили свободы насильно, как лишила свободы самого Достоевского старая царская, помещичья и мещански-чиновническая Россия. Но эта личность не желает также, чтобы ее насильно благодетельствовали сверху, как я говорю или как Вы говорите (думая, что это что-то другое), — она не хочет продать свое богатство «за благоустроенное и гарантированное будущее, где все будет регламентировано и подчищено».

Здесь Достоевский отчасти прав. Его «личность» подозревает, что такое счастье, столь регламентированное и подчищенное, словом — навязанное сверху, будет той же принудитивкой (может быть, новым изданием царско-чиновничьей России). Он прав — достаточно вспомнить южаковские<sup>[23]</sup> прожекты «земледельческих гимназий», народнические идеи организации производства при помощи царского правительства, слова Щедрина о военных поселениях как своего рода «коммунизме», слова Энгельса о том, что в Германии каждая ротная швальня считается зародышем социализма и т. д. А мы с Вами знаем, какие соблазны возрождения феодально-чиновничьих нравов действительно угрожают социализму.

Но что же этой принудитивке у Достоевского в сущности противопоставляется? Богатство личности, говорите Вы, не желающей подвергаться регламентации и т. д. По-нашему, по-марксистски это и есть не что иное, как *мелкобуржуазный бунт* против *правительственно-либерально-социального прогресса сверху*, бунт демократический в своем зародыше, ибо он предполагает возможность *другой формы прогресса*, но совершенно ложный и не демократический по своему дальнейшему раз-

виту, ибо он переходит в критику самой демократии (и социализма), в мелкобуржуазное сопротивление демократии. Дело самое обычное — примеры немецкой группы «Свободных», французской мелкобуржуазной декадентской и анархической демократии времен 1848 года достаточно это поясняют.

Я думаю поэтому, что там, где Достоевский протестует от лица «слепцов и калек», как Вы пишете, «с точки зрения темной и изуродованной массы», он сильнее и более ясно видит, чем когда он говорит от имени «зрячих», с их «богатством личности» и тому подобными фразами. А у Вас получается как будто наоборот. Я думаю, что добровольный отказ личности от своей свободы — реакционная идея, но в ней, может быть, есть крупица верного содержания, если понять ее в смысле критики «зрячих», считающих себя свободными, тогда как они свободны только за счет других («ты для себя лишь хочешь воли»), а такая свобода — ничто. Нельзя быть свободным, если существуют рабы. Или, иначе — *нет в мире свободных*. Лучше христианское самоотречение, чем либеральный или анархический обман свободой.

Вы спрашиваете, как это связывается с двумя путями развития капитализма в России. Как-нибудь напишу Вам, почему мне кажется неправильным, а иногда даже смешным видеть в Достоевском критика капитализма *par excellence*<sup>1</sup>. А пока — напомню Вам известное изречение: подло обрушиваться на буржуазию в стране, где еще не уничтожено засилье феодальных начал. Если бы Достоевский был критиком капитализма в царской России — это было бы не к лучшему для его творчества. Мне кажется, что Вы не делаете ясного различия между критикой денег, ростовщичества, взяток, плутней, спекуляции, всеобщей коррупции и тому подобного, *не противоречащей более свободному развитию буржуазной демократии и капитализма*, и критикой капитализма не с демократической или реакционно-демократической точки зрения, а с точки зрения социализма. Теперь мода пошла на народнические фразы, в которых эта грань теряется. Критику капитализма начинают чуть ли не с Гомера, а это понятие должно с осторожностью и конкретным смыслом употребляться даже по отношению к Толстому, дожившему до XX века. Из этого смешения, недостатка исторической конкретности и проистекает доверие к фразеологической форме, в которую облакается то или другое историческое и классовое содержание. Вижу, что отсутствие хорошей марксистской среды и засилье литературоведческого водолейства в журналах даже Вам вредно.

Вот Вам за Леонида Андреева. Из этого не следует, что я не желал бы выслушать более обоснованные Ваши возражения, выслушать с пользой для себя, но понимаю, что Вам некогда. Так что отложим эту дискуссию, если, конечно, я не разжег в Вас полемического жара.

[Черновик письма Мих. Лифшица без подписи]

<sup>1</sup> По преимуществу, преимущественно (*фр.*).

[Полемика Мих. Лифшица с Ю.Ф. Карякиным<sup>[24]</sup>]

[В папке № 246 «Достоевский». Н. Ф. (зеленая) находятся оттиски статей Ю.Ф. Карякина о Достоевском с дарственными надписями:]

1. «Достоевизм» или «достоевщина»? (Литературное обозрение, 1980, № 3). Надпись Ю. Карякина на первой странице: **Дорогому Михаилу Александровичу от души. 16. XII. 81.**
2. «Лишь начинаю...». Заметки к изучению творчества и жизни Ф.М. Достоевского. Надпись Ю. Карякина на первой странице: **М.А. Лифшицу — с неизменными добрыми чувствами. 16. XII. 81.**
3. «Зачем Хроникер в “Бесах”»? Надпись Ю. Карякина на первой странице: **М.А. Лифшицу — с восхищением перед Вашим даром. 16. XII. 81.**

[На этих статьях Ю. Карякина пометок Лифшица нет, но в папке № 247 «Достоевский» (оранжевая) содержится следующая заметка (с. 61–62):]

Карякин. [журнал] П[роблемы] М[ира] и С[оциализма] [№ 5], 1963<sup>[25]</sup>

[с.] 34. Достоевский — *rag d'élite*<sup>1</sup> → при чем тут «отчуждение»? Это бунт против отчуждения [Лифшиц здесь возражает Карякину, который утверждает, что якобы в произведениях и героях Достоевского «перед нами раскрывается действительно предел “отчуждения”...»]. Не понимает, что у Достоевского не моральное осуждение этих явлений, а *отчасти даже оправдание*, во всяком случае объяснение их. Отчасти и *осуждение*, но [не?] глобальное, с точки зрения *святости*.

[с.] 34. (Бернары<sup>[26]</sup>.) Верное у Достоевского: он заметил противоречие между воспитателями и воспитуемыми, буржуазно-привилегированно-либеральное в социализме, то у Карякина *анти-буржуазность Достоевского — величайшее достоинство*. Это совсем не так. И это не последнее. Он не *против буржуазии*, он *против привилегированного буржуа*<sup>[27]</sup>. Он тоже был по-своему народник, народник-реакционер (и «буржуа»). [На полях: этот социализм<sup>[28]</sup> мог быть и у либералов — только ленинский социализм силен против этого]

[с.] 35. Слабая защита Нечаева<sup>[29]</sup>. Не в этом дело!

*Двоякая ирония Верховенского. Карякин не понимает этого*<sup>[30]</sup>. «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!»

[Далее — материалы папки № 247 (оранжевая), с. 72–76]

Достоевский и марксизм

Актуальность темы Достоевского

Его «пафос» — это *мелкий человек*, освободившийся от преклонения перед голубой кровью и *объятый завистью по отношению ко всему, что возвышается над этим мелколюдем*, хотя бы и в самом примитивном смысле. Маркс: зависть более мелкой собственности к более крупной.

<sup>1</sup> С досады; вопреки (*фр.*).

Это — та болезненная черта этого демократизма, кот[орую] изобр[азил] Достоевский, демократизма уравнилельного, мелкобуржуазного и даже якобинского или утопически-социалистического. Плеб[ейско]-пролетарский и крестьянский демократизм соприкасается с этим, но он выше<sup>[31]</sup>.

Отсюда психологическая сублимация — *борьба за макровку*, за моральное преобладание, превращение всех чувств любви etc. в борьбу, *тиранизм*. *Рефлексия* — вот форма этой борьбы. Кто чей объект? Кто чье средство?

Quasi-демократизм этого психологического круга, захватывающий и момент увлекательной борьбы против «добраго и прекрасного», «высокого и прекрасного». Благородство зла и низости, каверзное стихийное желание делать обратное тому, что нужно и целесообразно. Своего рода демонизм, переходящий в тиранию. Отмщение на чем-нибудь своего унижения, Голядкин как тиран Бонапарт, Фома Опискин и его культ личности.

Объективный момент в этом: цикл — лицемерие всего «высокого и прекрасного» [—] обратное демоническое восстание супротив этого! «Демократизм» толпы и ее тирания.

Достоевский отразил все это, выразил всю эту парадоксию. И вот он стал в высшей степени современным автором. Ибо мы живем в мире, который развился не по Марксу. Вместо классического «трансцендентного пролетария» и [капиталистов — ? Неразб.] — *огромное мелколюдые*. Дело в том, что внутриклассовые отношения были поправлены международными. С одной стороны, огромное количество мелкобуржуазного гороха во всем остальном мире, включая мир революции. С другой стороны, огромное количество по-мелкобуржуазному живущих пролетариев старых богатых капиталистических стран. Получилось что-то вроде постиндустриальной [?] империи, отодвинувшей на задний план классическое противоречие господ и рабов.

Парадоксия человека Достоевского есть наиболее распространенное явление нашего времени. Пример фашизма и т. п.

Таким образом Достоевский отразил круг современной психологии обывателя и современного quasi-демократизма во всех его формах, в том числе и «сталинистско[й]» и «модернистско[й]»!

Но Достоевский все это *изобразил* и потому он выше этого и он друг марксизма в этом смысле.

[Далее — материалы папки № 246 (зеленая); здесь, как правило, материалы и записи 1970-х гг., последние — 1977 года]

с. 48–50. Достоевский. 1975 г. Планы.

К Достоевскому

1. Что такое черт? Марксистская теория черта
2. Бедные люди или *ад любви* и добра, злое добро
3. Ошибка Белинского. Основная ситуация, что сказалось, патос, метод. Диалектический анализ и энантиодромия<sup>[32]</sup>:

а) прогресса (либерализм)

б) анархо-плебейского бунта, социального протеста «снизу»

Что *обострил* [объяснил?] Достоевский. Не только противоречия прогрессивного, [неразб.], но и противоречия социального. Кризис петрашевцев и Сибири. Две тенденции [?] и *реакционная демократия*.

1. Голядкин, Опискин и их мировое значение. Перевод байронизма и бонапартизма на прозу
2. Реализм и его проблемы.
3. Романтизм [?] Достоевского. Гоголевские фантазмы — фантазмы *stricte*<sup>1</sup>. Грань, где начинаются уже недостатки
4. Романтизм и его проблемы. Достоевский, Диккенс, Бальзак, их небо. Случайное, [неразб.], их позитивная романтика. Демонизм в русской литературе  
с. 16–20

### Обвинительный акт против Достоевского

1. а то ведь все кадят ему или *горячие* или по крайности *теплые* хвалы несут. Так пусть уж будет ушат холодной воды. Лучше быть атеистом Достоевского, это, м. б., значит более служить его истинному духу, чем быть самым рьяным жрецом его. Писать то (и так), что написано Достоевским в главе «У Тихона»<sup>[33]</sup>, есть соучастие духом в преступлении и само преступление. Это то же наслаждение чужим страданием, в том числе и страданием читателя. Есть вещи, подлежащие закону, принятому о преступлении Герострата: надо молчать, если даже это и есть, ибо *слава тоже есть дело*. Гадость!

Насилие над женщиной — гадость, а над ребенком — невыразимая гадость. Зачем же выражать ее? Самое большее в приговоре: «Расстрелять!»

Достоевский и де Сад. Что есть об этом? Ницше — точно [тоже?] по Musarion Ausgabe<sup>[34]</sup>.

Достоевский и сам понимал: прочесть об этом можно, но посвятить роман женщине нельзя — *гадко*. Т. 12, с. 239<sup>[35]</sup>.

с. 21. «У Тихона» — «как вы подхватываете!» И вообще — «забегание *рефлексии*» у Достоевского  
с. 22

### Глупость Бахтина<sup>[36]</sup>

1. Все писатели-реалисты (и чем больше они дают внешнюю объективно-написанную картину) «полифоничны» и «диалогичны». Достоевский наиболее монологичный из всех, это все — тени его собственной души
2. Поскольку же он «диалогичен», это не объективный диалог, как у Толстого, например, или у Бальзака, Диккенса. Это — *диалог взаимной*

<sup>1</sup> Здесь: фантазмы в прямом, точном смысле слова (*англ.*).

*рефлексии*: как будет реагировать мой собеседник, если я скажу следующее. Это other-directedness<sup>[37]</sup> действительно есть у Достоевского. У Толстого и других авторов персонажи говорят от себя, а у Достоевского — отталкиваясь от другого. [Два слова неразб.] орудие. В этом смысле Достоевский действительно *родоначальник*. Какого же рода?

Его герои постоянно забегают вперед, смотрятся в зеркало, залезают в душу другого, их угнетает «избыток информации», обратных связей. Это часто выражается в недосказанном: см. речь Шатова и Кириллова. Может быть, уже и Прохарчина.

Отсюда *диалоги глухих* Хемингуэя и проч. Термин: «забегание рефлексии». Это — все у Достоевского

с. 1–3. Что пара — Ставрогин–Верховенский соответствует чем-то, но не возрастным отношением, паре Бакунин<sup>[38]</sup>– Нечаев, это так. Что Достоевский не мог узнать об этом из материалов процесса нечаевцев, как верно показал Полонский<sup>[39]</sup>, ясно из того, что в той части романа, которая была напечатана до начала процесса, отношения Ставрогина и Верховенского уже вполне намечены. Хотя в дальнейшем эти отношения могли быть углублены влиянием материалов процесса, и, кроме того, об отношениях Нечаева к Бакунину Достоевский вполне мог слышать от родственника жены, студента Тимирязевской академии, до процесса.

Но независимо от всего этого ни Бакунин не похож на Ставрогина, ни Верховенский на Нечаева. Получилось другое и получилось именно потому, что обе фигуры были дедуктивно вычислены в творческой лаборатории самого Достоевского. И тем не менее нельзя рассматривать Ставрогина и Верховенского вне отношения к Бакунину и Нечаеву. Здесь Гроссман<sup>[40]</sup> интуитивно прав, а какова была механика непосредственного соприкосновения творческого развития Достоевского с фактами революционного движения 1869–1871 гг., это уже другой и более частный вопрос (значительная часть романа была напечатана в «Русском вестнике» до июня 1871, а процесс происходил в июле и в августе).

с. 5. Ставрогин–Франц Моор, Верховенский–Шпигельберг, Шуфтерле [? — знак вопроса Лифшица]<sup>[41]</sup>

Бакунин, конечно, герой рефлексии — и это у него общее со Ставрогиным.

с. 6. Бакунин — прототип Ставрогина? Или Спешнев<sup>[42]</sup> Но ведь — как рассматривать понятие «прототип»? Ни Гроссману, ни Полонскому не пришло в голову, что измерять «прототипичность» нужно не по тому, что было задумано, а по тому, что в конце концов *вышло*. Конечно, в *особом смысле* Бакунин имеет отношение к Ставрогину, но получился все же тип, для которого революция «до лампочки», а суть дела *личная, ну хоть нравственная, что ли, и только*. Этого нельзя сказать ни о Бакунине, ни о Спешневе.

с. 7. Л. Гроссман отчасти прав. Ставрогин *имеет отношение* к личности Достоевского, хотя и не то, которое он предполагал.



Проблема *Зигфрида* и проблема Достоевского → *Ставрогина*. В великом преступлении *рефлексия* сливается со *стихийным протестом*. Ведь злое более первоначально.

с. 8–9. Ad<sup>1</sup> Вяч. Полонский «Николай Ставрогин и роман “Бесы”<sup>[43]</sup>, гл. III.

Тема: *социализм contra христианство*. Цитаты из Достоевского — его неверие и его вера: «Господи, верую, помоги моему безверию!» Но эта двойственность, как видно, старше Достоевского. И не заложена ли она в существо вещей, а именно в том, что *зло* первороднее, природнее *добра* и что провозглашение последнего всегда носило характер насильной декларации. Онтологический характер не только удовлетворения потребности, т. е. отправления от того, чего *нет*, свойственного всему конечному, но и демонского отталкивания, глубоко присущего этому конечному, поскольку оно рвется к автономии, к самобытию. Добро есть вторая позиция, достигаемая через печальный опыт и самоограничение. Проблема первичного, свободного добра, непосредственного, а не через малейшую (хоть в сердце своем) «выгоду»? Вот идея христианства Достоевского. Слабая догадка об отталкивании от отталкивания, о «демоническом» добре (выше, конечно, того социализма, который по существу есть буржуазно-утилитарное воззрение).

Русская дворянская литература, включающая и либерализм и анархизм, но в лучших своих явлениях превыше и того и другого.

Я отношу к ней и Белинского, и Герцена, но отчасти и Достоевского. И не только Тургенева, Толстого, но и Салтыкова-Щедрина. Может быть, даже и Писарева<sup>[44]</sup> и в последнем звене — Плеханова. Переходы — включая Блока, Бунина.

Правда, есть разноточная струя, но теория Переверзева<sup>[45]</sup>–Полонского: Достоевский — мещанин, кажется, вздор. Нет, Достоевский — отрасль мелко-дворянской богемы, анархо-демонская ветвь ее.

Гораздо более пространная роль русского дворянства. Роль его и в различии. Во Франции буржуа, ведущие дворянский образ жизни. В России — дворяне, ведущие образ жизни мещанина.

с. 10–13. Учитывая всю западную *Зигфриду* у Вагнера, Ницше (м. б. у Геббеля, Лассалья [?]), суть дела *в поисках непосредственной активности, безмотивного дела*, для которого дело «всеобщей ликвидации»<sup>[46]</sup> еще слишком рассчитано, рассчитливо. Здесь вся проблема *спонтанного иррационализма* в европейской мысли конца XIX, начала XX вв., откуда и громадный успех Достоевского. Что Достоевский описывает кризис этого явления, а не делает апофеоз его, это хорошо. Но выход? Забываемая фразами совесть, [неразб.] дисциплина, неожиданно обретающая сияние святости. Это повторение [неразб.] *конверсии* романтиков (католицизм). → Удивительно, что такая возможность предсказана Бакуниным (и левогегел[ьянцами] — Б. Бауэром): лучше уж реакционное вполне по-

<sup>1</sup> К (лат.); т. е., в данном случае, к Вяч. Полонскому, к его статье, по их поводу.

ложительное, но цельное, чем середина. Аллергия среднего, посредственности, либерализма

с. 13–14. *Ставрогин* — гадина, но гадина, произведенная рефлексией, следовательно, прошедшая через сознание того, что гадиной быть не хорошо. Роль рефлексии в разложении дворянской культуры можно хорошо видеть на примере семьи Бакуниных. Все они борются с рефлексией, но выходы могут быть разные. Бунт и преступление — тоже выходы.

Двойственность идеи эксперимента (особенно над людьми). Эксперимент ради эксперимента и его связь с царством рефлексии. Опасная бездна, влекущая экспериментатора. Эксперимент поглощает само содержание дела.

### с. 15. Мир Достоевского

Начал с горькой любви, а в бесах дошел до любви к горькому. См. мои надписи на полях [главы] «У Тихона»<sup>[47]</sup>

### с. 23–28. Ставрогин

Ставрогин — бремя благородной праздности ему непереносимо, отвлечение к барству сильно. Но это не поворачивает его лицом к «делу», ибо само дело он видит только как разновидность барских занятий, хотя и взрывчатых, т. е. либерализмом с анархией, которая его все-таки интересуется в лице Петра Верховенского.

Достоевский прав в том, что оставил ему патологическую силу страсти, ибо по существу здесь продолжение обыкновенного барского садизма, отвращение к покорству и стадности. Хищничество натуральное, первой степени. Это развивается в рефлексивное, за гранью разочарования, *Blasiertheit*<sup>1</sup>, скуки находящееся [?]. Но это уже сильно понижает обаяние типа, даже по сравнению с барями-садистами, ибо там, при всей мерзости, было что-то всеобщее, а здесь все сосредоточено на самонаблюдении, душевном онанизме. Потому замечание Тихона, что более страшен ему смех [?], справедливо и по отношению к самому Достоевскому в части, так сказать, выбора героя. Вокруг Ставрогина больше нагнетено, чем показано, ибо показывать нечего. Разумеется, есть внутреннее противоречие в его образе, не ведущее к раскаянию, а только к самоотвращению. Сама рефлексия становится скучной. Ставрогин испытывает угрызения совести, и это ему непереносимо. Ведь основой его поисков было безрасчетное, безмотивное поведение свободы, но не в позитивном зигфридовском смысле (это еще могло быть у Лунина<sup>[48]</sup> или Бакунина), а в отрицательном — в смысле крайнего нарушения норм сверхличностью. Это предполагает не только безмотивность наперед, но и отсутствие малейших угрызений совести по отношению к прошлому, а тут оказалось, что слабо — досадно, все здание рушится. Но ни малейшего выхода из скуки, из отвращения к любой ангажированности, он обнаруживает, что ангажирован собой. По-

<sup>1</sup> Заносчивость, тщеславие, высокомерие, самомнение (*нем.*).

следний и самый отвратительный баланс. Надо бы освободиться от последней нормы — от себя, а это невозможно на почве идеи освобождения от всякого содержания, т. е. на почве рефлексии. Достоевский толкает его изо всех сил в религию, но никак не может столкнуть, потому что нельзя одним рефлексированием рефлексии, одним «комфортом», отвязаться от себя. Если уж отрефлексироваться, то в пользу дела, содержания всеобщего, внешнего и реального, а не в пользу освящения всего немилрого тем, что [оно] есть для меня символ моего самоотречения, моего спасения от рефлексии. Поди ты к богу со своим спасением! Это не настоящий выход.

И действительно Ставрогин — самозванец. Поэтому Достоевский и должен был его «изловить и повесить».

Важный компонент всей этой ставрогинщины — абсолютно чистая *воля*, воля, не обремененная мотивами, расчетами и здравым смыслом, находящаяся в положении буриданова осла между двумя клоками сена. Психологически это, конечно, гипертрофия, растущая вместе с гипертрофией *связанности*, практического «бернарства». Не свобода в смысле наполненности лучшим, в смысле гармонии с обстоятельствами на почве позитивного содержания этих обстоятельств, *стоящих* зависимости от них, а свобода в смысле рефлексивной борьбы со всякой мыслью об определении меня чем-то другим. Есть две формы личной автономии. Вторая — продолжение несвободы, рождающаяся из мысли о несвободе, из протеста против возможной несвободы. *Рефлексивная свобода воли*. Мне удобно и естественно встать с правой ноги, но вот я, чтобы *доказать* свою свободу воли, встану с левой. Отсюда целая система *действий*, свободных только как *доказательство* свободы, самих по себе вовсе даже не свободных, более зависимых, чем действия, не обремененные этой рефлексией. История этой проблемы, важность ее в духовной жизни растет. Вторичная система воли, связанная с *доказательством и оказательством* ее. У Достоевского все на этом доказательстве основано. Избыток обратных связей и его эпоха. Между тем возможна и обратная крайность, присутствующая архаическим эпохам, — недостаток рефлексии. Правда, и на этой почве растет жажда доказательства — деспотизм, жестокость. Это как бы подобно массивной абстракции архаического искусства. Во-первых, это возможно лишь как исключение (*Vermittlung*<sup>1</sup>), для немногих. Во-вторых, здесь преобладает, так сказать, материальная, патологическая воля, не задумывающаяся над собой. Стремление *доказать* не себе, а больше *другим*. Очевидно, это *стремление доказать* — шире даже идеи престижа и является выражением требования *Anerkennung*<sup>2</sup>, необходимого в обществе, где одна личность отражается в другой. Здесь в архаике она отражается во многих, идет за всех, обменивается на них. В новые же времена эта исключительность и выражение целого, хотя бы и пакостное (как у Ивана Грозного), убывает за счет равенства одного человека другому. Но тем более растет игра воли. Центр переносится в самого субъекта, он

<sup>1</sup> Посредничество, содействие, передача (опыта) (*нем.*).

<sup>2</sup> Здесь: признание (*нем.*).

себе должен доказать, соизмерить себя с Ман<sup>[49]</sup>, состоящих из *таких же, как он*, следовательно, лишенных *монополии всеобщего*, а чисто формальных и субъективных. Нужно четко разграничить два этапа, два симметричных крыла, с мезотивным центром посередине.

с. 29. Ставрогин

[том] 12, [стр.] 238<sup>[50]</sup>

а. нехватка нравственного чувства, хотя и желание *быть цельным*

б. буйные *телесные* инстинкты (согласуется ли?) — в буквальном смысле не согласуется

1. *страсть* к мучительству, наслаждение от страдания других
2. страсть к угрызениям совести (что неплохо вяжется с мучительством по отношению к другим)
3. беспочвенность как ключ. *Мало!* «Безверие». Слишком формально. Какая вера?

Главное все же — искушение испытать все особенно запретное («способность к превеличению»). «Скука», т. е. однообразие границ. И желание быть свободным *без расчета, без здравого смысла, без пользы*. Оно именно корень скуки в этом.

с. 30. Ставрогин и Верховенский по замыслу Тимон Афинский<sup>[51]</sup> и лже-Тимон

с. 31. Достоевский о Ставрогине

Ставрогин — социальное лицо, *разврат из тоски*. Рядом с нигилистами — *лицо серьезное*. — Сильно ошибся!

с. 33–34. Крик «хромоножки»: «Гришка Отрепьев — анафема!» И злоба Ставрогина. В благородных делах преобладает злоба. Он не настоящий князь из мечты, не настоящий *Зигфрид*. А именно — суррогат непосредственно общественного, нравственного деяния, *самозванец*, замещающий свободу анархией, удивительной «склонностью к преступлению», нерасчитанным «безмолвным» злом, преодолением здравого смысла. В жизни кучки этих бледных теней — Кириллова, Шатова и прочих он играет особую роль. Но в конце концов его делают *игрушкой*.

Но всеобщая черта: склонность экзальтировать, испытывать себя = антилицемерие общества, вызов ему.

Даже в личности Толстого. Ср. историю о том, как он пошел в театр, узнав о смерти брата (мемуары А. Толстой). Это продолжение и развитие барского демонизма — преступлений власти над подданным\* или анархии отчаянной воли — до жестокости Печорина включительно.

с. 35. Да, да, да преступления властителей и деспотов, наслаждение злом.

с. 36. Логика — революционер ли, разбойник ли — все равно *Цезарь, сильная личность*, по ту сторону *золотой середины*, морального и либерального мещанства.

\* Включая сюда Иоанна и Петра. — *Примеч. Мих. Лифшица.*

Ставрогин и в любви — вамп мужского пола, ему нужно что-то эдакое — увести Лизу из-под венца — преступление как эфория<sup>[52]</sup>

с. 37. «Бесы» Характерное для Достоевского:

1. его герои делают какие-то демонстрации, принимают говорящие или даже кричащие позы (напр. 39)
2. постоянно отталкиваются друг от друга, рефлексия «эксплицитная» (напр. 67)  
(но ср. это с Толстым, который во многом соприкасается, хотя преодолевает...)

с. 38. «Бесы» ad 95 А ведь все декадентские стихи более или менее стихи Лебядкина. Иногда даже прямая связь, например, ранний Заболоцкий (впрочем, и Хлебников, но и многое у символистов)

с. 39. Своей суетливостью, конечно, Петр Верховенский не похож на Нечаева — но тип *анархо-блудодя* запечатлен не плохо. Но главное, чем отличается от Нечаева, — *мелкий помещик и учился в хорошем заведении*. ← Не та проблема, хотя отчасти и та — ср., как Герцен характеризовал социальный состав своих противников из молодых людей.

с. 40. Федька Каторжный — тип «Резаки» из «Парижских тайн»<sup>[53]</sup>, — выражается интеллигентно: Петр Верховенский «сочинит человека и с ним живет». Мыслитель!

с. 41. Характерно перенесение всего действия в мелкодворянскую среду, анархобогему. Оттуда и набеги в мир лакейства и других сословий. *Отруд[овом] разночинце* ни слова, а *ненависть к барству велика!* И особенно мелкому.

с. 45–47

Достоевский. 1976 [г.]

«Нелепцы» (Достоевский)

О[гарев] — Герцену. 1 января 1868 [г.] Л[итературное] Н[аследство] 39/40 [стр.] 483

Характеристика женевской молодежи по поводу [неразб.] Касаткина<sup>[54]</sup>. Устинов<sup>[55]</sup> и его речь. «Добрый малый, но совсем дурак». «Эллидин»<sup>[56]</sup>, говорят, дома держал речь над трупом таким образом: «Я вам говорил, Виктор [?] Иванович, съешьте бифштекс и умрете спокойно, так и вышло»... Что за удивительные нелепцы, а взглядишь и увидишь, что, право, недурные люди, т. е. не злые, благонамеренные, добродушные» → Нелепцы! Да, это было время нелепцев, и недаром рисовал их Достоевский. Герцен. 4. I. 1868 г. Т. XX, стр. 128. Отвергает сочувствие. Только нелепость.

с. 47. Своеволие, богочеловечество и человекобожие — левогегельянцы, но и *сен-симонисты* и Гейне. К Достоевскому

с. 51–54 [Три статьи Ю.Ф. Карякина, см. выше]

[Далее — материалы папки № 247 (оранжевая), не в порядке расположения и пагинации, а в соответствии с содержанием заметок]

## Достоевский

с. 66–77. Толстой об искусстве. Ответ Р. Роллану 14 октября 1897 г.

Любовь к человечеству, а не любовь к искусству создала великие произведения. Это м[ежду] пр[очим?] суждение Бахтина

То, что Бахтин описывает в качестве антитезы Достоевскому = просто плохая литература. Есть ли в романах Достоевского единый мир и притом всеобщий в определенном его существенном аспекте или, как говорят, окрашенный авторским «видением»?

Конечно, даже тот факт, что идеи [герои?] *топорщатся*, даже супротив автора, указывает на этот аспект. Проблема нарушения свободного развития перешита [?] в чудовищные одежды «Чингисхана»

Не прав Достоевский. Основное в нравственных чувствах — *равенство, взаимность*. Если же в дружбе и любви рождаются дурные чувства, то и это лишь суррогат нарушенного равенства. Например, сущностью мнимой зависти м[ожет] б[ыть] сознание справедливости. Там, где это все же возникает, мы имеем дело с парадоксией чувств. Это — перцепция [?]

Вся эта рефлексия у Достоевского — я не забочусь о своем интересе, я выше этого, можешь меня унижать, я выше этого etc. — не далеко ушла от разумного эгоизма. Это просто другая версия той же рефлексивной игры.

Да и он сам ведь постоянно ищет выхода, ищет другие характеры, ищет положительную нравственность, живущую не [на] шаромыжку. Чорт, т. е. подполье, сам живет *на шаромыжку*. Две «шаромыжки»:

1. Разумный эгоизм не удел Достоевского, да в форме либерализма это и так и в форме демократии даже [?] — не «человеческое общество»
2. В форме подполья

Теория совпадения заслуг и наград, преступлений и наказаний:

1. религиозная, физикотеология
2. просветительная

[3?] Затем исторически совершенно очевидное несоответствие этой норме реальных фактов и решение вопроса:

4. гегельянское, с точки зрения дальнего действия
5. нравственно-религиозное — «круговая порука», *нет в мире виноватых, все виноваты*
6. демократическое — Герцен. Круговая порука и революция

[Далее — материалы папки № 247 (оранжевая) в порядке расположенных в ней страниц, начиная со стр. 4]

с. 4. понятие *реализации*

Реализация у Пушкина — поэтическая

Реализация — иронико-прозаическая, но реализация, а в XVII–XVIII вв. две стихии:

1. возвышенность
2. травести, но как шутовство.

Здесь, XIX в. соединяется

с. 5. *Фальшиво*<sup>[57]</sup>:

1. Что Достоевский был художником, а не представителем определенной идеи, программы.
2. Что эта программа является слабым недостаточным демократизмом, что она в чем-то приближается к социализму. Нет, она противоположна ему.

*Верно:*

3. Что марксизм [неразб.] выше во всем Достоевского. Нет, только подлинный м-м [марксизм] может спорить с ним [Достоевским]. Он *сильнее* [неразб.] марксизма.

с. 6. Шекспир утверждал, что *нет в мире виноватых*<sup>[58]</sup>, Достоевский — *что нет в мире правых*. Это, в сущности, средневеково-христианская доктрина первобытного греха, лежащего на всех. Это уже вообще Голосовкер!<sup>[59]</sup>

«Братья Карамазовы»

с. 8. Поэма о Великом инквизиторе и *бытие-для-одного*<sup>[60]</sup> (Т. 9, стр. 319)<sup>[61]</sup>.

с. 9. Идея «я сам по себе»<sup>[62]</sup> у Достоевского (Голядкин) и российский Чингис-хан, Угрюм-Бурчеев. Отсюда переход к сектантству «не наших». Что сообщает о *не-наших* Бонч?<sup>[63]</sup>

с. 11. [том] 9, стр. 38.

Формальная свобода субъекта приводит к полной пустоте, неопределенности, болезненному шатанию. И *вот парадокс Достоевского* как *выход*: полный отказ от свободы, искусственная *материализация* сознания как высшая святость (род, конечно, лютеранства в православии). Сие уже стилизация и высшая форма субъективной пустоты, да и гордыни. Нет, не просто, не просто это — двойной замок. Не убежишь!

с. 12. [том] 9, стр. 335.

Достоевский — живопись моральных отрицательных величин и вечная борьба за их преодоление в себе и в других. Потому-то он так и пришелся ко двору теперь. А эти величины растут вместе с ростом Чингисхана, однако в либеральных одеждах. Это было в эпоху царизма, а стало *популярно в эпоху материализма*. В книгу о Достоевском можно было бы вкрапывать отдельные картины прежней литературы, например, Тимон<sup>[64]</sup> и его двойник.

с. 14. [том] 9, стр. 154

Симметрия:

1. а. Гады практики
  - б. Гады теоретики, из принципа благородного — разница есть!
2. а. Недоброе добро, связывающая любовь — практическая, расчетливая
  - б. Искренняя и все же не — любовь.

с. 15. Анти-либерализм Достоевского, его ненависть к аристократам etc. + то же применительно к революции (ибо возможен и прусский путь развития социализма). И даже слабость Достоевского в *чрезмерности* его анти-либерализма. Бывает? — Да. *Анархизм, переходящий в реакционность*.

с. 16–17. Все-таки главная проблема Достоевского это — *гордость и унижение*. Его проблема: «Надрыв в гостиной». «Надрыв в избе». И там, и тут. Надрыв вообще! Поэтому много в нем от Августина и [неразб.]. Он уходит от непосредственной проблемы материального угнетения, как вы ни пристраиваете и ни толкуйте его.

А почему же и что это говорит нам? — Не просто о богатстве и бедности здесь речь, а о *вторичном порабощении*. Таково было его время, как бы главным, но и не только в его время оно может быть на первом месте.

Стр. 296, т. 9. «Надрыв лжи».

Тоска *по естественности* — нравственности без опосредования долгом, принудительной, хотя бы и интеллектуальной (та же проблема власти роковой в душе и унижения или протеста), без того дуализма или монархизма, о котором толковал и Герцен *фаньше*.

Идея Зосимы и Алеши — нравственность любви; *любовь к ближнему без надрыва*. Казнить надрыв Достоевский может, но заменить его чем-то позитивным... увы. Основной враг нравственности — *фарисейство*: личина, лицемерие, либерализм, лже-демократия и лже-гуманность. Риторика, благодеяние, гордыня? — Но Достоевский мастер в изображении именно этой проблемы. В чем его достоинство переходит и в недостаток.

с. 18. Основной враг нравственности — *фарисейство* — личина, лицемерие, либерализм, лже-демократия и лже-гуманность. Сказка Сельмы Лагерлеф<sup>671</sup>. Риторика, благодеяние, гордыня?

— Но Достоевский мастер в изображении именно этой проблемы. В чем его достоинство переходит и в недостаток. Не было нравственности — не было и фарисейства. Выросла она и появилась ее тень!

с. 19. Достоевский: Как страшно мучают друг друга эти комочки жизни, эти клочья живого!

с. 20–28

Легенда о великом инквизиторе

Дело не в хлебе, а в том, что цель оказалась слишком абстрактной. Она не давала *«спокойствия»*. Это *не было истинной любовью к людям!* [том] 9, стр. 320 — точно! Истинная любовь к людям свобода, абсолютная цель, но в доступной людям конкретной форме (если первое — *материальная заинтересованность* / «хлебы» / , то второе — *энтузиазм*).



Вместо древнего закона, принудиловки, нужно дать людям *конкретный образ поведения*, иначе будет «культ».

Чудо, тайна и авторитет — три силы (реальные). Христос надеялся на силу идеи, которая сохранится в книгах, а не учел, что когда люди начнут читать книги, они потеряют и веру в бога [том] 9, стр. 321. [На полях: т. е. станут бесчестными] Свободная вера, свободная любовь — да ведь это абстракция и не так уж хороша без наполнения (стр. 321). [На полях: Трагедия Герцена]

Это не была любовь, а слишком большое уважение (стр. 322). Да, абстракция и неуважение даже. Они могут *бунтовать*, но кончают капитуляцией. *Чтобы любить их, нужно видеть их жалкими!* Поповский поворот материализма.

*Сила реакции как сила конкретного.* Революция абстрактна. Это *нравственная сила*, хотя и безнравственная [?], но она есть *следствие неконкретности отрицания*. Конкретное как рок, как грибулизм, как добровольное подчинение, реальность, как реставрация.

Боязнь пустоты. Природа человека боится пустоты (пустого *дальнодействия*) → И культ личности был наполнением, был родом близкого действия, но абстрактного. [Слово неразборчиво]

Поэма о великом инквизиторе — необходимость посредства, специализма, [неразб.] со всем народом и *демагогией*, опорой на низших. [На полях: «кумира»] И это даже — *потребность конкретного*. Парадокс!

Пусть будет *не пустое освобождение* — вот суть! А *наполнено истинной конкретностью*.

А Достоевский сворачивает на несовместимость свободы и хлеба земного. Свободы и преклонения. Сворачивает на «хлеб» (материю) и невыносимость свободы выбора (хотя есть мысль о том, что «не разделят», без помощи *отчуждения*). Парадокс: *отчуждение как конкретизация* (так было при «культе») Но отсюда и необходимость конкретизации [далее конец фразы неразб.]

А суть дела не в хлебе и не в отсутствии истинной способности к свободе в массах (старая позиция, ужасный источник гордости у Достоевского остался)

1. а в том, что свобода оказалась очень абстрактной, это свобода, оставившая не затронутой меньшую братию, *свобода для христовой элиты* (à la левое гегельянство). За это и кара.
2. Страшная разрозненность, раздробленность меньшей братии («не разделят»). Ср. Соколов-Микитов<sup>[66]</sup> о Смоленщине. Времени Лафонтена [?]

Вследствие абстрактности свободы — неизбежный *иррациональный бунт*.

А чем собственно отличается иннок от инквизитора? — *voilà* [вот (*фр.*)] принципиальная постановка вопроса. Иннок весьма «тоталитарен».

1. Колизия великого инквизитора
2. Объяснение, данное Достоевским — *хлеб*(1)
3. Объяснение второе — абстрактность свободы(2)
4. При всей слабости этих объяснений у Достоевского есть и другое:
  - 1) «не разделят» (страшный разброд внизу), 2) свобода-то оказывается только для избранных!
5. Справедливая критика дистанции между *Христом* и *массой*, а равно и следующая отсюда кара. Функционаторство [?], культ личности, отчуждение etc. etc.
6. Поповский поворот этого у Достоевского. Надо взять людей жалкими, надо иметь веру etc.
7. Ничем не отличается от этого теория иночества. Иннок так же тоталитарен, как и инквизитор.
8. А что за выход по Ленину?

с. 30. Предисловие Переверзева к Достоевскому. В чем он был прав — *не во всем меньшевики были не правы*, и в чем не прав. Как Ленин смотрел: стихия *c'est le mot*<sup>[67]</sup>. Различие вариантов стихии: *tableaux* [картины (*фр.*)]. Ирония судьбы: сам Переверзев и его безумная теория<sup>[68]</sup> — не что иное, как выражение этой мелко-буржуазной стихии (может быть в более «солидной» форме).

с. 31. Кто такой Достоевский? — Это обращенный народник, или, если угодно, парадоксальный народник или даже *реакционный народник* (не *революционный*, конечно).

с. 35. Достоевский

1. жертвы ради будущей гармонии (теория)
2. цель, оправдывающая средства (практика)
  1. Два пути
  2. Нравственность револ[юционная]

с. 36. Достоевский. Речи Ивана Карамазова.

— Эвклид и страдания ради будущей гармонии. То же Миртов<sup>[69]</sup>, Михайловский<sup>[70]</sup>, Герцен при всех различиях. Немного и Герцен был против этого, а уж раздул *Шпет!*<sup>[71]</sup>

— Опять же «средства». Иван Карамазов. Один малый ребенок. «Гуманизм средств». Одним, так и быть, пожертвуем. А двадцатью миллионами? (Переверзев<sup>[72]</sup>, с. 74, 75.) Смысл имеет не *большой* кровью, а *малой*<sup>[73]</sup>. Это полемика против жестокой гармонии. [На полях: ср. Хулио Хуренито]. Но ведь гармонию Достоевский тоже не хочет? — *принудительную, стерильную*.

Переверзев не оценивает трудовой, нравственной силы своего «мещанина». (Демократич. сторона у Достоевского. Но мало. Отрицание с точки зрения трудовой [неразб.].) Он видит в этом только готовность упасть на

дно, где мещанин распадается на жестокого мучителя и кроткого. Тут Герцен со своим анализом двойственности выше такого марксизма.

### Ad vocem<sup>1</sup> Мережковский<sup>[74]</sup> о Достоевском

с. 37–48

Мережковский [с.] 204. Вот поэтому-то, восхищаясь Достоевским и понимая его, я его все-таки не люблю. Ни Достоевский, ни Фрейд и никто другой не убедят меня в том, что являющиеся у меня неожиданно и бесконтрольно невесть какие мысли являются моей истинной сутью, а то, что я думаю сознательно, — чем-то наносным. Наоборот, этот стихийный наплыв всякого разного и особенно влечение в опасную, причудливую, отрицательную сторону указывает именно на незащищенность моего «я» от внешних возможностей, которые способны вовлечь меня в свой вакуум, будь это хоть действительная пропасть, на краю которой я стою. Сильные возможности опасны для нашего духовного и нравственного здоровья, они могут снести нашу ограду, но это внешняя сила или точнее — доказательство того, что выгородиться из внешнего мира, из мира, где нет ни добра, ни зла, и установить человеческий мир нам не так легко. Да, у людей есть удовольствие и он радуется [?] грязи, но я готов держать пари, что это не самое лучшее в человеке. «Пришел чистенький человек и критикует». А вы хотели бы, чтоб я был грязенький, тогда бы вы приняли меня в свои объятия? И есть ли это всезнание? См. мою критику идеи «человек злораден»

с. 39. В чем Достоевский сходится с Ткачевым<sup>[75]</sup> и Бакуниным *отчасти*, конечно, но *профорочески идет дальше* в идее *силы* человека, формальной свободы, *своеволия* «высшего человека». *Своеволие* у Герцена, а здесь вот какое [какая?] [неразб.] развития: могу или не могу? Потянуть за нос почтенного члена клуба или «совершить революцию»?<sup>[76]</sup> Абстрактная *почтеноположность* к препятствиям там, где все *принудительно*.

с. 40. Раскольников — промежуточный тип. А если бы он был посильнее — он должен был бы убить невинного младенца (Ивана Карамова), а не старуху процентщицу, ибо в последнем случае преступление его не чистое бескорыстное зло, а все-таки может быть оправдано благой целью. Как и все его рассуждения о том, что преступления повсюду, о гибели миллионов — это *оправдание* свободно-злого эксперимента моралью. Но если бы он был еще-еще сильнее, сильнее даже, чем возможный сверхчеловек, убийца невинного младенца, то ему и этого эксперимента-проверки *вошь ли я или не вошь* не нужно. Это — слабость. Вот так совершился полный круговорот на месте сверх-сверх-человека, действительно сильный не стал бы показывать свою смелость против эстетики<sup>[77]</sup>, а занялся бы делом, содержанием дела освобождения. Тогда, если ему это нужно, это содержание осветилось бы для него новым светом, оправдалось бы не принудительной, принятой [?] моралью, а своеволием, фор-

<sup>1</sup> К слову (сказать); по поводу, что касается (*лат.*).

мальной его свободой «преступить», сделать все, что хочет, а для другого человека, может быть, и все это движение вокруг самого себя в мысли не понадобилось бы, ибо он, смутно его чувствуя [последние три слова неразб., расшифрованы по догадке], осознал бы, что это пустое верчение и что в эту сторону идти нечего. А несчастного Раскольникова и других Достоевский заставляет вместо этого *дела освобождения* [опущен на этом месте повтор слова «заставляет»] каяться и преклоняться перед *принудительной морально-религиозной*.

с. 41. Гениально: «Боязнь эстетики — первый признак бессилия». Смелость против эстетики! Где, что?

с. 42. Не голая целесообразность, а диалектика — иначе *ирония истории* (Энгельс), значит, просто более дальновидная целесообразность? — Э, нет.

Моя дискуссия с Гефтером<sup>[78]</sup>. Бесконечность условий и *сразу* = организм<sup>[79]</sup>

Теория, эстетика, нравственность.

с. 43–48. Мережковский [с.] 217–218.

Утилитаризм навыворот Достоевского.

Как искушения Вотрена в России превращаются в другие искания

1) для общей пользы

2) для своеволия

[с.] 218. *Классика!*

Проблема *насилия для пользы* в центре Достоевского (надо это показать)

А мы вообще *отвергаем* и плюс-утилитаризм и минус-утилитаризм (который в свою очередь распадается на а) ницшеанский б) православно-смирный)

Не целесообразность голая, а диалектика? [Далее фраза неразб.]

[с.] 219. «Зачем существовать, чему быть невозможно?» Это *не худо*. Но чем наш ответ отличается от ответа *Сони и Достоевского*? Мы бесконечность знать, владеть ею не можем, а *можем в дифференциале*.

Но наш-то ответ будет, может быть, слишком общим

а) ибо действительность создала именно «достоевские ситуации». Вы будете противодействовать [?], а другие будут свое дело делать, оправдывая это пользой, ведь поступали так лихие служители культа личности? Верно, но мне важно *знать, понять*, что это ложь, и другие поймут и не выдержат это дело...

б) будто бы *вечный нравственный кризис можно искупать* [?] социальным улучшением [?] Зачем Анна Каренина [далее неразб.] Или там Настасья Филипповна. Но если я понимаю, что это возражение (Достоевского) против *половинчатости*, если я понимаю, что есть *полное возможное* освобождение людей, состоящее в *самодетельности* их, нравственное очищение в «обнимитесь, миллионы», в *демократизме* в отличие от *половинчатости и фразы* хотя бы, то я уже много понял.

И все-то вы *только понимаете*, а что от вашего понимания, что изменится? И тут а).

[с.] 220–221. *Цель оправдывает средства*

Эх, судебный следователь как герой нравственный! Как представитель морали. Почто же возвращение к *принудилровке*? А наши<sup>[80]</sup> хотят как-то *вернуться без этой принудилровки*. Ну нет, голубчики, не вернетесь. Тут Достоевский правее и правее вас. Хотят вернуться к *нравственной принудилровке*<sup>[81]</sup>. Это значит не понять Достоевского.

[с.] 222, 224

Двусмысленность Достоевского. Якобы *для общества* [?], а на деле для *принуждения* [?], для *форм[ального] своеволия*. Эта двусмысленность, может быть, объективная.

[с.] 225. Чудовищно! За что же *прощать* Союю? Почему дурак [?] Раскольников смеет говорить ей, что «он тоже простил» бы. Нет, Огарев, женившийся фактическим [?] браком на Мэри Сетерленд<sup>[82]</sup>, куда лучше.

Остается *мещанское* осуждение павшего, мещанская гордость своей добродетелью в конце концов становится идеалом.

Не смешивайте *добро и зло*, говорит г-н Мережковский, *потому что они смешаны*. Но есть другое *смешение добра и зла*. — Монтень, аббат Куаньяр<sup>[83]</sup>. *Два разных смешения!!!* В этом суть. Ужасная насмешка даже над Чернышевским.

[с.] 225. Но мысль Достоевского [несколько слов неразб.] верно. *Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит*. То есть род смешения добра и зла, но смешения религиозного, которое именно *дико* отделяет *добро от зла, аскетически* (а мы материалистически)

*Рациональное зерно* у Достоевского: он не просто отделяет добро от зла, а *видит* их переплетение. Это диалектика, но не та, [а] религиозная, и она возвращает к *метафизике*, мещанству.

Нельзя быть добродетельным, когда другой порочен. Это верно. Но выход? Демократия против *фраз*, [она, демократия] еще более злая, еще более активная, а не вывод Достоевского. Достоевский не просто отбрасывает утилитаризм, не просто и ставит на его место религиозный контраст добра и зла. *Он стоит на одной почве с диалектикой и с демократией*. Он смешивает добро и зло, но для того, чтобы все же *восстановить* [их различие]

[с.] 226 и конец: классический в своем роде антиреволюционный вывод Мережковского.

Достоевский. Май–июнь 1963 г.

с. 49–57

Какую сторону жизни выразил Достоевский? Анти-капитализм — об этом писал уже В.Б. Александров<sup>[84]</sup>. Да, но какой анти-капитализм, антибуржуазность? (Это и хорошая, и плохая его стороны)

Общее с *народничеством* — против монополии, бюрократической буржуазности, деспотизма во всех его видах. Анти-либерализм, точнее.

*Отличие и близость к Бакунину и Нечаеву. Протест типа бунта, обратность, парадоксальность хорошего, благодетельный. Демонизм психологического порядка.*

Нужна формула. Грибулизм?<sup>[85]</sup>

Разбой, воровство, нищенство, святость, изгойство, паясничание, [неразб.]

Народное в этом — традиция. Однако и не-народное.

Вообще, нужно рассмотреть вопрос — *буржуазии* ли предъявляются эти обвинения? Не определенным ли только формам развития капитализма? Не бюрократическим ли монополистическим формам?

Секрет популярности Достоевского в настоящее время

Огромный страшный пресс — возрождение феодально-абсолютистского бюрократического стиля. И протест человека.

Антикапитализм — это подчеркнула *наша школа* 30[-х] гг. А вы остались при этой схеме, не заметили другого!! Как всегда (ср. Маркс), мещанин позади. *Теперь* он усвоил это и опять односторонне.

Средний, мелкий хозяин → богатый → жулик-разбойник

Ограниченность протеста грибулического. Сходство Достоевского и Герцена и Народной воли. *Грибулизм революционный и святость.*

Слабость святости. Слабость грибулизма революционного. Путь Герцена к марксизму.

Глубина Достоевского

Он увидел и ужаснулся перед таящимся в протесте мелкого человека — его мнимый коллективизм и демократизм, несущий в себе «культ личности». Демократизм Поприщина и Голядкина. Обиженное самолюбие и *зависть* игры малоценности.

### Порочный круг у Достоевского

1. Благонамеренность в деспотизм. Этому нужно уметь ставить преграды. Канализировать это. В этом *позитивная* сторона анализа Достоевского. Этот комплекс (он же фрейдизм etc.) имеет существенное значение для эпохи империализма
2. Ветошка имеет тенденцию превратиться в удавку.

Достоевский раскрыл изнутри мелкие чувства *зависти* всякой небольшой собственности по отношению к крупной. В этом отношении он совпадает с Марксом в его критике мелкобуржуазного уравнилельного коммунизма. Но, *с другой стороны*, он совпадает и с Ницше (ср. его «Генеалогию морали» etc.) — (...) критика малоценности, смирения, зависти, *ressentiment*<sup>[86]</sup>, христианских чувств.

Предшествующий круг идей: Гёте–Гейне, язычество против назарейства.

Отсюда у Достоевского идеализация Кати<sup>[87]</sup> в «Неточке» и т. п. типы, поиски непосредственного блага, но в *рамках иерархии ценностей*. Отчасти совпадает и с «аристократизмом» Маркса, но...

Таким образом у Достоевского, как, впрочем, и во всей мировой литературе, отражается *порочный круг неравных отношений*: а) грехопадение добра; б) темное восстание.

Специфика Достоевского и его программа победы над этим комплексом сама по себе не ложна, да только как это сделать в чисто идеологической сфере? Все это чувствуют, а терапия (как и в психоанализе) — вздор.

А боятся, по вполне понятным причинам, обращения к первопричинам (т. е. к социальному комплексу), ибо таковое обращение само часто выражается в а) или в б). И все же другого пути нет, только нужно вывести из *первого второе*. Это и будет канализация.

Но *роковой*, первостепенный для *марксизма* характер проблематики Достоевского.

Без решения этих вопросов нельзя идти вперед. Ибо классическая противоположность капитализма и социализма — абстракция. Ибо она развивается в среде мелкой буржуазии, и в ХХ веке *не меньше, а больше*.

И — самое главное — ибо классовые, социальные отношения выражаются в *превратной, вторичной* форме. Ибо нужен более *тонкий, более конкретный выбор* (см. теорию этого), ибо нужно преодолеть объективно вырастающий *порочный круг* неравных отношений, имеющий самостоятельную логику и *извращающий, портящий* [?] даже классовые отношения. Ибо этот порочный круг имеет непосредственное *отношение и к революции*. Это практическая проблема и, в то же время, вопрос теории марксизма, решение вопроса «как», нерешенность которого Энгельс сознавал.

с. 87. Бернарский вопрос — основной вопрос Достоевского. Это вопрос о недостаточности позитивистского материализма и социализма — без *нравственного кризиса и решения*.

Все другие — особенно анархически-ницшеанские идеи [неразб.] тож. Исходный пункт плох. Но исходный то пункт это то же, *что мучило Герцена: падение духа и кара за это*. Но этот исходный пункт не социализм: это либерализм и революции сверху, казенщина в социализме, оппортунизм. Бернаровщина.

То, что связано: а) [...] сверху, б) анархизмом снизу. Борьба с этими двумя крайностями, из которых должна была выйти [?] — Неразб.] русская демократия XIX века. А безудерж[и?] все же лучше, чем *Бернары*.

Эти [это?] уже в дворянскую эпоху: Репетиловы и Сильвио, Алеко, Онегины

с. 107. Дело в том, что а) критика Достоевского направлена *против слияния буржуазного общества с крепостничеством*; б) но в реакционной форме. Достоевский со своим монархизмом — крайнее выражение недостатков (но и горячей ненависти) буржуазно-демократической ступени русского освободительного движения, ступени различия. Все это

движение на данной ступени имело тот недостаток, что оно утратило *республиканскую традицию* дворянской эпохи. Достоевский — наиболее непосредственный, болезненно-резкий и темный его выразитель. Для него характерно также это непонимание своей роли — ненависть к буржуазной демократии, особым представителем [?] которой он является. Как и Толстой, Достоевский не оригинален, но старые рамки наполнены новым содержанием.

с. 115 [см. раздел 10 настоящего издания]

с. 123. Мой покойный друг Вл[адимир] Бор[исович] Келлер (Александров) первый начал рассматривать Достоевского как *критика капитализма*. А на самом деле Достоевский был критиком *определенного типа капитализма*, не выходящего за пределы «буржуазности», которую он так ненавидел.

В этом совпадение Достоевского с *народниками*. Не только в том его демократизм, что он описывает нищету, угнетенность. Не только *и не столько*, главное — моральная проблема. Не надо нам вашего пригибания, благодеяния. Это есть и у народников, но более реально, здесь же больше всего именно это — *преувеличение критики либерализма ведет в стан реакции* (в стране, где...)

с. 124. «Бесы». Двойственность тона Достоевского: 1. наивно-повествовательный, объективный, но 2. с ябедой, смешком. Но даже памфлет требует, чтобы смеялись *мы*. Или *прямо говорите*, что вы издеваетесь. Я не нахожу этого перехода из наивности в ябеду и издевку у Щедрина. Это повторяется и в том, что *тон конца* накладывается на *тон начала*.

с. 126. Достоевский не нов, как не нов и Толстой в своей критике. Особенность критики Достоевского — то, что она направлена против совершенства. В *действительности* она направлена против *совершенства*, которое является *не моим*, а только *дано мне*. Против совершенства *сверху*. Критика эта не является новой, она есть во всех религиях и, м. б., в ней — сильнейшая сторона религиозной жизни, как внутренний протест против развития культуры, которая в известном смысле до сих пор *всегда* была совершенством *исключительным и дарованным* сверху.

Ново же у Достоевского то, что это им сказано на фоне начинающейся эпохи великого *сверху*, эпохи революций сверху и благодеяний, что имеет и свою экономическую основу = отделение всех благ от личности, внешний характер их присвоения, *громадность общественной системы, дающей эти блага* без самостоятельного их обретения и в виде исключительного дара. Отчужденность рычагов совершенства. = Достоевский оказался пророком, ибо в следующем столетии страшно *возросло количество благ и особенно возможность будущего* при полной *чуждости* этой системы.



с. 132. Теория нравственного, а не социально-политического обновления у Достоевского означает требование *самого глубокого социально-го обновления* (коммунистическая мораль), а не то, что вы за нас, за народ будете что-то делать в нашу пользу.

с. 134. В романе «Униженные и оскорбленные» Достоевский пишет: «Говорят, сытый голодного не разумеет; а я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет». — Это и есть *нравственная проблема*, выходящая за рамки классовой. Проблематика Достоевского, Толстого. Нужно, однако, показать, как она рождается из *социального содержания* и почему классовая все-таки — *сущность*.

с. 143. Зло в человеке (Достоевский) как суррогат непосредственной, спонтанной (а) самодеятельности (б) (NB! Эти два элемента). Негативный идеал нравственной формы

с. 144–145. В. Александров, с. 87. Человек у Достоевского не жесток, не извращен *от природы*, а *социально определен*. Думаю, что этого мало. Социально, но как? Ни в каком устройстве общества не избежать зла!

с. 145–147

### Кант – Достоевский

Это имеет смысл в том отношении, что воспринятая и нами *теория социального воспитания XVIII в.*, классическая теория среды имеет глубокий *недостаток*. Любые общественные условия еще *ничто*, если не сам человек их создает. Зло в человеке, как и добро в человеке, *автономно*. Поместите человека в самые лучшие условия, и он не только будет гадить, нет — станет даже *озорничать*. А почему? Потому что *не он создал эти условия*. Ему не нравится *просвещенный деспотизм*. Условия должны быть не только сами по себе благодетельны, но они должны быть *моими условиями*. Зло будет возрождаться как *вторично Зло*, «нечеловеческий» бунт в самых идеальных условиях. *Невыносимость этих принудительно-идеальных условий*. Ср. из истории русского крепостничества наблюдения Лескова и др. *Успенского?* Это будет до тех пор, пока не найдена форма *нравственности* (она может быть однажды найдена, «абсолютно», как открыт был огонь и т. п.), будет до тех пор «жестокость и зло из души человека» как ответ на благодеяния. И это нарисовано [?] у Достоевского.

с. 150–158. Эгоизм страдания

(Достоевский)

в его отношении к основе нравственности:

а) правда = генетическом, *полном*, тотальном *благ*

б) субъект[ивной] автономии формы = *самодеятельности*

Александров [с. 88<sup>[88]</sup>]: «...Одно из навязчивых душевных состояний, которое романист воспроизводит так часто, что в этом усматривают (несправедливо) его собственное болезненное пристрастие: это то, что он сам называет “эгоизмом страдания”». И эта болезнь объяснена социаль-

но. «Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость». Это объяснение повторяется много раз (например, замечательные строки о том, что такое «причитание», — в «[Братьях] Карамазовых») → Да, здесь есть простая диалектика: *Zum Trotz!* Ну и пусть. Чем хуже, тем лучше. *Тайная мысль: не хочу компромисса*, эта мысль в христианстве. Наслаждение страданием есть *негативное стремление к полноте*. Это своего рода *демократизм* против *либерализма*.

Эгоизм страдания у Достоевского, наслаждение собственным страданием. Это очень интересная проблема. Интересно было бы, прежде всего, установить *историю наслаждения страданием*.

Суть дела в том, что я скорее готов наслаждаться своим страданием и подчеркивать свою ущербность, чем принять избавление извне, как факт, от другого, *ибо важно не только то, что со мной*, но и *как со мной*.

Я желаю страдать и наслаждаюсь своим несчастьем, пока я сам не являюсь источником своего счастья, пока это только дар случая, не *автономного* происхождения. Более точно выражаясь, здесь есть *две* стороны. Первая и более важная — чтобы избавление было генетического происхождения, чтобы оно происходило *изнутри*, не было внешним фактом и только. «Правда хорошо, а счастье лучше». Достоевский доказывает обратное. «Счастье хорошо, а правда лучше». Вот в этом и все дело — благо должно быть *по правде*, а не *по факту*. Научное и даже, если хотите, марксистское значение этого в том, что в фактическом состоянии есть сторона правды или даже основание правды = генетическая сторона, диалектическая конкретность, целое, полнота. Мысль возмущается против решения вопроса *не в его полноте и генетическом саморазвитии*, ибо это не есть решение.

Но представлено это с *субъективной* стороны. Я возмущаюсь даже добром, сделанным мне, если это благодеяние не через меня или если я сам это сделал, но *не свободно, не автономно*, не из чистой субъективной формы. *Вот* это Кант и даже в форме уродливого негативного протеста — *Ницше*. Но даже эта субъективная сторона не абсолютно ложна и даже может быть истолкована по-марксистски. Дело не в субъективной форме, а в самодеятельности, ибо поскольку речь идет о правде, а не о факте применительно к человеку, то здесь «генетическое» переходит в автономное, в субъективно-самодеятельное начало.

с. 159–165. **Нравственная свобода в виде отталкивания от рутины**<sup>[89]</sup>  
(Достоевский)

Наращение этой проблемы («отчуждение») в истории

<sup>1</sup> Напротив, вопреки (*нем.*).

Полемика Достоевского против «теории среды» [на полях статьи В. Александрова Лифшиц замечает: «вполне справедливая»]. По словам А[лександрова], Достоевский «сам был сторонником одного из вариантов этой теории»<sup>[90]</sup>. Особенностью его взглядов является «активное реагирование, *отталкивание*, поиски выхода»<sup>[91]</sup> → Собственно:

а) *отрицательная рефлексия*

б) Gestalten<sup>1</sup>, формы, не просто *продукты среды*, т. е. вообще его типы — активные Gestalten и особое внимание — антитезе.

Иван и Алеша Карамазовы выросли *как будто в одной среде*, но выросли в два *противоположных характера*, оба активно реагируют, но по-разному: один отгораживается от «чужих», в зрелости делается носителем индивиду[уалистической] философии. Другой — открытость характера, душевная щедрость. Он «обобществитель».

*Смердяков* отталкивается от среды по-лакейски<sup>[92]</sup>.

[В. Александров:] «И в людях как будто послушных и примирившихся (в Макаре Девушкине и многих других) Достоевский старается обнаружить отталкивание, несогласие, активное начало, без которого он не может представить себе человека»<sup>[93]</sup> → Это верно. Но здесь только отталкивание, компенсация посредством рефлексирования.

Интересна проблема в ее истории — *история чудаков* (особенно в Англии). [В. Александров:] «Третья часть романа “Идиот” открывается замечательным гимном в честь “оригинальности” и издевательством над “рутиной”. В предисловии к “Карамазовым”, представляя героя читателям (“Это человек странный, даже чужак”), Достоевский настаивает: чужак — не всегда “частность и обособление”, “напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь напывным ветром, на время почему-то от него оторвались”». Здесь один из важнейших принципов и *эстетики* и *этики* Достоевского. Достойным изображения является именно «оригинальное», т. е. то, что находится в каком-нибудь конфликте с господствующими в обществе (уродливом, несправедливом обществе) «рутинными отношениями». Люди, которые живут по линии наименьшего сопротивления и строят свое благополучие на собственнической или чиновной «рутине», могут быть лишь проходными фигурами (Лужин в «Преступлении и наказании», Птицын в «Идиоте»). «Но даже и между односторонностями» «писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки»<sup>[94]</sup>.

«Ненависть к “рутине” не только личный вкус великого русского романиста; здесь по-своему выражен и некоторый объективно-значимый эстетический принцип. Вспомним эволюцию французского романа — от романов Бальзака до флюберовского “Education sentimentale”<sup>[95]</sup>: роман как бы “изнемогает” по мере того как над жизнью торжествует буржуазная “рутина”, враждебная к искусству романа и всякому другому искусству»<sup>[96]</sup>

<sup>1</sup> Образы (нем.).

Glaenzend!<sup>1</sup> Нарастание проблемы *отчуждения, естественной необходимости, рутинны*.

с. 166. Достоевский, рассмотренный не как классик русской литературы, а как современник Бодлера<sup>[97]</sup>. Бодлер и К<sup>о</sup>, рассмотренный как современник разложения гегелевской школы. В этой общей связи — искания русских фурьеристов, анархистов, «реалистов», народников etc.

с. 167–168. Есть оттенок наслаждения в тех уязвлениях, которые мы наносим нашей собственной совести. Но это не доказывает парадоксального, релятивистски-скептического отсутствия разницы между страданием и наслаждением (*проблема Достоевского*). Здесь есть объективная *мера*. Мне кажется, что радость (удовольствие) происходит здесь из того факта, что мы имеем за что упрекнуть себя и действительно упрекаем себя, тогда как в противном случае *мы все же были бы виноваты*, но эта вина была бы *не осознана* нами и даже *затемнена* нашей кажущейся, отчасти даже лицемерной невинностью. Мы чувствуем себя *выше* оттого, что благодаря *имеющемуся основанию* для боли мы не впадаем в глупое высокомерие или даже лицемерие.

Значит, дело не в извращенности, дело не в том, что страдание есть наслаждение. Это тождество есть тождество абстрактной противоположности *да и нет*, которая не отменяет конкретного единства и различия. *Страдание есть наслаждение* отсутствием мнимого отсутствия страдания, *отсутствием мнимого наслаждения* (которое само есть страдание). Глубокая связь с познавательным ростом личности. (Я подумал об этом, когда слушал рассказ Штока [?] о том, что он дал крупную сумму денег на постройку памятника своему отцу и почувствовал укоры совести.) Значит, надо давать себе возможность наслаждаться укорами совести, своей греховностью? Это религиозная постановка вопроса. Но из вышесказанного следует *обратное* (худо только половинчатое, лицемерное).

с. 178. Пока к Достоевскому [машинопись]

Две фазы, ритмически повторяющиеся, как волны, в истории государства вообще и особенно в истории деспотических государств Востока, включая Россию.

Период централизации с опорой на чиновничество и мещанство, на мелких и средних представителей низшего слоя общества, на шляхту и верноподданных мещан, третье сословие, разночинцев. К этому периоду относится и власть вельможества, узкого слоя знати на самой вершине государства. Эти вельможи, они же, конечно, и лакеи, и шуты Калигулы.

Его сменяет период дворянских вольностей, «аристократии», который в свою очередь ведет за собой подъем третьего сословия, в котором

<sup>1</sup> Блестяще! (нем.).

до некоторой степени, как надеялся Пушкин, интересы народа и дворянства совпадают. И, однако, период этот таит в себе громадную слабость, раскол между аристократией и народом, откуда победа самодержавной централизации, опирающейся на слабости правящего слоя и несамостоятельность народа, пылающего ненавистью к «железным носам»<sup>[98]</sup>.

В России — после вельможного-шляхетско-мещанского времени первой половины XVIII века наступает подъем дворянской культуры, который после декабрьского восстания резко сменяется совершенно другой, ломанной, внутренне-искаженной, противоречивой эпохой, с оттенком демократии несвободы, с оттенком нового вельможества и верноподданного мещанства, а также и помещичьего принципа в собственном смысле слова.

Эта николаевская эпоха, конечно, эпоха реакции, но она в то же время, как другие подобные реакционные эпохи, — время движения, прогрессивного, хотя и противоречивого развития и в материальной области, и в области общественного сознания. Особая роль разночинцев в эту эпоху и, притом, вовсе не обязательно революционная или реакционно-революционная. Недаром Мережковский назвал Достоевского смесью террориста и религиозного изувера. Как это снова начало возвращаться на высшей ступени после кризиса русского Просвещения 60-х годов. Типы — Сенковские, Никитенки, Надеждины. Типы — русские фурьеристы, Энгельсоны, всевозможные причудливые фигуры до Печорина включительно<sup>[99]</sup>.

с. 196–197. [Из знаменитой речи Достоевского о Пушкине Лифшиц делает следующую выписку:] «Некрасов хотя и принадлежит к людям, печалившимся о народе, но предпочитающим европейскую цивилизацию, однако же поднимался до понимания народной правды». То же отчасти Лермонтов: «Во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще жлет и сам знает об этом и мучается тем, что жлет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казаков, он чтит народ».

[Приведа процитированные слова Достоевского, Лифшиц так комментирует их (следует заметить, что цитируемая ниже запись сделана, судя по почерку ее автора, в тридцатые годы):] Здесь много верного. Две стороны народности. Безнародность, заключенная в самом народничестве и во всем движении привилегированных слоев в прошлом. И обратное явление — народность многих деятелей, у которых главное не скорбь о народных бедствиях. Какая-то близость к мужику, к его правде, которая имеется у таких людей, как Монтень или Пушкин. Эта народность заключается в усвоении положительных, исторически-данных черт народного мышления, когда барин говорит чистейшим языком мужика (в России это — вплоть до Толстого). Чувство суверенитета народа во всем, суд народа, соотнесение всех действий высших классов к этой по-

следней инстанции, в историческом лоне которой сам царь является только косвенным представителем последнего из своих подданных. Буржуазно-демократическое, либерально-анархическое народничество является отрицанием подобной «народной простоты» в пушкинском духе, но важно, что лучшие из демократов Чернышевский, Добролюбов, Щедрин, Некрасов не были простыми отрицателями, но умели угадать и ограниченность интеллигентской революционности и силы народа. Словом, не тот народен, кто народник, но, главным образом, тот, кто мыслит в соответствии с историческим ходом самого народного движения, его глубочайшими и далекими интересами. В какой-то мере это было и во всей прежней истории. Это не значит, что всякий отказ от протестантства и филантропии — прогрессивен. Но это значит, что люди, чутьем постигавшие оторванность интеллигентного общества и недостаток органической, истинно народной революционности в нем, могли и в старом обществе выходить за пределы интересов своего класса, становиться выше и старого и нового, опираться на народные элементы. И это движение происходило в искаженной, консервативной форме. Такая *положительная* народность, которая не совпадала с филантропией, была у всех великих представителей литературы.

с. 207. Ганечка — обыкновенный, неоригинальный человек и его страшная жажда *власти* (пусть через деньги)

### б) Записи из папки № 242 «Достоевский» (белая)

[Вероятно, создавалась после 1968 года]

#### с. 5. Черт

Экстраполяция и *die wahre Mitte*<sup>[100]</sup>, конкретное как античерт. См. «Правила для руководства ума»<sup>[101]</sup>

#### с. 9. Достоевский и романтизм

Обычно видят общее в шилл[еровских] мечтаниях. Нет, оно и в *капитуляции перед грубым мистически [?] понятым фактом*, в «бегстве от свободы»<sup>[102]</sup>. Как хорошо он понял Великого инквизитора! А чем его идея отличается от романтической реставрации? Сила во всем, что восстает против абстрактной голой свободы и разума [?]. Но нет *die wahre Mitte* материализма, *подлинно просветленного факта!*

#### с. 10. Достоевский N. F.<sup>[103]</sup>

#### с. 12. К Достоевскому

Демонизм в русской литературе до Достоевского — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Полежаев. Ощущалась *реальная матрица «дьявольско-го»* (в немецкой это также было — Возрождение (Дюрер), Гёте, Гофман).

#### с. 14. Три «уровня» исследования

1. Социальная среда etc.
2. Объективное отражение ситуации

3. Всеобщий и вечный смысл («метафизический» смысл) художественного произведения

Последнее имеет перед собой две возможности:

1. Философская интерпретация. Гегель–Белинский 30-х гг. — отчасти Лукач
2. Всеобщий объективный смысл вне нас, лишь отчасти отражающийся в самом общественно-философском сознании писателя. Проблематика № 3 мною исследована в другом месте.

с. 15–17. **Всеобщее, мировое, «метафизическое». Достоевский.**

Кризис *добра сверху*, аристократической демократии и роковая невозможность прогрессивного выхода, *красная* [?] *реакция*. То, что было отражением важного аспекта эпохи Достоевского (двойной кризис николаевщины и декабризма), переход к демократии «просветительской» и общедемократической и *социальной, национальной и романтической*. Но масса исторических параллелей в развитии одного и того же *инварианта* — биологической аналогии. То же, да не то, то же, но в *малом* развитии, в других рамках, в другом поэтому значении (начиная с Сократа и раньше).

Краткая формула для выражения того, *что отразил* Достоевский, что было его «первопереживанием». Это *кризис свободы и добра сверху*, выяснение ограниченности *аристократической демократии* и ее либеральных благодеяний. *Следовательно*: подъем мелкого люда, плебейства (*во всех классах*) снизу — аналогично крестьянину Толстого — при условиях, когда передовая формула радикально испорчена *казенным отношением сверху*, а пролетарская формула невозможна. Еще более [не-разб.] антилиберализм, чем у Толстого.

*Достоевский*

Нет, не просто «классовая позиция». Доказательство того, что кроме «точки зрения» есть и объективное историческое содержание, *отражаемое* умом и чувством. Доказательство того, что кроме «классовой точки зрения» есть и *общественное целое*, разделенное на классы, прежде всего *верхов и низов*, каковое движение повторяется во всех классах и есть то, что отражено в *диалектике политических форм* (начиная с «Республики» Платона). Эти формы и их роковой круг *не случайны* для классового деления общества. Последнее есть только «сущность», абстрактно-всеобщее. Повторение схизмы во всех классах и роковая диалектика *общест[венной] формы* создает представление о всеобщей и вечной проблематике.

с. 18–22. **Достоевский, «Чужая жена и муж под кроватью»**

У таких писателей, как Пушкин, Островский, Толстой, удивительны женские образы, далеко превосходящие посредственность мужчины — господина жизни, являются как бы мезью, демонизмом подавляемого или во всяком случае отодвинутого существа. У таких писателей, как Лермон-

тов или Достоевский, это менее заметно, ибо их специальностью является, так сказать, выражение демонической мести природы за существующий порядок вещей. У них и мужчины столь же демоничны, как женщины.

«Чужая жена и муж под кроватью». Этот фарс — из общих поисков Достоевского. Канон нормальных чувств сдвинут. Средний почтенный чиновник, не превосходительство, но все же подполковник чиновного мира, при знаках отличия — и вдруг ревность лишает его соответствующего *достоинства* и не грозная ревность, а смешная. Его «сам по себе»<sup>[104]</sup> оказывается сдвинутым на бок, жалким. Может быть, потому что ложная ситуация (подчеркнутая *аналогией*), ситуация почтенного мужа при молодой жене мстит [?] его самости и делает его посмешищем прежде всего в его собственных глазах? Переход от нормальной «генеалогии морали»<sup>[105]</sup> к *перевёрнутой*.

Здесь *унижение* как бы отделяется от *социальной иерархии*, но дальше была бы уже тема несчастного богача, кот[орую] Достоевский развивать не мог, разве что в образе бунтующего купца.

Герой фарса имеет общее нечто и с Макаром Девушкиным и с Голядиным с двух разных сторон.

Ad<sup>[106]</sup> «Чужая жена» Достоевского

Верный признак избытка рефлексии. Люди поминутно [?] хотят знать, как они выглядят, забегают вперед, чтобы не показаться тем или другим, заламывают какую-нибудь *позу*, чтобы показаться тем или другим и вообще как бы кто чего не подумал.

с. 22. Черносотенство — демократизм. Ленин<sup>[107]</sup>. Обратные силы, черт. Достоевский.

с. 23. Достоевский. Поместить раскрытие основного феномена его судьбы в середине книги — там, где речь идет о переломе в его взглядах.

с. 25. «Бернары». 1875–80 гг. в «Вестнике Европы» печатались статьи Золя, собр[анные] в посл[едствии] в книге «Романисты-натуралисты» и «Экспер[иментальный] роман». 1880 — «Экспер[иментальный] роман в Париже». Роман Достоевского «Братья Карамазовы» 1879–1880. Таким образом ясно, откуда Достоевский взял «Бернаров». Подробности о Бернаре см. в «Незаменимой традиции»<sup>[108]</sup>

с. 32. «Парижские письма» Золя в «Отечественных записках» 70-х гг. Не его ли имел в виду Достоевский своими «Бернарами»? См. примечания к тому Щедрина «За рубежом».

с. 43. Коммунизм есть общество, не вызывающее отталкивание от добра. Все остальные общественные организации и программы, включая сюда и quasi-социализм, вызывали это отталкивание. Вот проблема Достоевского.

с. 46 [Из многочисленных маргиналий Мих. Лифшица на статье А. Латыниной «Факты, проблемы, концепции. Размышляя над новыми книгами о Ф.М. Достоевском» (Литературная газета, 8 сентября 1971) приводим следующие:]

— А воз и ныне там! а) Надо рассматривать как объект, что сказалось. б) Диалектика реакционного и прогрессивного. Два типа недостатков.



Диалектику они все не понимают. А Достоевский-то был серьезным человеком, «доказателем»! Только... Новая мода — ни *бе*, ни *ме*<sup>[109]</sup>.

### Достоевский

#### Эстетика — анализ (с. 64–78)

с. 68–71. *Достоевский*. Роза Люксембург однажды сказала приблизительно следующее — Толстой не понял нас, но мы должны понять Толстого, иначе какая была бы нам цена<sup>[110]</sup>.

Всякое понимание есть вместе с тем и борьба. Предметом этой борьбы является то, кто кого способен понять. Если вы для меня объект, если я охватываю вас с более широкой точки зрения, я как бы побеждаю в этом соревновании. Субъективность [?] на моей стороне.

Карл Маркс и Федор Достоевский — современники. Они прошли мимо друг друга. Но их наследники [далее неразб.: нередко пробовали меряться силами /?/] Достоевский шире марксизма, что приходится слышать. Так говорили уже после революции 1905 года... Так иногда говорят и сейчас. Ибо революция доказала, что одной лишь передовой точки зрения и революционной решимости недостаточно. Суровый опыт показывает, что все упирается в общечеловеческие вопросы, вопросы добра и зла. Мы привыкли с порога отметить эту точку зрения как неубедительную и чуждую лучшим идеям времени. Однако можно все-таки сказать, что Достоевский и его мир шире вулгарного марксизма, не столь далеко ушедшего от идей Петра Верховенского. И если бы Ф.М. Достоевский был жив, он без всякого чрезмерного усилия мог бы включить в свой кругозор многие формы quasi-революционной идеологии, их подъем и моральный кризис. Они были бы для него только предметом изображения. Я думаю, что сюда включить можно [сказанное] в специальных марксистских трудах о Достоевском, поверхностные анализы и назидательные выводы, одним словом все то, что делает применение марксизма к литературным вопросам скорее смешным, чем сильным.

Однако [неразб.] еще более серьезная постановка вопроса. Способен ли марксизм в его ... [многозначие автора] понять Достоевского, т. е. охватить его с более широкой точки зрения, сделать его своим объектом, как ... [многозначие автора].

Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. Во всяком случае, нет более серьезного испытания для марксистского анализа, чем мир Достоевского. Стоит померяться силами. Если же пишущему эти строки не повезет и он окажется ниже своей задачи, то остается еще один запасной выход. Апокриф о Симоне Маге<sup>[111]</sup>.

#### с. 72–73. Достоевский. Ad vocem<sup>1</sup> Гроссман<sup>[112]</sup>

##### 1. Объективное содержание

<sup>1</sup> К слову (сказать); по поводу, что касается (*лат.*).

2. Его уровень определяет отношение сознания к факту. Где будет наш Н[аблюдательный] П[ункт]? Как перемещается точка зрения наблюдателя по отношению к объекту, рассказу?  
 Например [далее неразб. на нем. языке]  
 Где наша позиция? Как Чапаев, где должен быть командир?  
 Если взять Шекспира — мы в объективной драме, хотя [неразб.] и слыты.

А Мольера или Ювенала? *Сверху*. Тоже — Гоголь. Это и хорошо отчасти: чисто, ясно, но недостаточно *глубоко и демократично*. Руссо — больше сидит в грязи. [Далее неразб.] *высокого*.

Наше сознание затягивает в водоворот, трансформируется и выходит из него, из более глубокого низа более чистым, но этот ход:

оптимизм — пессимизм

пессимизм — оптимизм

3. Это все большая демократизация точки зрения сознания человека и с большей рефлексизацией (уже у Руссо). *Сентиментальность, романтизм, достоинщина*. Показать бы это уже на «Бедных людях»<sup>[113]</sup> по сравнению с Гоголем.

#### с. 74. Порядок

1. Анализ — описание [?] первофеномена реальности. *Зерна*
2. Анализ этого зерна с точки зрения объекта и субъекта
3. Конструирование, синтез, от абстрактного к конкретному. Развитие всего художественного произведения до его формальных особенностей, стиля.

#### с. 75–78. Поэт и художник

Достоевский это взял у Белинского. Последний не без влияния Гегеля.

*Поэтическое реальное содержание есть первое условие*. Ср. Гёте (мотивы). Все ли и всегда может быть таковым? И да, и нет. Да, в смысле определенного поворота, *больше или меньше* и смотря *как*, но — обязательный *объективный пафос* — без этого нет поэта ([неразб.] у экзистенциалистов). Толстой о *сукровице*. Подчиниться, поставить себя под влияние. Даже художник так делает при встрече с моделью. Далее аналитика поэтического содержания.

1. То в нем, что *транспарентно*, пропускает бесконечное.
2. Это совершается в *определенной рефлексии* — отношение содержания к его *носителю, коду. Полосы*.
3. Это и есть определение *формирования*. Тут роль *художника, художества*.

Форма как таковая и ее активная роль.

Соответствующее ей состояние содержания — оно приходит к диалектической изомии, «поэтической справедливости»

Тот самый [?] и еще слепой субъективный (общественный [?]) пафос, с которого начинается дело возведения на ступень *объективности* в фор-

ме — та или иная форма *изономии* сторон = полнота. Выявляется просвечивающее бесконечное.

Но — аналитика, два полюса развития рефлексии, субъективности. Изономия как субъективная позиция. *Отношения* полюсов. Ее развитие — распад на деятельную, рефлексивную субъективность и рефлексивную *stricte*.

Тело, пластика, поэтический мотив = поэзия объекта как таковая. В пределе = чистая проза, абстрактное тождество (код без смысла).

Разность, дифференциал — вот что дает смысл. Поэзия должна отступить от поэзии, чтобы быть поэзией. В ней зарождается зерно рефлексии. Эта рефлексия развивается до развернутой сюжетики, которая полнее всего в литературной прозе. Далее рефлексия приходит к самоотрицанию и к жажде предметности. Дискурсивное развитие кода умирает.

Переход от *тождества* поэзии и прозы к дальнейшему. Отражение поэзии в прозе, одной противоположности в другой. Все поэзия — ничто не поэзия. Поэзия есть *все* в его *всеобщем* (поэтическом) повороте. При каких, следовательно, условиях прозаическое бывает поэзией. Множество положений [?] и отношение к субъекту.

### Бедные люди [с. 79–83]

*Новая Элоиза*. Единоростовство добродетели, диалектика страсти. *Новая любовь* в отличие от любви XVIII века — *истина счастья важна*. В этом смысле Руссо создал общую форму для всех подобных ситуаций.

Обычная *величина*, вводимая в эту ситуацию в конце века и в начале следующего — фактическая, большей частью социальная невозможность удовлетворения страсти — неравенство сословий, брачное состояние, *преграда* усиливает и очищает пламень. Ведь (см. в письмах Юлии) *обладание* может покончить с *блаженством*, с полнотой, *истиной* счастья ([неразб.] Дидро — Бугенвиль<sup>[114]</sup> и др.) [на полях: *Большой* запрос, чем на устранение неравенства etc.]

Как пародия, препятствие, преграда существует и в «Бедных людях». Немолодой человек, поистине «свежий кавалер»! Карикатура на пылкого любовника. Но социальной или семейной преграды нет. Конечно, бедность — преграда. Но именно потому, что не будучи беден Макар Деушкин был бы еще пожилым мужчиной в соку, возможным покровителем. Это было бы обладание и разочарование.

Почему-то *истина* счастья расходится с *фактом* его. Два полюса! Это чисто *сентиментальное*, поистине *несчастное счастье*. *Щемящая нота* «Бедных людей»!

Да, бедность, но если бы им да выпало небольшое достояние? Была бы мещанская идиллия. Деушкин из тех любовников, как герой «Униженных и оскорбленных», как англичанин в «Игроке» (из Жорж Санд). Он из людей, которые легко становятся «кроткими». А откуда такие люди? Не прямо из бедности.

Добролюбов о Достоевском. Два типа — кроткий и ожесточенный. Два [?] *ожесточения* [?], хотя это не все. Однако связь Достоевского с западными *ожесточенными* надо бы проследить. Байрон и романтики. А Шиллер?

с. 84. Схема Бахтина — типическая схема 20[-х] гг., аналогия к *вульгарному марксизму*.

Я приложу [?] метод марксизма к вульгаризации [?] того, образцы которого [создавались] в трудных условиях [неразб.] в тридцатых годах. Я, конечно, считал и считаю, что это подлый [?] марксизм [?] и готов совершенно отказаться от него [неразб.] Алла иль алла Мухамед расуль алла! [Далее несколько фраз неразб.] — считаю [?], что это *мой метод*.

с. 88. Преувеличение трагического и комического [?], *трагизм и шутство*, священное [?] и самоиздевательство у Достоевского и во всем последующем — рефлексивное преувеличение (раньше, объективно — Шекспир, Бальзак трагикомедия).

с. 91. «Бедные люди», как все у Достоевского, обязательно [?] — трагести, пародия, «снижение». [На полях: а) насколько это от Пушкина? От Голя? б) это новая идеализация, отчасти истинная, отчасти фальшивая.] Вданном случае *сентиментального — высокого романа в письмах*. Перенос в иную среду, *мельчание века*. Мотив отчасти бальзаковский, но более реальный, ибо не *буржуазия* и *буржуазная жизнь* Франции с ее еще средневековой традицией, здесь верны [?] ей еще — *все буржуазное есть пародия*. Здесь же, в России, новая сила — лишь отчасти предваренная [?] *немецким мещанством* и его чудесами у Гофмана. Но немецкое мещанство еще идилично и сентиментально, а здесь *и оно* профанируется, т. е. берется в кавычки, рассматривается с точки зрения второго сознания или *рефлектируется* (*немцы* у Достоевского, в частности в его биографии) посредством перевода на более [,] еще более реальную среду. [На полях: неразб. русское мещанство] Тут *пусть реализма*, каждая среда [порождает] *другой, более реальный* взгляд.

Что такое этот процесс вообще? Это продолжение процесса мезотизации, переходящего в обратное. *Мезотизация есть реализация* до [?] прекрасного от *слишком высокого*. А потом и развенчание красоты.

с. 92. Истинно говорю вам: которое зерно не погибнет, то не прорастет! Вот эта истина, применяемая Евангелием и Достоевским, должна быть применима к нашей революции — если это взгляд, достойный Достоевского. И это, как говорится, буди, буди!

Да, все ужасы пережитые, переживаемые и которые нам предстоит пережить, и все грехи наших близких и наши собственные — все это приближает к «золотому веку», а не удаляет от него.

И какая жалкая эта *интерпретация Достоевского* — то, что идет от «Вех», да и от Переверзева, которая противопоставляет Достоевского — марксизму.

Элемент *страшного карамазовского опыта* необходим! Прежде всего *надо понять*.

с. 93. Марксизм и Достоевский — как [неразб.] эту тему

Тезис: марксизм contra Достоевский и образы (Иван Карамазов)

Мой тезис — связь того и другого. Карамазовский безудерж не русская черта. Это Азия: деспотизм и *дьявол in persona*<sup>[115]</sup>

с. 94. Макар Девушкин и его партнерша. Это тоже *нравственный парадокс*. Нравственный парадокс *избытка* любви. Мегалофилия. Состязание в великодушии, хотя здесь еще нет христианской этики подставления щеки. Хотя есть. Ведь m-He — *падшая*. Развитие этой темы, предполагающей испытание для мужчины в России. Крамской. Добролюбов?

Ср. Ван-Гога<sup>[116]</sup>. Надо прочесть Розанова о проституции. Но дело умеряется [?] тем, что и сам Девушкин — *ветошка*, падший. Так что прекрасно *здесь равенство!* Нравственное убежище от обидчиков.

с. 95. Агрессивность — барство. Тихость = бедность. Но это и не мазохизм. А вещь прекрасная. Далее Достоевский начинает нащупывать *парадокс зла* — софисты типа Крития и другие до *подпольного человека*. Но потом лишь это перейдет и в разоблачение «подпольности» *социализма*. И в разоблачение социализма *подпольным протестантством*.

Важное в Достоевском, что он понял и безумную подпольность «атеистов», понимая, что движет ими и обратное.

с. 96. Раздвоение демонизма на *progrès maudit*<sup>1</sup> и на кукиш ему. А раздвоение любви? Мегалофилия и ...

с. 98. Достоевский

1. Включить главу «Революционная нравственность»

2. М[аркс] и Э[нгельс], А[енин] как [?] *нравственные типы*

с. 99–101. При этом коэффициент [?] более общего генуса. Например, Азия = настройка и тождество противоположностей — Азия и капитализм.

Развитие общественной формации, эпоха увядания данной формы собственности и ее гегемонии над надстройкой. Две другие формы — *Anfang und Ende*<sup>2</sup>. Тождество и дифференциал. Не формально, но и включая «ценности» (абсолютное). [Приоритет — ?] диалектики — влияние *genus*<sup>3</sup> на внутреннюю структуру цикла и обратно: внутренняя структура и генутальные признаки.

Смердяков 1967, XI

В материализме заключен столь смелый, до дерзости просвещающий элемент, что безопасным это просвещение может быть только при условии высокой культуры, как нужна она врачу для того, чтобы не стать циником, не впасть в пессимизм, не пользоваться своим знанием для личной пользы.

«Это не для лакеев». Формула старого вольнодумства и старого материализма по-своему верна и сейчас. Все то зло, которое может проистечь из преувеличения принципа пользы и целесообразности, из развенчания старых кумиров, вытекает, собственно, *не из самого просвещения, а из лакейства*. Не будьте Смердяковыми, господа! Не будьте Смердяковыми, господа Горкгеймер [Хоркхаймер] и Адорно, даже разочарованными в просвещении<sup>[117]</sup> и желающими сохранить лакейство как таковое.

<sup>1</sup> Проклятый; окаянный, гнусный; le Maudit (*фр.*) — демон, дьявол.

<sup>2</sup> Начало и конец (*нем.*).

<sup>3</sup> Род (*лат.*).

с. 103–105 [машинопись]. «Бедные люди» Достоевского — борьба рефлексий, хотя эта злая борьба благородства или, вернее, чистейшей любви.

Поскольку вся любовная сюжетика XVIII века развила борьбу рефлексии на примере двух любящих сознаний — это ее открытие, разве что в римские времена бывало что-то подобное, да еще нужно проследить в классической трагедии XVII столетия.

И вдруг Достоевский поворачивает всю эту сухую материю, сухую даже в пушкинской поэзии, даже в слезах Вертера, поворачивает от «один любит, другой не любит» к взаимной любви, трогательной, счастливой и все же злой. У Шиллера счастьем препятствуют только внешние сословные препятствия. Да, здесь нищета. Но *нищета не только внешнее препятствие* — оно и внутреннее. Люди с таким смятым достоинством, ветошки, как могут любить? Только горько.

У Руссо — тоже внешнее расстояние является исходным пунктом. Хотя взаимная любовь, без всяких несовпадений, налицо. Но у Руссо нет нищеты, переходящей в полную смятость. Его любовник может быть частным образом, по-буржуазному, даже богат или богат по милости друзей. У нас же в Азии — нищета материальная вполне совпадает с социальным угнетением. Нищета официальна и вместе с тем более связана с унижением человеческого достоинства. Похоже на Герцена: «Зачем мы проснулись?» Достоинство в таком положении может быть только самое человеческое, самое истинное, более по Эпиктету, чем по предшествующим моралистам. Достоинство в цепях.

Октябрь 67 г.

«Опасные связи» Шодерло [де Лакло] у Юлиана Шмидта<sup>[118]</sup> — «идеологические» эксперименты. *Развитие рефлексии* в любовных романах вообще — поскольку здесь два сознания в своего рода агонистике. Вместо слияния жизни в общем тепле — высшем начале нравственности — выходит война. Рефлексия вообще очень воинственна, ее война на истребление, негативность ее основной принцип. Надо обратить на это внимание. У Канта рефлексивные определения суть и позитивные и негативные, и подобия и антитезы. Но суть все же в антитезе!

Развитие человеческой субъективности, имеющей свой прообраз в труде абстрактном, в единой человеческой стихии, пожирающей, вместо того, чтобы соединять живое. А де Сад тоже интересен в этом смысле? См. французская книга под названием «Метафизика любви». Нужно проверить точки совпадения и расхождения по Ричардсону, «Коварство и любовь», «Вертер» и «Поль и Виргиния»<sup>[119]</sup> Жорж Санд? Эпиктет! Сентиментальный роман в переписке после Руссо.

с. 107. «Бедные люди»

1. Парадоксия демонов и святых, начиная со святых, но Белинский не усмотрел парадоксию. Эта парадоксия есть у Достоевского даже до князя Мышкина. Изуверство добродетели («неразб.»). Социальное в преломлении антропологического через цикл.

2. Элоиза в прошлом была бесконечно любящей, образом более широкой женщины. Сюжет в XVIII веке. В «снижении» Достоевского *дело меляется*. Абельяр<sup>[120]</sup>-чиновник становится *субъектом горения*, бесконечности чувства. Святой-любовник — *бунт бесконечного в его любви*.
  3. Свой образец Достоевский указывает. Ратазьев<sup>[121]</sup> презрительно отзывается о «Станционном смотрителе». У Пушкина — обманутое, бесконечное родительское чувство. *Бедный отец*, превращение его в *бедного любовника*. Социальная преграда, здесь не любовная, а имущественная. *Любовь нищих*. Но женщина, как и у Пушкина, *следует своей судьбе*, более обыкновенной, реальной, хотя и не блестящей.
- с. 115. Достоевский с точки зрения *вопреки и благодаря*, примирение с реакцией и трагедия Достоевского, наказание

Репино, октябрь 1968 г.

с. 116–118. К Достоевскому и нашей эпохе

Подвластные диалектически развивают страшную жажду власти. Это обратная реакция, в которой действие не равно противодействию.

Шофер, видя бегущую женщину, вместо того, чтобы придержать автобус, думает про себя: «Беги, беги, корова! Все равно до остановки не добежишь, а если и добежишь, я тронусь раньше времени». И долго еще, глядя вперед на разбегающихся [линии? — Неразб.] дороги [неразб.] по сторонам, он внутренне наслаждается тем, что проявил доступную ему каплю власти над другим человеком, и, может быть, даже оправдывает свой поступок общественной необходимостью: «В другой раз не опаздывай!»

Мелкая жажда власти гораздо гаже, опаснее, хуже крупной. Это, конечно, пережиток старого общества, но какой — *рабский*. Рабская форма старой идеологии — самая скверная и опасная. По этому закону и выходит, что перед освобождающимся человечеством встает грозная опасность — и *это тайна современности* — старого не в его *господствующей*, а в его *бунтарской форме*. Не в форме *нормы*, а в форме *разложения* ее.

Например, рабский *карьеризм*, рабский *бюрократизм*, *жажда жизни маленького чумаго* — вот грозная, грознейшая опасность.

Одно (не лучшее) проявление истины — *действие не равно противодействию*. Исторический закон — вредная, отрицательная, бунтарская, разлагающая часть общества («Не так бывает важен *способ производства*, как *способ разложения*» — Маркс и Энгельс) ведет вперед, но ведет вперед всегда противоречиво, создавая *прогрессивно-худшее*. Удивительно ли, что и сейчас так? Ведь *буржуазная демократия* и ее предшественница *демократия*, возникшая из *разложения римской государственности*, демократия полусвободного труда, также были *рабскими реакциями* на прежнее угнетение, *сохранившими семя его в другой форме*. Но происходил и другой процесс, в известной мере возвращавший к тождеству действия и противодействия, более глубокий демократизм.

Ленинград, октябрь 1968 г.

с. 118. Тот известный факт, что у низших классов острее происходит (в известном отношении) разложение старых порядков, например распад семьи, заброшенность индивида и т. п. (ср. народническую беллетристику, ср. положение рабочего класса по марксистской литературе), имеет и свою *не переходящую в действительное отрицание отрицания отрицательную сторону*. Так что анархия и бунт в анархическом смысле дело не только буржуа-парвеню. Вот истина, которую мы, увы, узнали и у нас, и в Китае. Коллективная солидарность у рабочих сильнее, чем в купеческом сословии, но купеческая семья крепче, крепче держится за семейность, как бы ни бушевали страсти. Если рабочего оторвать от источника классовой солидарности — от производства и противоречия к хозяевам, он может быть страшен.

В сказанном по отношению к плебейству одно из объяснений достоинствины.

с. 119. К «Бедным людям» Достоевского

Переносом действия переписки в более низкую среду по сравнению с прежним *Briefroman*<sup>1</sup> достигнута *новая степень романтической самоиронии, рефлексии*. Автор более отделяется от своих созданий, оставаясь все время с нами. В то же время столкновением романтики с нищей действительностью создается *реалистический эффект*. «Трансцендентальная буффония» Фр. Шлегеля переходит в реализм.

Романы в письмах — выражение той драматизации эпохи, которая свойственна современности. Гете. An Schiller. 23 Dezember 1797<sup>[122]</sup>.

с. 121. Достоевский и рабское сознание, бунт раба, этос Смердякова. Может быть, самое важное у него: не против *другого, виноватого*, а против себя самого (с избытком самокопания, но ...)

с. 123. Если хотите знать, в чем состоит «отчуждение» нашего времени

Тема Достоевского подпольный мир в душе среднего человека, [мелколюдыя?]

Он художник *тени демократии и социализма*. Тень же есть нечто реальное. Ее больше всего нужно бояться. «Подпольный человек», который приписывается социализму. Бескорыстно злое его проблема.

Это явление той эпохи, когда временно отступает как бы классовая борьба. На первый план выходит *мелколюдые* [?]

Тиссен<sup>[123]</sup> о золотой осени капитализма. Ср. с Римом. — *А все-таки она вертится!*

Аналогии с Римом были фальшивы. Теперь отчасти справедливы.

Не беспокойтесь, капитализм умрет. Правда Тиссена — золотая осень возможна. Конец всех способов производства, переходы, подобные «расцветам». Такова империя Антонинов, таков расцвет абсолютной монархии после гражданских войн эпохи Возрождения. Только скорость прохождения таких периодов (первый — *все азиатские деспотии*) изменяется.

<sup>1</sup> Роман в письмах (нем.).



Одно дело эпоха быка, запряженного в однолемешный плуг, другое дело время, когда один сельскохозяйственный рабочий, вооруженный универсальной машиной, может кормить двадцать горожан. Такое время, кажется, идет быстрее.

Не та ли «подпольность» была и в Риме в эпоху императоров? А не повторяется ли отношение к ней в христианстве? Но все это относится к теме Великого инквизитора — с воспоминаниями о том, что писал Межковский и «Вехи» о революции.

Черт может хвалиться тем, что марксизм остался с носом — что есть более глубокие и вечные вопросы, что Ф.М. Достоевский перетянул. Что кризисов нет etc., что классовой борьбы нет. Нет, тебя самого нужно *рассмотреть исторически*.

с. 124. О Достоевском. Начать нужно с того, что развить современную социальную концепцию Достоевского... Психология etc. — бесполезное [?] приложение [?]

Нет, что-то не то. Чем-то другим он интересуется, и с самого начала. Да — другая концепция, его интересует психологически-нравственная жизнь, вечное в человеке. Доказательства. Нет, тоже не то!

Что же? Это *вторичное* с социальной точки зрения и есть главная проблема Достоевского, но это *вторичное* и есть более всего социальное.

с. 125. Проблема, которая есть и в «Черте» — можно ли так: соединить удобства с истиной и добродетелью? Это *Кантовская* проблема действительно. А можно ли? Смотря *как*. Маленькие, слабые, обиженные. Главное их условие: они [далее неразб.] В «Униженных и оскорбленных» в сущности вопрос ставится так же смело, как и у Чернышевского. Стр. 256–257.

с. 126. К Достоевскому. Надо будет вопрос о двух линиях, о демократическом и бюрократически-помещичьем капитализме объяснить толково. Рассказывать на примерах о принудилровке, о железных дорогах. И особенно показать связь этого с сегодняшним днем. Бедные люди = маленькие люди, а потом *последующая их демония* (которую Белинский не заметил). Не вполне ли не заметил Белинский? А его собственный «Дмитрий Калинин», а Лермонтов, может быть и романтизм?

[Заметки на полях статьи М.Б. Храпченко «Достоевский и его литературное наследие» (Журнал) «Большевик»<sup>[124]</sup>, 1971):

с. 109. Храпченко: Мнение, заключающееся в том, что мировоззрение писателя во всех наиболее существенных его проявлениях было консервативным, не соответствует действительности. Оно опровергается тем горячим *протестом* [выделено Мих. Лифшицем] против общественной несправедливости, который воплощен в художественных созданиях писателя...

Лифшиц: А это не может быть консервативным?

Храпченко: Политический консерватизм, предубеждения, касающиеся освободительной борьбы, не подчинили себе яркую, пытлившую мысль художника...

Лифшиц: вопреки?

с. 111. Храпченко: *Жизнь обездоленных людей* [выделено Мих. Лифшицем] стала одной из очень важных тем в творчестве Достоевского.

Лифшиц: Не в этом вовсе дело — Достоевский впервые показал, что бедные да справедливые вовсе *не благообразны*, это даже та критика собственной слабости (которая по-своему продолжает сомнения «Адольфа»<sup>[125]</sup> и байронизм), демократического человека. → Но будто бы отсюда *следует* то, что думал Достоевский. Нет, это значит оскорбить истину и он оскорбил ее.

## 2. ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

### а) Заметки на полях романа «Братья Карамазовы»

[Достоевский Ф. Собр. соч. в 10 томах. М., 1958, т. 9–10]

#### Том 9

с. 23. Достоевский: Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и не специалистов, и, главное, по предмету по-видимому вовсе ему не знакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде.

Лифшиц: Ткачев?<sup>[126]</sup>

с. 28. Достоевский: [характеристика Алеши:] Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся...

Лифшиц: [неразб.] — то здесь сила *непосредственности*, свободы

с. 30. Достоевский: [характеристика Алеши]

Лифшиц: полная противоположность расчета

с. 35. Достоевский: Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по моему, чудеса реалиста никогда не смутят.

Лифшиц: Верующие реалисты, кроме не верующих. Чудо от веры.

с. 36. Достоевский: [характеристика Алеши:]

Лифшиц: некоторые все же черты чайковцев и долгушинцев...<sup>[127]</sup>

с. 38. Достоевский: [характеристика старчества, послушник старца:]

Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искусства победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, т. е. свободы от самого себя, избежать участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли.

Лифшиц: Если свобода есть прежде всего свобода от самого себя. А было бы умнее не так — если бы он *все исполнил*, тщеславие в этом.

с. 40. Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером.

Лифшиц: Толстовская история.

с. 54. Достоевский [о Ф. Карамазове].

Лифшиц: Делать и говорить наоборот тому, что полагается и *сознательно*. Шуты — специальность Достоевского.

с. 57. Достоевский [старец Зосима]: Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит. [Федор Карамазов:] — Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, это много, слишком много, но — с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте...

Лифшиц: От обратного. В глубине души сознает свою отверженность.

с. 58. Достоевский [Федор Карамазов]: Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, — господи! какой бы я тогда был добрый человек!

Лифшиц: От мнительности, от мнения. Та же *мнительность* + *обидчивость* = рефлексивная болезнь, «ложь самому себе»

с. 58. Зосима: не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закроются ваши питейные дома, если не можете всех, то хотя бы два или три [?! — знаки на полях Лифшица]

Лифшиц: Как Толстой

с. 58. Зосима: Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли?

Лифшиц: Удовольствие от обиды.

с. 73. Зосима: По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей

Лифшиц: Известная техника. Это элемент материализма<sup>[128]</sup>. Однако очевидности *без всего*, без предпосылок, нет<sup>[129]</sup>.

с. 75. Зосима: Сделайте, что можете, и *сочтется* вам [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Плата

с. 76. Лифшиц: Все сплошь в общем на чистой рефлексии. Это единственный *аквизит*<sup>[130]</sup> (см. выше).

с. 78. [Иеромонах Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Федоровича:] По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальной статьей

Лифшиц: Ткачев<sup>[131]</sup>

с. 112. [Федор Карамазов:] он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость, и только что сделал, тотчас же за то и возненавидел его

Лифшиц: Мерзкий характер, хотя и без вины виноват, но уж *мерзостный*. Ларошфуко?

с. 112. [Федор Карамазов:] Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства

Лифшиц: Это — идея *совершенства* в *худом роде*

с. 121. Достоевский: Алеша «пронзил его сердце» [Зосимы] тем, что «жил, все видел и ничего не осудил»

Лифшиц: сила

с. 122. Лифшиц: всей гадости, описываемой этим автором, конечно, и в каждом человеке достаточно

с. 146. Лифшиц [о Дмитрие Карамазове]: Но этот — не из [неразб.] *реальных* гадов. Теоретик и потому в нем переход к святости. — Обмен великодушием.

с. 147. Дмитрий Карамазов: Прийти с предложением руки казалось мне низостью

Лифшиц: Бескорыстно в смысле не насилия, не подчинения другого своей воле, внешней для него цели

с. 149. Катерина Ивановна: Не пугайтесь — ни в чем вас стеснять не буду, буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите...

Лифшиц: Это уж насилие!

с. 149. Дмитрий Карамазов: Она свою добродетель любит, а не меня

Лифшиц: Подозрение во всяком случае есть. Но любить она *должна*, ибо все это *игра рефлексии* именно *бурбона* [т. е. Дмитрия Карамазова]

с. 149. Дмитрий Карамазов: В том и *трагедия*, что я *знаю* это наверно.

Лифшиц: т. е. *еще глубже* дело

с. 150. Дмитрий Карамазов: И вот такой, как я, предпочтен, а он отвергается. Но для чего же? А для того, что девица из благодарности жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет!

Лифшиц: Не сомневался в искренности, но сомневается в *любви*. Благородная любовь — не полная любовь, т. е. он продолжает свою линию беспутства уж намеренно, из благородства, чтобы не было сомнений, а все это в высшей степени на том же уровне *заглядывания, рефлексирования*, как и у Чернышевского.

с. 151. Дмитрий Карамазов: Пошел я бить ее [Грушеньку], да у ней и остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет

Лифшиц: Игра.

Нескладица все же — чего он так жаждет денег? Не верил все же [неразб.]. Хочет быть свободным, хочет сказать: «Я тебе не пара»

с. 152. Дмитрий Карамазов: да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред, невысказанный бред, ибо тут трагедия!

Лифшиц: Ситуация толстовского дьявола

с. 198–199. Дмитрий Карамазов: Но знай, что бы я ни сделал прежде, теперь или впереди, — ничто, ничто не может сравниться в подлости с тем бесчестьем, которое именно теперь, именно в эту минуту ношу вот здесь на груди моей, вот тут, тут, которое действует и совершается и которое я полный хозяин остановить, могу остановить или совершить, заметь это себе! Ну так знай же, что я его совершу, а не останавливаю.

Лифшиц: Все эти люди таковы, все *своевольники*. Разные функции [?] роковой [?] воли.

с. 205. Старец Зосима: Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а напротив, всякий сюда пришедший,

уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и все и вся на земле... И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознать сие.

Лифшиц: Хитро!

с. 205. Зосима: Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается

Лифшиц: Когда уж так за всех виноват, то и хорош, свят<sup>[132]</sup>

с. 205–206. Зосима: Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние было, но условий с богом не делайте

Лифшиц: Условие, чтобы не делать условий

с. 206. Зосима: Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся...

Лифшиц: Ишь [?] ты какой [?]! Его маковка<sup>[133]</sup>.

с. 266. Достоевский: Вдруг он [штабс-капитан, отец Илюши] отскочил назад и выпрямился перед Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость

Лифшиц: Естественно [?]. Ибо это ненависть не к одному обидчику, а к системе. А все-таки у Толстого было бы не так. И то мне больше по душе.

с. 294. Иван Карамазов: Я с тобой хочу сойтись, Алеша, потому что у меня нет друзей, попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть, и я принимаю бога, — засмеялся Иван, — для тебя это неожиданно, а?

Лифшиц: А Алеша-то сомневается.

с. 294. Иван: И не то странно, не то было бы дивно, что бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости бога — могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку.

Лифшиц: А между тем и неудивительно<sup>[134]</sup>

с. 297. Иван: [о святом, который дышал в гноящийся и зловонный от ужасной болезни рот голодного и обмерзшего человека]: Я убежден, что он это сделал *с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви* [выделено Лифшицем], из-за натащенной на себя эпитимии

Лифшиц: → Аналогично Герцену и Бакунину, против [неразб.] долга

с. 297. Алеша: [старец Зосима] тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить.

Лифшиц: *опыт* любви. Проблема красивого лица, благолепия. Все чтобы было благообразно

с. 297. Иван: К тому же страдание и страдание: унижительное страдание, унижающее меня, голод, например, еще допустит во мне *мой бла-*

годетель [выделено Лифшицем], но чуть повыше страдание, за идею, например, нет, он это в редких случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе *не то лицо* [выделено Лифшицем], какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, *идею* [выделено Лифшицем]. Вот он и лишит меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а лишь просить милостыню через газеты.

Лифшиц: а острая нравственная постановка вопроса: полюбите нас черненькими... Острая нравственная постановка вопроса это тот же анти-либерализм (и анти-эстетизм) — пока само не перешло в либерализм

с. 298. Иван: Если они [дети] на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному. [...] И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы [подчеркнуто Лифшицем], иногда очень любят детей.

Лифшиц: круговая порука

с. 300. Иван: ...Ришар подарен им [горным швейцарским пастухам] был как вещь и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое отдавали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже этого и били...

Лифшиц: А у них жестокий порядок охраны частных лиц. С умилением, с *внутренней* [далее неразб.]

с. 302. Иван: И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку...

Лифшиц: Свобода, культура с сечением, с битьем...

с. 303. Иван: Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и некуда идти...

Лифшиц: Садизм = демонизм

с. 303–304. Иван: понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, быть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезинок ребеночка к «боженьке».

Лифшиц: *Ахинея* нужна для познания, а на кой? Отчасти верно. Ничто не нужно, нужно только добро. Безусловно дано [?] познание [?] условно. Но познать все же нужно это даже Ивану... Distinguo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Я различаю (лат.).

с. 305. Достоевский: — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша...

Лифшиц: Ага!

с. 305. Достоевский: [Алеша:] — Я сказал *нелепость*, но... [выделено Лифшицем]

[Иван:] — То-то и есть, что но... — кричал Иван. — Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы не произошло. Мы знаем что знаем!

Лифшиц: т. е. ахинея. Таким образом ахинея становится богом<sup>[135]</sup>.

с. 306. Иван: Что мне в том, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя.

Лифшиц: Возмездие — [неразб.] Но см. с. 305, 307, оно входит в нелепость, т. е. аргументы против либретто<sup>[136]</sup>, но предполагается все же либретто.

с. 307. Лифшиц: пока все это против религии, но не против материализма<sup>[137]</sup>

с. 308. Иван: Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*.

Лифшиц: Правота Достоевского (хотя это и не последнее его слово<sup>[138]</sup>). У Толстого по-другому.

с. 308. Иван: — И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

Лифшиц: ср. письмо Белинского<sup>[139]</sup>

с. 308. Алеша: Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся *и за все*, потому что само отдало *неповинную кровь свою* [выделено Лифшицем] за всех и за все.

Лифшиц: Искупление грехов неповинной кровью<sup>[140]</sup>

с. 314. Великий инквизитор: Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это?

Лифшиц: Немного [?] проблема, затронутая у Дидро в «Разговоре отца с детьми»<sup>[141]</sup> — Необходимость отчуждения.

с. 316. Иван: Он [Великий инквизитор] ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми

Лифшиц: «Бунт» не жизнь. С. 308. Свобода, но не счастье

с. 317. Иван: ...ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!

Лифшиц: *Невыносимость свободы* (бунта). Счастье зависимости — но суть-то дела в *невыносимости пустой абстрактной свободы*, пусть хоть подчинение, но *традиция, конкретная близость*

с. 318. Великий инквизитор: И если за тобою [Христом] во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? [...] Нет, *нам дороги и слабые* [выделено Лифшицем]. Они порочны и *бунтовщики* [выделено Лифшицем], но под конец они-то станут и послушными.

Лифшиц: Демагогия. Ср. с. 313, 314.

с. 319. Лифшиц: Проблема хлеба — (Герцен) *иначе*.

с. 320. Великий инквизитор Христу: И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было *не по силам людей* [выделено Лифшицем], а потому поступил *как бы и не любя их вовсе* [выделено Лифшицем], — и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою!

Лифшиц: И правильно<sup>[142]</sup>

с. 321. Великий инквизитор: Ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди с креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной

Лифшиц: А это противоречие

с. 328–329. Иван [о Великом инквизиторе]: На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, *«недоделанные пробные существа, созданные в насмешку»* [выделено Лифшицем]. И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию *умного духа, страшного духа смерти и разрушения* [выделено Лифшицем], а для этого принять *ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению* [выделено Лифшицем] и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут...

Лифшиц: Весьма подчеркнуто в легенде, что люди «бунтовщики», но не настоящие революционеры — идеалисты. Ср. «Бунт» Штирнера?<sup>[143]</sup>

То он «реалист», то весь реализм есть лишь негативность идеализма.  
*Бескорыстное зло*

с. 330. Лифшиц: Иерархия: 1. низость 2. широта разгула 3. интеллектуальное наслаждение тем, что «все позволено» 4. шутовская [?] любовь

с. 330. Достоевский, Иван: Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его обескровленные уста

Лифшиц: Это поцелуй добра бескорыстно злomu!



с. 330. Иван: — Есть такая сила, что все выдержит! — с холодной уже усмешкой проговорил Иван. — Какая сила? — Карамазовская... *сила низости* [выделено Лифшицем] карамазовской.

Лифшиц: Ключ к низости! То, что остается, когда и бескорыстное зло — абстракция. То *естественное* основание, которое выдерживает, *остается*

с. 331. Иван: От формулы «все позволено» я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да? — Алеша встал, подошел к нему и молча тихо поцеловал его в губы.

Лифшиц: Значит, «все позволено» — это высший полет по отношению к простой низости. Интеллектуальное наслаждение *ничем*.

Роковая любовь к *Добру* у них всех.

с. 335. Достоевский [о Смердякове]: Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное и притом самолюбие оскорбленное

Лифшиц: От *Голядкина до Смердякова*. Низшие души. Но они и в высших

с. 335. Достоевский [о Смердякове]: Даже подивиться можно было нелогичности и *беспорядку* [выделено Лифшицем] иных желаний его, поневоле выходящих наружу и всегда одинаково неясных

Лифшиц: Это очень часто у Достоевского

с. 335. Достоевский: ...Смердяков видимо стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное...

Лифшиц: Ср. Тимона Афинского<sup>[144]</sup> и его двойник. Это всегда ужасно. Негативная величина большого полета и *жулик, лакей. Ставрогин* и П. Верховенский

с. 357–358. Зосима: Чудно это, отцы и учителя, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения, так что даже удивлялся себе самому и такой странной мечте моей.

Лифшиц: Удивительно, все *для меня*

с. 361. Достоевский: «Мама, — отвечает ей [брат старца Зосимы], — не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай»

Лифшиц: Фейербах, Гейне

с. 365. Зосима — библейская легенда об Иове: Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые: как это мог господь отдать любимого из святых своих на потеху диаволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал с себя гной своих ран, и для чего: чтобы только похвалиться перед сатаной: «Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня!» Но в том и великое,

что тут тайна, — что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Перед правдой земною совершается действие вечной правды

Лифшиц: Хорошо сказано, но... Правда и Болинброка и Вольтера<sup>[145]</sup>. Почему не так «соприкоснулось», как у греков?

с. 365–366. Зосима: И сколько тайн разрешенных и откровенных: вос-становляет бог снова Иова, вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие...

Лифшиц: А дети-то, дети здесь какую роль играют? Они ведь не статисти?

Почему он так всепрощающе здесь и так строго к «ахинее»? Значит, и ахинею надо простить как мор[альный] символ?

с. 366. Зосима: — а надо всем-то правда божия, умиляющая, прими-ряющая, всепрощающая!

Лифшиц: So! [Так! (нем.) — иронич. замечание]: А не «расстрелять»? Слэцавая фейербаховщина уже на постном масле!

с. 366–367. Зосима [о сельских священниках]: Собери он у себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, — прослышат отцы, и отцы приходиться начнут [...] Разверни-ка он им эту книгу и начни читать *без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко* [выделено Лифшицем]...

Лифшиц: Да ведь сие православие все же немного и еретическое, хотя и не толстовское христианство

с. 369. Зосима: Посмотри, — говорю ему, — на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость и какая красота в его лике. Трогательно это даже и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все *совершенно, кроме человека, безгрешно*, и с ними *Христос еще раньше нашего* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Св. Франциск [Ассизский]

с. 379 [слова Зосиме «таинственного посетителя»]: «Что жизнь есть рай, — говорит вдруг мне, — об этом я давно уже думаю, — и вдруг прибавил: — Только об этом и думаю». Смотрит на меня и улыбается.

Лифшиц: против иудаизма [?] = жизнь есть ад. Ну, [неразб.] «перекопал» Фейербаха на православный лад

с. 379–380 [слова Зосиме «таинственного посетителя»]: Знайте же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо *на всякое действие свой закон*. Дело это *душевное, психологическое* [выделено Лифшицем]. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психологически повернулись на другую дорогу. Раньше чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакую наукой и никакую выгодой не сумеют безобидно разделить в собственности своей и в правах своих.

Лифшиц: Нет ли мистики немецкого или польского происхождения?

с. 380. Достоевский [слова Зосиме «таинственного посетителя»]: Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие

Лифшиц: «Истинный социализм»!<sup>[146]</sup>

с. 380. Достоевский [слова Зосиме «таинственного посетителя»]: Тогда и явится знамение сына человеческого на небеси... Но до тех пор надо все-таки *зная беречь* [выделено Лифшицем] и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хоть бы даже и *в чине юродивого* [выделено Лифшицем]. Это чтобы не умирала великая мысль...

Лифшиц: Это уж похоже

с. 382. Достоевский [рассказ Зосиме «таинственного посетителя» о своем преступлении]: При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула

Лифшиц: Чушь все-таки!

с. 390. Достоевский [публичное объявление о своем преступлении и смерть «таинственного посетителя»]

Лифшиц: Нет, все не так! Эта иллюстрация, действительно, сие показывает. Это что-то вроде гегелевской теории самонаказания<sup>[147]</sup>. Гуманнее католическая теория исповеди и отпущения грехов. Гуманнее и человеческий закон давности

с. 393. Зосима: Я знал одного «борца за идею», который сам рассказал мне, что, когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы только дали ему табаку

Лифшиц: Вздор!

с. 394. Зосима: Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него

Лифшиц: А это вовсе и не ново

с. 395. Зосима: Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и *сие поймут лишь у нас* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Что есть разница между равенством формальным и «*равенством духовным*», предполагающим даже возможное неравенство положения (если и не материального) — это факт

с. 397. Зосима: И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уж без всякой гордости с моей стороны, а я с его неверия?

Лифшиц: Решение проблемы господ и слуг посредством уничтожения *гордости*. Что *гордость* есть нравственная проблема, связанная с неравенством, сие есть факт, но старая религиозная демагогия эта война против гордости — во все времена, *да и гордость-то двойственна*. Досто-

евский *слишком* казнит сию мерзость. Гордость снизу хоть и может изойти надрывом, все же симптом [?] добрый [?]. Distinguo!

с. 397. Зосима: Даже и теперь еще это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей...

Лифшиц: Тоже небось *две ступени* у этого христианского социализма<sup>[148]</sup>

с. 398. Зосима: «Что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему чай подносить?» А я им тогда в ответ: «Почему же и не так, хотя бы только иногда»

Лифшиц: Это — вполне демократическое возможное правило

с. 399. Зосима: Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и в грехе его...

Лифшиц: Почему же не кулаков и мироедов?

с. 399. Зосима: А меня отец Анфим учил деток любить: он, милый и молчаливый в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст: проходить не мог мимо деток без потрясения душевного: таков человек

Лифшиц: Это все-таки «гордость» и для себя. *Не входит* человек в дела, страдания [?] другого, а *откупаются*<sup>[149]</sup>. Войти надо!

с. 401–402. Зосима: Если можешь принять на себя преступление стоящего перед тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти

Лифшиц: Если бы это было возможно, то пострадавший за другого не мог бы существовать и часа.

с. 402. Зосима: А не придет, все равно: не он, так другой *за него* [выделено Лифшицем] познает, и пострадает, и осудит, и обвинит сам себя, и *правда будет восполнена* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Сия полная взаи[неразб.] возможная [?] на круговой поруче все же весьма абстрактна: отвечают больше люди развитые, вменяемые, хотя верно, что и не самые преступные, ибо они знают и не действуют для устранения причин преступления

с. 403. Лифшиц: Основная истина: сам виновен

с. 403. Зосима: Не принимает род людской пророков своих и чтят тех, коих замучили

Лифшиц: «Ахиня»<sup>[150]</sup>

с. 404. Лифшиц: Жизнь есть рай, а ад — будто бы нельзя жить и любить<sup>[151]</sup>. Ересь!

с. 404. Зосима: Ибо хотя простили бы их праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна

<sup>1</sup> Я различаю (лат.).

Лифшиц: Что так? Ведь возможна она для мертвых праведников?

с. 411. Достоевский: ...возник было между находившимися у гроба вопрос: надо ли отворить в комнате окна?

Лифшиц: Это — главная проблема. Как сходятся между собой два мира<sup>[152]</sup>. То же в разговоре с чертом и то же в легенде о Великом инквизиторе. Как великий человек ходит в сортир?

с. 423. Достоевский: Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось бы немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные монахи?

Лифшиц: т. е. именно почему такое короткое расстояние от истины до воня? Какой смысл, справедливость? Смысл, благолепие мира, где они? Остается черт<sup>[153]</sup>.

с. 629. Достоевский [сон Мити Карамазова:] И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы *сейчас же это сделалось* [выделено Лифшицем], не отлагая и *несмотря ни на что, со всем безудержием карамазовским* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: И вот кутить и скандалить для этого — по-дворянски. ↔ «Карамазовское безудержие». Азия и глубокая анархия, а сила большая<sup>[154]</sup>.

с. 630–631. Митя Карамазов: — Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из всех я самый подлый гад!

Лифшиц: Это почти признание, что о [?] «дите» он виноват. Но хотя буйствует [?] и тем признается [?]

Том 10. Часть IV. Эпilog. Собр. соч., т. 10. М., 1958

с. 23. Достоевский: — Я люблю наблюдать *реализм* [выделено Лифшицем], Смуров, — заговорил вдруг Коля.

Лифшиц: «Реализм» всюду у Достоевского. Он не сходит с уст Митеньки в I томе.

с. 77. Достоевский [Грушенька о «помешательстве» Мити]: ...стал он мне вдруг говорить про дите, т. е. про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дите?» «За дите-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти» [вся фраза подчеркнута Лифшицем и на полях поставлен знак NB]

с. 93. Достоевский [Алеша в разговоре с Лизой]: Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает

Лифшиц: Великая (и карамазовская) стихия — давить хорошее из жажды [?] более безусловно хорошего. Анархия как ответ на ограниченность хорошего — и в либерализме и так называемом социализме

с. 94. Достоевский [Алеша, а затем Лиза]: — Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша. — Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят

Лифшиц: Да, это всеобщая структура сознания, начиная с первобытности. Но вечное в этом не так парадоксально, а парадоксальное не так вечно. Все человеческое добро немного пошло и потому есть искушение его нарушить. Особенно когда это добро украшается еще лицемерием. Современность и черт, и его идея анархо-либерал[изма]

с. 94–95. Достоевский [Лиза о своем сне]: И вдруг мне ужасно *захочется вслух начать бога бранить* [выделено Лифшицем], вот и начну бранить, а они-то [черти] вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух замирает [на полях против этой фразы Лифшицем поставлен восклицательный знак]

Лифшиц: Сон. Азартная игра *богохульства и раскаяния*

с. 96–97. Достоевский: — Это хорошо, — как-то проскрежетала Лиза, — когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...

И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.

Лифшиц: Все то же «наоборотничество» и «негативное поведение» Юнга как выход. Но — пошлость, какое-то прислужничество, уважительное прислужничество к жестокой толпе мещан, кот[орая] объявляется святой в своем *инстинкте* [?] *зла* (а этот инстинкт зла — удочка, на которую довится толпа). А больше мне нравится Чехов (чиновник, раздавивший таракана<sup>[155]</sup>) и Куприн о ведьме<sup>[156]</sup>.

Раскаяние и жажда святости у Достоевского есть. Но освобождения посредством реальной иронии — у него нет.

с. 98. Достоевский: А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла по свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя: — Подлая, подлая, подлая, подлая!

Лифшиц: Раскаяние = наслаждение

с. 98–99. Достоевский: Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком [...] У зрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он [Ракитин] давал уроки.

Лифшиц: Идеалы [?] следователи да исправники. Бр. [междометие]

с. 105. Достоевский [Митя]: Потому что все за всех виноваты. За всех «дите», потому что есть малые дети и большие дети. Все — «дите». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти.

Лифшиц: Преобразование [?] мысли Герцена. [Неразб.] мысли. Но и это не произвол [?] — действительно круговая порука без выхода (относительно)

с. 105. Достоевский [Митя]: И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость!

Лифшиц: Бог — радость. Это все время.

с. 106. Достоевский [Митя]: И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: *я есмь* [выделено Лифшицем!] В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — я есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что солнце есть, — это уже вся жизнь.

Лифшиц: Эта философия неизбежно должна прийти и к этой онтологической схеме — бытие жизни вне блага и зла, страдания и счастья

с. 158. Достоевский [о том, как Иван Карамазов пьяного мужика догнал в частный дом]

Лифшиц: Сразу уже и к мужику другой

[Достоевский. Черт. Кошмар Ивана Федоровича]

с. 162. Иван: — А ты, — раздражительно обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

Лифшиц: Игра рефлексии. Сам или не сам...

с. 162. Достоевский [черт Ивану]: Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. [...] Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет»

Лифшиц: Проблема духовного на материальной [?] подкладке. Как это? Если на материальной подкладке, то что же дух? Маковка за кем?

с. 162. Достоевский [черт Ивану]: Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать, реалист, а не материалист, хе-хе!»

Лифшиц: Именно среднее, *подлог, либеральное*

с. 163. Достоевский [Иван черту]: — Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — как-то яростно даже вскричал Иван. — Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак.

Лифшиц: Реально ли зло? Или оно только призрак, тень добра — недостаток, непонимание. Величина ли?

с. 164. Достоевский [Иван черту]: — Браня тебя, себя браню! — опять засмеялся Иван, — ты — я, сам я, только с другой рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

Лифшиц: *Рефлексия*

с. 164. Достоевский [Иван черту]: — Только все скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл [подчеркнуто Лифшицем]. Ты ужасно глуп.

Лифшиц: Глупость

с. 165. Достоевский [черт Ивану]: Ведь *я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического* [выделено Лифшицем], а потому и люблю ваш *земной реализм* [выделено Лифшицем]. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все *какие-то неопределенные уравнения* [выделено Лифшицем]! [...] Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так.

Лифшиц: Это очень НВ. Есть даже мода на второсортность

с. 166. Достоевский: — Дурак! — отрезал Иван. — Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься?

Лифшиц: То же все *ругаетсяся*. [Неразб.] Дурак! Как [?] противоположность

с. 167. Достоевский [черт Ивану]: Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю *вещи оригинальные* [выделено Лифшицем], какие тебе до сих пор в голову не приходили...

Лифшиц: Якобы «новое». Да это же эксцесс рефлексии! «Новая реальность»

Все-таки и для Достоевского это только «мой кошмар». То есть *черт — чистая рефлексия, все у него то же*. Но в то же время дурное, негативное *rag excellence!* Связь рефлексии с *отрицанием голым*, с дурным, со *злом*. → Ибо это не реально-новое. Не изменение, а *собственное отрицание*, в пределах дряни. Есть выходы, но большей частью выхода нет. Отрицание того, когда выхода нет и это тоже выход.

с. 167. Достоевский [черт Ивану]: ...конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал...

Лифшиц: Точно как в современной физике

с. 167. Достоевский [черт Ивану]: ...т. е. какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! [! — знак Лифшица]

Лифшиц: [неразб.]

с. 169–170. Достоевский [черт Ивану]: Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений, ну и т. д., в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделение критики, и получилась *жизнь* [выделено Лифшицем].

<sup>1</sup> По преимуществу, преимущественно (*фр.*).



Лифшиц: Черт как козел отпущения, так сказать, очернитель его величества.

с. 170. Достоевский [черт Ивану]: Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. *Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Вроде хозрасчета, материальной заинтересованности

с. 170. Достоевский [черт Ивану]: Я страдаю, а все же *не живу* [выделено Лифшицем]. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то *призрак жизни* [выделено Лифшицем], который *потерял все концы и начала* [выделено Лифшицем]...

Лифшиц: ?!

с. 170. Достоевский: — Есть бог или нет? — опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван.

— А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу *не знаю* [выделено Лифшицем], вот великое слово сказал.

Лифшиц: Агностик

с. 170–171. Достоевский [черт Ивану]: *Je pense* [выделено Лифшицем] *donc je suis*<sup>1</sup>, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, *бог и даже сам сатана* [выделено Лифшицем], — все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе, или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего одновременно и единолично...

Лифшиц: Сие, конечно, было истолковано в духе экзистенциализма, *против картезианства*<sup>[157]</sup>

с. 172. Достоевский [черт Ивану]: То-то вот реформы-то на неприготовленную почву, да еще списанные с чужих учреждений — один только вред! Древний огонек-то лучше бы.

Лифшиц: Черт хоть и либерал, но...

с. 173. Достоевский [Иван черту]: — Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. — *Я, впрочем, желал бы в тебя поверить!* [выделено Лифшицем] — странно вдруг прибавил он.

Лифшиц: Все время речь идет о том, *существует ли* черт или он лишь воображение. *Реальное бытие зла*.

с. 173–174. Достоевский [черт Ивану]: — Эге! Вот, однако, признание! Я добр, я тебе помогу. Слушай: *это я тебя поймал, а не ты* меня!

Лифшиц: продолжается игра рефлексии

с. 174. Достоевский [черт Ивану]: — А жешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есть.

Лифшиц: *Наоборотничество*

с. 174. Достоевский [черт Ивану]: *Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверившись* [выделено Лифшицем], то тотчас меня

<sup>1</sup> Я мыслю, следовательно, я существую (фр.).

же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели

Лифшиц: 2. Наоборотничество рефлексии

с. 175. Достоевский [черт Ивану]: — Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но клянусь, *это настоящая иезуитская казуистика*, и клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе [выделено Лифшицем]

Лифшиц: это [неразб.] не так глупо — оправдание зла путем казуистики рефлексии

с. 176–177. Достоевский [черт Ивану]: Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой *пошлый черт*? Нет, в тебе таки есть эта *романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским [...]* И все ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с *тобой* умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он *хочет зла, а делает лишь добро*. Ну, это как ему угодно, я же *совершенно напротив* [выделено Лифшицем]. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который *любит истину и искренне желает добра*. [...] Уже слетало, уже рвалось из груди... Я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но *здравый смысл* — о, *самое несчастное свойство* моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение [...] Я ведь знаю, тут есть *секрет*, но *секрет мне ни за что не хотят открыть*, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, *рявкну «осанну»*, и тотчас исчезнет *необходимый минус* и начнется во всем мире *благоразумие*, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться [все выделения выше сделаны Лифшицем]

с. 178. Достоевский [черт Ивану]: Нет, пока не открыт *секрет*, для меня существуют *две правды*: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, какая будет почище... Ты заснул? — Еще бы, — злобно простонал Иван, — все, что *есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль*, — ты мне же *подносишь как какую-то новость!* [Все выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: действительно — *пошлость веков*

с. 178–179. Достоевский [черт Ивану]: О, я люблю *мечты пылких, молодых, трепещущих жадной жизни друзей моих!* [...] Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период, параллельно геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит *все новое*. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог [все выделения выше сделаны Лифшицем].

Лифшиц: *пегий* [?] *бог*<sup>[158]</sup>

с. 179. Достоевский [черт Ивану]: Но т. к., ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, *позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «все позволено»* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: *So!*<sup>1</sup> Ткачев

с. 179. Достоевский [черт Ивану]: Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, *санкция истины* [выделено Лифшицем]?

Лифшиц: Действительно!

с. 184. [Иван Алеше:] — Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: «Совесь! Что совесь? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». Это он говорил, это он говорил!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! Пусть он унесет с собою все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит!

Лифшиц: Алеша настойчиво проводит это деление [подчеркнуто Лифшицем]. Но таким делением едва ли можно освободиться от черта

с. 184. [Иван Алеше:] — Это он говорит, а *он это знает* [выделено Лифшицем]. «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетельто и не веришь — вот что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный». Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит...

Лифшиц: Это аргументация черта

с. 184–185. [Иван Алеше:] Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!»

Лифшиц: Это было бы унижением *независимой* от общественных условностей точки зрения

с. 185. [Иван Алеше:] Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал *вдруг Иван* [выделено Лифшицем], засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды [подчеркнуто Лифшицем] хвалили!

Лифшиц: а не смерды? Ракитин = смерд. *Смерд второй раз*

с. 185. [Иван Алеше, слова черта:] «...А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?» Это страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы!

Лифшиц: т. е. теория Бернаров рушится

с. 186. [Иван Алеше:] Он меня трусом назвал, Алеша! *Le mot de l'énigme*<sup>2</sup>, что я *трус* [выделено Лифшицем]! «Не таким орлам *воспарять*

<sup>1</sup> Так! (нем.).

<sup>2</sup> Разгадка (фр.).

[выделено Лифшицем] над землей!» Это он прибавил, он прибавил! И Смердяков это же говорил.

Лифшиц: Не принадлежишь себе, не смеешь, не будем как боги.

с. 189. Достоевский: Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича Лифшиц: Спасович<sup>[159]</sup>

с. 201. Достоевский [Ракитин на суде]: Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений

Лифшиц: Тут еще во всем и разложение старой крепостной России в лице ее просвещенного сословия. Пошлая, но трагедия

с. 240. Достоевский [из речи прокурора]: ...убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к «родной почве»...

Лифшиц: Да это западники и славянофиль!

с. 241. Достоевский [из речи прокурора]: О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутельников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно

Лифшиц: *Анархо-либерализм*, отрицаемый и автором, но все же более почитаемый им

[На этом заметки Мих. Лифшица на полях романа Достоевского заканчиваются, но в тексте романа много, кроме приведенных выше, подчеркиваний и выделений]

### **б) Заметки на полях примечаний А.П. Гроссмана<sup>[160]</sup> к роману «Братья Карамазовы»**

(Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 10 томах. М., 1958, т. 10)

с. 466. [Запись Достоевского в своей черновой тетради от 1874 г.:] Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую *тайно и завистливо* [выделено Лифшицем] влюблен 2-й брат.

Лифшиц: «Разбойники»

с. 467. [Запись Достоевского в своей черновой тетради от 1874 г.:] День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. Я убил. Думают, что удар

Лифшиц: Это вошло в историю Зосимы. История толстовская. А различие?

с. 468. [Запись Достоевского в своей черновой тетради середины семидесятых гг.:] « — И так один брат. *Атеист и отчаяние*. — *Другой — весь фанатик*. — Третий *будущее поколение, живая сила, новые люди*. (И — новейшее поколение — *дети*)» [все выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: Но этого нет

с. 470. [А.П. Гроссман:] Отец Достоевского был убит своими крепостными в своем имении — Чермашне. «Быть может, не простая случай-

ность, — продолжает дочь писателя, — что Достоевский назвал Чермашней деревню, куда старик Карамазов посылает своего сына Ивана накануне своей смерти»

Лифшиц: Нельзя судить человека, имевшего такие первые впечатления жизни — он должен был устремиться к церкви. А Некрасов, а Щедрин? У них было что-то подобное. И в Некрасове есть часть Достоевского. Стихия разложения, описанная мне Ю.А. Спасским<sup>[161]</sup>

с. 478. [Н. Михайловский о Достоевском:] «С течением времени эта боль об униженном стала осложняться чувством совершенно противоположным, каким-то жестоким чувством почти радости, что человек унижен, а тщательное изыскание лежащего на дне души чувства собственного достоинства и протеста заменилось проповедью смирения и вольного или невольного (каторжного) страдания»

Лифшиц: Нет, не *в этом все дело*, а в оппозиции против либерализма, что не понял Михайловский, а *за ним все*.

с. 479. [Л.П. Гроссман:] В эпоху написания романа вопрос об общественном суде стоял особенно остро: только что была оправдана присяжными Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника Трепова. Правая печать признала этот оправдательный приговор «чудовищным делом», и органы Каткова и Мещерского открыли яростную кампанию против суда присяжных. Изображая процесс Митеньки Карамазова, Достоевский откликается на этот поход правительственной прессы против общественного суда

Лифшиц: *Так ли?*

с. 479. [Л.П. Гроссман:] Достоевский «возражает против института присяжных (якобы испытывающих “ощущение самовластия” и одержимых “манией оправдания”) и дискредитирует деятельность адвокатов (“лжет против своей совести” и проч.)...»

Лифшиц: Однако здесь есть *проблема*

с. 480. [Л.П. Гроссман:] Если бы значение романа исчерпывалось политическими страницами, «Братья Карамазовы» отошли бы к позабытым образчикам антиингилистической беллетристики, насаждавшей «Русским вестником» Каткова. Но книгу писал гениальный художник с «глубоким сердцем» (по определению Л.Н. Толстого), умевший подняться в своем творчестве над заблуждениями своей политической программы

Лифшиц: *Обычно*<sup>[162]</sup>. А на деле — не только *вопреки*, но и *благодаря*

с. 481. [Л.П. Гроссман:] Наконец, в декабре 1879 [подчеркнуто Лифшицем] года Достоевский выступает перед студенческой аудиторией с чтением «Великого инквизитора», предпосылая своему чтению небольшое *вступительное слово* [выделено Лифшицем], в котором опровергается возможность соединения христианства с «целями мира сего», т. е. с государственными задачами

Лифшиц: *Не все ложно!*

с. 481. [Л.П. Гроссман:] В своих автокомментариях Достоевский не скрывает реакционной сущности своей общественной философии, во-

плотившейся в поэме Ивана Карамазова. «"Камни и хлебы", — сообщает он, — это современный социальный вопрос: социализм «хлопочет прежде всего о хлебе...» На это Христос отвечает: «Не хлебом единым жив человек»

Лифшиц: Герцен

с. 481–482. [Л.П. Гроссман:] Критика одной из центральных страниц евангелия ведется *якобы с позиций передовой мысли XIX века, представленной Достоевским в образе испанского первосвященника* [выделено Лифшицем]...

Лифшиц: ??

с. 482. [Л.П. Гроссман:] Но под Ватиканом здесь все время разумеются и новейшие социальные учения, призывавшие еще в сороковые годы к переустройству человечества на основе правильного распределения материальных благ

Лифшиц: Не видит, что это и Чингисхан, и либерализм, и что *Достоевский* прав в своей полемике против этого и против *такого* социализма как *демократ*

с. 482. [Л.П. Гроссман:] «Вавилонская башня», «общий и согласный муравейник», «потребность всемирного соединения», «успокоение всех», «миллионы счастливых младенцев» — вся эта терминология Инквизитора соответствует обычному словоупотреблению Достоевского, когда он пишет о социализме

Лифшиц: Это верно, однако не совсем так и Иван не согласен с Инквизитором

с. 483. [Л.П. Гроссман:] Здесь раздаются отзвуки ранней социалистической литературы, питавшей мысль петрашевцев, — «Иисус перед военными судами», «Иезуитизм, побежденный социализмом» Дезами или «Истинное христианство» Кабе (в последней книге имеется глава «Иисус отвергает все искушения»). В рассказе 1847 года «Хозяйка» уже звучит одно из основных утверждений Инквизитора: «Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы!»

Лифшиц: Это так, но... пока свобода запечатлена [?] темой возможного получения наследства

[На этом заметки Мих. Лифшица на полях примечаний Л.П. Гроссмана к роману Достоевского «Братья Карамазовы» заканчиваются]

### 3. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПОВЕСТИ «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

[Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 10 томах, том четвертый. М., 1956]

с. 133. [Надпись вверху страницы, над заголовком повести]

Как угнетенность, подавленность и не фактическая, а подавленность сознательного существа переходит в проблему *бескорыстно злого*, которое по-своему род добра и во всяком случае лучше *корыстно доброго* (а социализм, мол, это тоже *корыстно-доброе*), но Достоевский здесь

смешивает маневр просвещенного деспотизма, делающего из человека дрессированное животное, как у Дурова, — вот тебе награда, а вот наказание — и «корыстно-доброе» в смысле *самодеятельности человеческого материального существа*, которое свободно, а не «на шаромыжку», непосредственно нравственно

с. 133. Достоевский: Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество

Лифшиц: Полное опровержение взгляда Бахтина

с. 134. Достоевский: ...я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе наврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!

Лифшиц: Рефлексия по принципу наоборот. Весьма наглядная игра рефлексии

с. 134. Достоевский: Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь *я взяток не брал* [выделено Лифшицем], стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить.

Лифшиц: *бескорыстно-злое*

с. 134. Достоевский: Но из фертвов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел

Лифшиц: Род уравнилительной справедливости

с. 134. Достоевский: ...я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только *воробьев* [выделено Лифшицем] пугаю напрасно и себя этим тешу

Лифшиц: Общество, в котором и курица кажется ястребом

с. 134–135. Достоевский: Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов

Лифшиц: парадоксально [два слова неразб.] злым, заключает в себе противоположный элемент

с. 135. Достоевский: Я не только злым, но даже *ничем* [выделено Лифшицем] не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак

Лифшиц: Что характерно для *рефлексии* — это формализация мысли, которая скорбит уже не столько о том, что она недостаточно хороша или не находит себе выхода в жизнь, она скорбит о том, что в ней нет вообще

определенного *материального* содержания — любого, нет силы, нет определенности. А суть дела в том, что человек действительно стал настолько исторически коллективно создаваемым существом, что ему остается только *рефлексия на этот счет*, вот в чем он свободен. Словом — к объективности сознания дайте еще свободу!

с. 135. Достоевский: Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, *деятель*, — существом по преимуществу *ограниченным* [все выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: То есть свобода неопределенному [?], свобода рефлексии (Штирнер<sup>[163]</sup> и т. д.)

с. 136. Достоевский: Для человеческого обихода слишком было бы достаточно *обыкновенного* [выделено Лифшицем] человеческого сознания, т. е. в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре

Лифшиц: Тут уже не то, что сознание рассматривается [?] в любви, в деятельности. Нет, здесь уже: 1) просто сознание делает невозможным быть чем-либо, сознание, которое [два слова неразб.] от всего, чистая рефлексия 2) все это *снижено* до уровня коллежского асессора, Голядкина, Опискина и т. п. Какая парадоксия таится в этом маленьком человеке. А вы не знали? Значит, вы не жили в двадцатом веке.

с. 137. Достоевский: Впрочем, что ж я? — все это делают; болезнями-то и тщеславятся...

Лифшиц: болезнь

с. 137. Достоевский: Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и *всякое сознание болезнь* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: Вот до чего дошла уже рефлексия! Назад, в несознание — следующий шаг

с. 137. Достоевский: ...отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознать все тонкости *«всего прекрасного и высокого»* [выделено Лифшицем], как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые...

Лифшиц: Как на зло

с. 137. Достоевский: Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознать, что вот я сегодня сделал гадость, что сделанного опять-таки никак не воротить, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, *проклятую сладость* [выделено Лифшицем]...



Лифшиц: *противочувствия*. Проблема соединения прекрасного и высокого с низким (поставленная кругом Белинского) у Достоевского из *трудности их соединения* (исторически реального) переходит в *каверзную парадоксальность*. Ср. впоследствии чорт в «Карамазовых»

с. 138. Достоевский: ...наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уже сам чувствуешь, что до *последней* [выделено Лифшицем] стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то наверно сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что.

Лифшиц: Замечательно! Отчаяние, переходящее в успокоение. Это общая диалектика. А не *освобождение ли это от своей субъективности?* От грызущей субъективности. От несоответствия между тем, что есть, и тем, что должно быть. В *этом и живет субъективность*<sup>[164]</sup>. А тут крышка — все только объективно, т. е. не заключает в себе никакой трещины

с. 138. Достоевский: А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следовательно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь

Лифшиц: «Усиленное сознание», т. е. рефлексия, ведет в конце концов к освобождению от суда и следствия, к оправданию мира и себя в нем. «Кто нахал, я нахал? Да, я нахал, я нахал». Подлости, делаемые из отчаяния и прикрываемые отчаянием

с. 139. Достоевский: Кстати, перед стеной такие господа, т. е. *непосредственные люди и деятели* [выделено Лифшицем], искренно пасуют

Лифшиц: «Стена». *Антитеза ума и страсти, действия*, ума и нормальной жизни. Но это все так в сознании «нелепца» [?] Он только считал себя умнее всех. Это *субъективная рефлексия*, пародия на горе от ума, на Фонтенеля<sup>[165]</sup> [?] etc. Обыватель считает себя умнее всех, умная *мышь*.

с. 139–140. Достоевский: [«нормальный человек», «каким хотела его видеть сама нежная мать-природа, любезно зарождаая его на земле»] Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он *глуп*, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень *красиво*. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитезу нормального человека, т. е. человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из *реторты* (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот *ретортный человек* до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышшь, а не за человека [все выделения и подчеркивания выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: 1. *нормальный человек* и 2. усиленно сознающий человек. «Ретортный человек» и его *самоотречение*, жажда нормальности. Переход от «униженных и оскорбленных» к «обиженной» сознающей мышши.

с. 140. Достоевский: И главное, он *сам, сам* ведь считает себя за мышшь; его об этом никто *не просит*; а это важный пункт [все выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: «Сам» вот проблема Достоевского. Это и у Канта, но у Достоевского. Сам — и хорошо, плохо укладывается. Поэтому существует [?] *роковая самость*

с. 142. Достоевский: Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом...

Лифшиц: А что ты сделаешь? Буду наслаждаться гадостью своего непримирения [?]

с. 143. Достоевский: — А что ж? и в зубной боли есть наслаждение...

Лифшиц: Есть наслаждение в бою etc. в *сниженном виде*

с. 145. Достоевский: Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, т. е. сознательное сложа-руки-сидение. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены

Лифшиц: Вот как оборачивается и пародируется гамлетовская проблема! Но ведь и Гамлет, и Чацкий — не от сознания страдают, а от невозможности удовлетворения полурешением

с. 146. Достоевский: Вспомните: давеча вот я говорил о мщении (Вы, верно, не вникли). Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость

Лифшиц: Это уж прямо к Гамлету. Гамлет из подполья о мести. Но с мстью это так, а действовать и мстить — не одно и то же. Мсть заскорузное, *стихийное*, исторически сложившееся действие, а действие по разуму может выйти за пределы стихийности и все же быть действием. Только нужно, чтобы это действие было *конечным*. А как найти основу, конечную причину? По методу актуальной бесконечности, а это хоть не кругло, а в конечное [?] время возможно. Но т. к. все же не кругло, то гениальная дескрипция<sup>[166]</sup> Достоевского всегда будет иметь силу

с. 147. Достоевский: Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому [...] Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, — а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого

Лифшиц: Тут уже просто ушат яду на либерализм. *Бездейтельность в пользу доброго и прекрасного*, а здесь именно *в пику им*. Все доброе и прекрасное глупо

с. 148. Достоевский: И такое себе отрастил бы я брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы скандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: «Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!»

Лифшиц: Всякий + = глупость, только *отрицательное* = сущность рефлексии

с. 148. Достоевский: О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов...

Лифшиц: Зло не есть следствие *незнания*. Есть *злая воля* (ср. религиозные корни этой теории), но вопрос этот *важен*, ибо может быть так, что материальный интерес есть («заинтересованность») и объясняется ясно, а *воля все-таки топорищится*. Это становится проблемой социализма. Буржуазная критика социализма — и в чем она парадоксально права. Но и не права — ибо нужно еще решить *вторичный*, но важный вопрос. Поправка к теории разумного эгоизма

с. 149. Достоевский: Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! что такое выгода?

Лифшиц: не утилитаризм. Человек вовсе не следует своей пользе, что доказывается его иррациональными стремлениями (верно то, что идеальное в человечестве, в *создании человеческого* совершается в *обратной форме*)

с. 149. Достоевский: А что, если так случится, что человеческая выгода *иной* раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?

Лифшиц: Бескорыстно-злое и *аскетическое* — если простое незнание становится источником благородства разумного эгоизма, то здесь указывается *другой источник: обратная связь*

с. 149. Достоевский: У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, т. е. явно пойдет против того, о чем сам говорил: *и против законов рассудка и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего* [выделено Лифшицем]...

Лифшиц: Это, конечно, намек на Чернышевского и его *противоречия*: нет[,] жизнь, а сам в Петропавловскую крепость

с. 152. Достоевский: Тогда-то — это все вы говорите — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно, потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится *хрустальный дворец* [выделено Лифшицем]. Тогда...

Лифшиц: Сие тоже Чернышевский

с. 153. Достоевский: Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в бока и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!

Лифшиц: *Бравый новый мир*<sup>[167]</sup>

с. 153. Лифшиц: Уж будто все это говорит только лишь коллежский регистратор, а не [неразб.] Достоевский, и не мы с вами читаем.

с. 153. Достоевский: Человеку надо — одного только *самостоятельного* [подчеркнуто Достоевским и Лифшицем] хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь *черт знает* [выделено Лифшицем]...

Лифшиц: Двусмысленность понятия «*выгода*», «*интерес*». Достоевский совершенно верно замечает, что *интерес* — это вовсе не рассудочно понятая выгода. Эта выгода может быть даже и против интереса. Интерес = страсть, самодеятельность, протест. И он *материален!*

с. 158. Достоевский: Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удерживать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, по которым хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет

Лифшиц: т. е. *жизнь*. Из всех *выгод* для *жизни* важнее всего *жизнь*

с. 158. Достоевский: ...потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик!

Лифшиц: да ведь доказывать себе — это только игрушка. Значит, в правильной мысли Достоевского тоже нужно *distinguo*<sup>[168]</sup> — нужно такое доказательство «не втулка», которое было бы реально, а не просто пакоствничеством да почесыванием.

с. 159. Достоевский: — Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

Лифшиц: Элемент плоскости в этом, конечно, есть, хотя есть и серьезный вопрос

с. 160. Достоевский: Не потому ли, может быть, он [человек] так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаваемое здание? Почему вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем...

Лифшиц: А почему бы не *distinguo*? Да, страсть к разрушению etc. Но это страсть как *парадокс созидательной страсти* или она дерьмо. Разрушительная страсть (ср. Бакунин) [—] инкорпорирование в *общину* людей как негативный уравнилельный элемент

с. 160. Достоевский: И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать — *в самой жизни*, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не что иное, как дважды два четыре, т. е. формула, а ведь дважды два четыре есть уже не *жизнь*, господа, а начало *смерти* [все выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: *отчасти* справедливо

с. 163. Достоевский: Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится

Лифшиц: Все ясно как на ладони! Не либеральный прогресс, а социализм, но не такой социализм, который до сих пор я вижу

с. 171. Достоевский: Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, — заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется...

Лифшиц: То есть уж и себя в либерализме стыдит, что и правильно

с. 171–172. Достоевский: Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие *деловые шельмы* (слово «шельма» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают. Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с!

Лифшиц: Пародия на Белинского

с. 190. Достоевский: Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать...

Лифшиц: Кад[етский] корпус?

с. 239. Достоевский: Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить...

Лифшиц: См. [стр.] 236. Совершенно рецептурно: униженность, подавленность оборачивается обратным: страшной жаждой деспотизма, угнетения [?]. Вот проблема Достоевского: мелкий и злой червяк и его деспотизм

с. 240. Достоевский: Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня — *значило тиранствовать и нравственно превосходить* [выделено Лифшицем]

Лифшиц: проблема «нравственно превосходить» (это вот не хорошо — либерализм, анархизм, продолжение неравенства социального, вторичное)

с. 240. Достоевский: Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потому уже и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом

Лифшиц: История *безлюбной любви*, начиная с XVIII в.

с. 240. Достоевский: «*Спокойствия*» я желал, остаться один в подполье я желал. «Живая жизнь» с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно

Лифшиц: То же «комплекс». Ср. стр. 237.

с. 241. Достоевский: Но вот что я наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не *от сердца*, а от дурной *моей головы* [выделения выше сделаны Лифшицем]

Лифшиц: Различие это все же прослеживается!

с. 242. Достоевский: Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но — зачем? — подумалось мне. — Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги?

Лифшиц: Сердце и «умишко»

с. 243. Достоевский: Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке [подчеркнуто Лифшицем] лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку

Лифшиц: Вот мы, мол, все такие, когда нас не по книжке рассматривать. Поможет ли нам *самодеятельность*? Сразу же установим обратное

с. 244. Достоевский: Так что я, пожалуй, еще «*живее*» вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, *где и живое-то живет теперь* и что оно такое, как называется? [...] Впрочем, здесь еще не кон-

чаются «записки» этого парадоксалиста [все выделения и подчеркивания выше сделаны Лифшицем]

[После окончания «Записок из подполья» запись Лифшица]:

1. Переход от лишних людей и демонических личностей к парадоксалистам и антигероям
2. Это по-своему демократично захватывается. «Книжка», «общечеловек» — недемократичны. Давайте будем с настоящим собственным телом, пусть хоть путем парадоксализма. Это все же живее — на безрыбье и рак рыба (чем ваша книжка). И сам Достоевский тут же предпочитает, чтобы опека сохранилась, ибо, мол, сами запросим. Таковы мы, служители жизни, нам *грощ цена*. Вывод и реакционный и критичный по отношению к парадоксалистам, которым ничего не нужно, кроме спокойствия да чаю.

#### 4. ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ «БЕСЫ»

##### а) Заметки на полях романа «Бесы»

[Достоевский Ф.М. Собр. соч. Том седьмой. Бесы. М., 1957]

[На этой книге из библиотеки Мих. Лифшица много его подчеркиваний, различных знаков и выделений текста; в наст. изд. воспроизводятся только маргиналии]

с. 8. Достоевский: Бесспорно, что и он [Степан Трофимович Верховенский] некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения...

Лифшиц: Как ни гневно о нигилистах младшего поколения, еще более зло, ядовито об «отцах». И в этом Достоевский бесспорно «разночинец», увы, совпадающий с Катковым

с. 12. Достоевский: Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал...

Лифшиц: Что-то в тоне фальшивое — рассказчик и наивен и ядовит. Смеяться мы должны, [а] ухмыляется он

Достоевский: А если говорить всю правду, то настоящей причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной...

Лифшиц: Немного напоминает положение Сазонова?

с. 13. Достоевский: Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепились слишком на двадцать лет

Лифшиц: Здесь раздвоения нет. См. с. 12. Смеемся *мы*

с. 13–14. Достоевский: Воплощенной укоризною

.....  
Ты стоял перед отчизною;  
Либерал-идеалист<sup>[169]</sup>

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку.

Лифшиц: Полное совпадение с критикой «Современника»

с. 14. Достоевский: А по правде, ужасно любил сразиться в карточки...

Лифшиц: *Ябеда*. Раздвоение есть

с. 40. Достоевский: Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздастся ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?

Лифшиц: Опять та же двойственность

с. 56. Достоевский: Липутин скрючился и не сумел ответить.

Лифшиц: Принцип обратного. Как это быстро сделалось [?] в русской литературе! Но предшественниками были blasé<sup>1</sup>. Кстати, в чем связь и разница между Ставрогиным и Печориным? Одно направление в обломовщину, другое в ставрогинщину

с. 57. Лифшиц: Ставрогин — впадение реализма обратно в романтизм, в напыщенность, но те образы были копиями реальных противников, а этот больше — сам прототип какой-то реальной декадентски-реакционной риторики [?]

Почти *герценовское*

с. 93. Лифшиц: Оценка [неразб.] и все на том же вертится стержне — [форма — неразб.] достоинства личности и «маковки» — кто кого — и то же во внутрь

с. 112. Достоевский: Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиболее благороднейшая девушка замешана, во-первых, в семестах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благородную осрамить...

Лифшиц: Оскорблено само благородство (тем более подозреваемое в том, что его нет) и должно быть дефлорировано<sup>2</sup>

с. 113. Достоевский: ...Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь.

Лифшиц: А почему бы и нет, судя по поведению В[арвары] [Петровны]. Что в этом дурного?

с. 124. Достоевский: — Если будет все равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет

Лифшиц: Вовсе нет: Диоген? «Потому не убиваю себя, что безразлично»

<sup>1</sup> Пресыщенный; скептический; пресыщенный человек; скептик (*фр.*).

<sup>2</sup> Происходит от *лат.* deflorare — «срывать цветы; дефлорировать», далее из de (выражает отделение, устранение, отсутствие чего-либо или завершение действия) + flos (floris) — «цветок, цвет».



с. 156. Лифшиц: Мазня.

с. 218. Достоевский: Рассказывали, например, про декабриста Л-на...  
Лифшиц: Лунина?

Достоевский: Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера.

Лифшиц: Нет, не Достоевскому *это* понять. Он понял здесь только Сильвио, Липранди

с. 219. Достоевский: ...если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л-н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения...

Лифшиц: Печорин?

Тут верно то, что это все выход из *чести* в белое озлобление.

Эксперимент более озлобленной отрешенности.

с. 252. Достоевский: Кириллов промолчал.

— Они не хороши, — начал он вдруг опять, — потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

Лифшиц: Фантастическая фейербаховщина, хотя не бесцельная ложь, потому что есть нечто вторичное: от ограничений, осуждений, греховности, от норм, цензуры человек становится не хорош *par dépit*<sup>1</sup> и точно так же от ощущения своего несчастья — несчастлив из гордости etc. Это, стало быть, кирилловщина есть двойное *dépit*.

Достоевский: [Ставрогин:] — Богочеловек?

[Кириллов:] — Человекобог, в этом разница.

— Уж не вы ли и лампадку зажигаете?

— Да, это я зажег.

— Уверовали?

— Старухи любят, чтобы лампадку... а ей *сегодня некогда* [выделено Лифшицем], — пробормотал Кириллов.

Лифшиц: тоже Фейербах

с. 263. Достоевский: — [Шатов:] ...вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... Подите взгляните на него теперь, это ваше создание... Впрочем, вы видели.

Лифшиц: Ставрогин экспериментатор в человецех?

с. 305. Достоевский: [Кириллов:] — Я думал, вы сами ищете бремя.

[Ставрогин:] — Я ищу бремени?

— Да.

Лифшиц: Страшно без бремени.

с. 306. Достоевский: [Кириллов:] — Не ваше дело. Несите бремя. А то нет заслуги.

[Ставрогин:] — Наплевать на вашу заслугу, я ни у кого не ищу ее!

<sup>1</sup> С досады; вопреки (*фр.*).

Лифшиц: Не настоящий «подвиг». Не может освободиться. В чем подвиг русского свободного человека из дворян. И М[арья — неразб.] Тимофеевна бремя.

с. 306–307. Достоевский: [Ставрогин:] — Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные.

[Кириллов:] — И не лезьте; вы не сильный человек. Приходите чай пить.

Николай Всеволодович [Ставрогин] вошел к себе сильно смущенный.

Лифшиц: Не худо. Загладил все же, сукин сын Достоевский, свою мазню!

с. 358. Достоевский: [Варвара Петровна:] — Кармазинов, этот почти государственный ум! Вы слишком дерзки на язык, Степан Трофимович!

[Степан Трофимович:] — Ваш Кармазинов — это старая, исписавшаяся, обозленная баба!

Лифшиц: И все же автор находит в нем *нечто*

с. 362. Достоевский: [Об Юлии Михайловне Лембке, губернаторше:] Многие мастера погребли около нее руки и воспользовались ее просто-душием в краткий срок ее губернаторства. И что за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала *дать счастье* и примирить непримиримое, вернее же соединить всех и все в обожании собственной ее особы. Были у нее и любимцы; Петр Степанович [Верховенский], действуя, между прочим, грубейшей лестью, ей очень нравился.

Лифшиц: Черта верная: обращение ко всем (нечаевщина)

с. 363. Достоевский: [подпоручик] не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову; ударил и изо всей силы укусил его в плечо; насилию могли оттащить

Лифшиц: Случай из «Колокола» (Киев?)

с. 395–396. Достоевский: Петр Степанович положил мяч в задний карман.

— А я вам не дам ничего против Ставрогина, — пробормотал вслед Кириллов, выпуская гостя. Тот с удивлением посмотрел на него, но не ответил.

Последние слова Кириллова смутили Петра Степановича чрезвычайно...

Лифшиц: т. е. в последнем письме?

с. 400. Достоевский: [Маврикий Николаевич:] Напротив, из-за любви, которую она [Лизавета Николаевна] ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, — самая великая!

Лифшиц: «наперекорная любовь». Это важно — из грибулического мира.

с. 404. Достоевский: [Петр Степанович Верховенский:] — Вы начальник, вы сила; я у вас только сбоку буду, *секретарем* [выделено Лифшицем]. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна... или как там у них, черт, поется в этой песне...

Лифшиц: см. Разин. Та же игра самолюбий — чей верх, П[етра] С[тепановича] или Ставрогина. Петр Степанович хочет быть «секретарем» при Ставрогине, а этот вроде вождя для публики, [далее неразб.]

с. 405. Достоевский: [Ставрогин:] — Знаете еще, что говорит Кармазинов: что в сущности наше учение есть отрицание чести и что откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно.

Лифшиц: Тоже род «опрощения», заголения и верно, но не по тому адресу.

с. 412. Достоевский: Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота: она намеревалась погостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту»

Лифшиц: Невеста Ткачева. Да, но что изображено!

с. 424. Лифшиц: Шигалев — одно, Верховенский — другое. Верховенский — дело

с. 425–426. Достоевский: [«Хромой»:] — ... Только вот что-с: в случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во-втором, в быстром-то разрешении, посредством ста миллионов голов, мне-то, собственно, какая будет награда? Начнешь *пропагандировать* [выделено Лифшицем], так еще, пожалуй, язык отрежут.

Лифшиц: Бакунинско-нечаевская жестокость [?]

с. 441. Достоевский: [Петр Степанович Верховенский:] — Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

[Ставрогин:] — Кого?

— Ивана-царевича.

— Кого-о?

— Ивана-царевича; вас, вас!

Лифшиц: *Трикстер* [?]

с. 506. Достоевский: [Степан Тимофеевич Верховенский:] — Я, отживший старик, я объявляю торжественно, что дух жизни веет по-прежнему и живая сила не иссякла в молодом поколении. Энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времен. Произошло лишь одно: перемещение целей, замещение одной красоты другою! Все недоумение лишь в том, что прекраснее: Шекспир или сапоги, Рафаэль или петролей?<sup>[170]</sup>

Лифшиц: Полемика с Герценом

с. 614. Достоевский: [Кириллов:] — Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо переменить физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу... [...] Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более *пяти секунд* [выделено Лифшицем] — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит.

Лифшиц: Мало! Но все же конечная величина

с. 642. Достоевский: [Кириллов:] — Для меня нет выше идеи, что бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога. Пусть узнают раз навсегда.

Лифшиц: Проблема иллюзий. Все иллюзии = бог. Это левый гегельянизм. Но с выводом — если нет ничего, никакого бога, то нужно отрицать и себя как человека, *сметь* и тогда откроется полная свобода (от *страха*). Страх смерти = Кьеркегор.

с. 702. Достоевский: [Ставрогин:] Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло. *Великодушный* [выделено Лифшицем] Кириллов не вынес идеи и — застрелился; но ведь я вижу, что он был *великодушен* [выделено Лифшицем] потому, что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться!

Лифшиц: При страшной силе. А Кириллов думал, что идея сила.

**б) Заметки на полях примечаний Ф.И. Евнина к роману «Бесы» (Достоевский Ф.М. Собр. соч. Том седьмой. Бесы. М., 1957)**

с. 708. Евнин: Достоевский поставил себе целью в «Бесах» идейно и морально опорочить революционный лагерь, все русское освободительное движение — представив их в отталкивающем, карикатурно-искаженном виде.

Лифшиц: Болезни мелкобуржуазной демократии и ее проблемы представлены верно или правдоподобно

с. 712. Евнин [о Нечаеве как прообразе Петра Верховенского]

Лифшиц: Но весьма большое различие в образах Верховенского и Нечаева (начиная с социального происхождения)

с. 713. Евнин: применение методов, подобных нечаевским, противоречило самой природе, высоким целям освободительного движения. [...] Их воодушевляли самые возвышенные и благородные идеалы.

Лифшиц: Но это проблема! Утилитаризм [неразб.] и «благородство». 1. не благодеяние, личная причастность [?], страсть. 2. разум в природе вещей, через *знание* [?]

с. 714. Евнин: Желябов, пытаюсь спасти товарищей, брал на себя всю вину за совершенное царубийство

Лифшиц: Это не Луний, но это *не* утилитаризм. А может быть, это «далекий расчет»?

с. 718. Евнин: Достоевский рисует Шигалева [прототипом которого был публицист и нигилист В.А. Зайцев, см. ниже, примеч. 176] ограниченным, оторванным от жизни доктринером-педантом

Лифшиц: Но он имел право *додумывать*

с. 719. Лифшиц: не то, это [неразб.] против [неразб.] *нового* типа (Верховенского)

с. 720. Евнин: ...незадачливый губернатор-немец должен был, по мысли Достоевского, воплощать в себе засилие немцев в правительственном аппарате.

Лифшиц: Не потому, а потому что это при азиатском деспотизме маньчжур, чужак должен был быть на троне<sup>171</sup>. Все чужие. Это даже хорошо. «Придите и владейте нами»

Евнин: В свете этой парадоксальной, надуманной концепции становятся понятными отношения между Юлией Михайловной и Верховенским и многие ее реплики в романе (что «социализм слишком великая мысль»; что надо «направить это великое общее дело на истинный путь» и т. д.)

Лифшиц: не то

Евнин: Та же мысль проходит и через записи Достоевского о Варваре Петровне Ставрогиной: «Понятия феодального барства и нигилизма так и выпрыгивают без всякой связи из ее головы»

Лифшиц: Но верно то, что Достоевского злит и «аристократизм» пушкинского типа, злит по-булгарински<sup>172</sup>.

с. 721. Евнин: В записных тетрадах к роману представителям дворянской знати вменяется в вину «цинический нигилизм ко всему, что доселе считалось прекрасным и доблестным...»

Лифшиц: R[ight]!<sup>1</sup> И в то же время — сколько взгляда снизу вверх! Это худшее в «Бесах». Хуже карикатуры.

с. 722. Евнин: [из] письма Достоевского к Каткову: «К собственному моему удивлению это лицо (Верховенский-сын. — Ф. Е.) наполовину выходит у меня лицом комическим»

Лифшиц: что не верно, и *странно* в романе.

с. 727–728. Евнин: Попыткой злостной дискредитации будущего социалистического общества является в тексте «Бесов» бредовый «план» Шигалева («шигалевщина»).

В своих суждениях о «политическом» социализме Достоевский в «Бесах» (как и в «Дневнике писателя») не сумел выйти за рамки оценок и понятий, характерных для антагонистического общества.

Лифшиц: Надо различать *политические* идеи Верховенского и *социальную* Шигалева

<sup>1</sup> Верно, правильно (*англ.*).

с. 732. Евнин: Отрицательно оценив роман в целом, прогрессивная печать 1870-х годов делала исключение для образа Степана Трофимовича Верховенского, считая, что в нем Достоевский воплотил ряд черт либералов-западников 1840-х годов.

Лифшиц: Что же так несправедливо?

с. 737. Евнин [цитата из: *Ермилов В. Ф. М. Достоевский: Вступительная статья к Собр. соч. Достоевского в 10 т. Т. 1. С. 65*]: «...за всей мистификацией у Достоевского на деле всегда скрывается одна объективная социальная реальность: ужас перед капитализмом [выделено Лифшицем] и порождаемым капиталистическим обществом аморализмом... [...] Желая поразить тех, кого он считает политическими “нигилистами”, Достоевский на деле побивает буржуазных *моральных нигилистов*, отщепенцев, врагов человечества»

Лифшиц: Сомн[ительно]. Не в этом дело.

с. 740. Евнин: Борясь против «чистого искусства» и идеалистической эстетики, Писарев в ряде статей («Реалисты», «Пушкин и Белинский» и др.) допустил антиисторические, ошибочные, узко утилитаристские оценки искусства в целом и творчества Пушкина в частности

Лифшиц: Как будто это случайность?

## 5. ФРАГМЕНТЫ ИЗ АРХИВНОЙ ПАПКИ № 302 «БЛАНКИ. ТКАЧЕВ<sup>[173]</sup>»

с. 45. Ткачев как первый предшественник вульгарного марксизма

с. 51. Литературная деятельность Ткачева началась с 1862 г. в журнале *Достоевского* «Время» статьей о показаниях о преступлении против законов о печати<sup>[174]</sup>. Печатался он также в сменившей «Время» в 1863 г. «Эпохе» и др. журналах. Идеи — преступление есть результат условий. Последовательность до абсурда — особенность Ткачева (Козьмин, 44<sup>[175]</sup>). [Фраза неразб.] Закончился этот период, когда в 1865 г. журнал Достоевских перестал выходить.

с. 54 → Позволяя себе некоторое обобщение, можно, пожалуй, сказать, что именно направление «утилитаристов», *писаревско-зайцевско*<sup>[176]</sup>-*ткачевское* подходило довольно близко к марксизму в его вульгарно-социологическом варианте

с. 57–58. Эта точка зрения [Ткачева] включает в себя и отрицание роли *политических свобод и равноправия* самих по себе. То же — *марксизм-реализм* [Ткачев называл себя «реалистом»] — смесь с прудонизмом и достоевщиной. Козьмин (65) ссылается на «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского 1863 г. — европейская свобода для людей, имеющих по миллиону в кармане → Верно, но не следует ли из этого, что *свобода и гражданские права* не нужны для социализма? Да тут есть та философия революционного «меньшинства» (1874), принудительно [неразб.] социализм посредством *сохранения централизации* (в духе «Мо-

лодой России»), что мало отличается от бакунинского разрушения «поганого государства», но замены его тайными комитетами

→ Совершенно не так, конечно, Маркс и Энгельс смотрели на государство, право, свободу etc., тому подобные «фиктивности». Они не сводили этого к силе, насилью, ни к чисто экономической условности, а видели в этих явлениях *органические формы*, имеющие свой механический костяк, свой аппарат, но не сводящийся к нему. Это понимание роли *общественных величин, всеобщностей* роднит Герцена с ними. *Imponderabilia!*<sup>[177]</sup> Значение *разумной закономерности, проявляющейся в иронии и каре* и противостоящей любому, как кантеисты [?] говорят, «субъективизму». Необходимость, но не механическая, реализм, но не «утилитаристский»

с. 61 [Козьмин, с.] 71. «У Ткачева экономический материализм был теснейшим образом связан с его этическими воззрениями. Как и все шестидесятники, Ткачев был утилитаристом»

→ Все верно, кроме того, что все *шестидесятники* были утилитаристами. Это не вполне справедливо к Чернышевскому. И уже здесь марксизм служил не своему делу, а *чужому*. Ближе к марксизму — и вот дальше от него! История вульгаризации марксизма, хотя бы в России, начиная с 60-х гг., потом 90-е годы, потом меньшевизм, [неразб.], а там и мы подспели.

с. 73 [Козьмин, с.] 94. *Эксплоатация против эксплуатации*. Сталинская идея! Теория взаимной эксплуатации XVIII века [...] → *Гипертрофия полезности*. И не мудрено, что от этого толкования утилитарности отрешивается Чернышевский. Утилитаризм = слепок с идей мелкой частной собственности

с. 74 [Козьмин, с.] 112–114. Идеи Ткачева близки нашему времени, он все время как бы говорит о диктатуре пролетариата → *И да, и нет!* Отрицание вменяемости и распределение [?] [Ткачев:] человек *не виноват*, что он *не талантлив* (уравнительный государственный коммунизм)

с. 75 [Козьмин, с.] 119. Шигалев. Понижение талантов. → Из чего видно, насколько неосновательны наши комментарии к «Бесам». Разница в том, что Шигалев — «социальный», а не «политик».

Предполагается, что Достоевскому были известны примечания Ткачева к Бехеру<sup>[178]</sup>.

с. 76. Ткачев нам чрезвычайно интересен, ибо он говорит от имени [неразб.] *фабрично-заводского пролетариата* и стоит чуть ли не на точке зрения *исторического материализма* (первый упоминал Маркса — «К критике политической экономии»), а все же типичный *утилитатор-разночинец*, мелкобуржуазный демократ. Такой *гибрид* весьма современен и не только русское явление. *Очень большое* явление. Ткачев — предшественник вульгарной социологии в богдановской<sup>[179]</sup> и послебогдановской форме

с. 77 [Козьмин, с.] 106. [Ткачев:] философия Гегеля — «чепуха» и вообще философия...

[Козьмин, с.] 109–110. Невозможность мирного прогресса, насилие, эксплуатация, но эксплуатация тунеядцев *социальна*, а рабочих — наоборот. *Тунеядцы!*

с. 78 [Козьмин, с.] 130. Признает возможность развития прямо к социализму, но не в силу исконных качеств мужика.

с. 79 [Козьмин, с.] 131–132. Облегчение скачка возможно во всех странах тем, что в России слаб капитал и много труда. Мужичья толпа сама по себе бессильна, на помощь ей придет интеллигенция, толпа цивилизованная, меньшинство, люди будущего. Не нужно обращаться к толпе, народу, она придет потом, если будет сила → А еще говорят, что нечаевщина монстр! Белинский–Ткачев–Нечаев. Эта идея всегда жила! *Революционное* [?] сверху — в стране, где массы глухи, темны, расплывены. Эта сила не может рассчитывать на сочувствие масс [Козьмин, с.] 133. Но *использовать* недовольство массы, разрозненные факты массового недовольства — нужно

с. 80 [Козьмин, с.] 134. Ткачев требовал уничтожения всех лиц старше 25 лет. В личной жизни — мягкий, незлобивый человек (Поручик Эркель?) [...] Но тем не менее — террорист, якобинец — Шелгунов, «Переходные характеры», собр. соч., т. II, стр. 745. Участие Ткачева в нечаевском деле. Козьмин [с.] 137 ff. («Народная расправа» или «общество топора»)

с. 86 [Козьмин, с.]. «Любить народ — значит водить его под карточку», — говорил Нечаев Успенскому

с. 50. Сотрудник Ткачева по «Набату» П.В. Григорьев в начале 70-х гг. убеждал Гл. Успенского превратиться в великого князя Константина, чтобы царским призывом поднять крестьян, и предпринял с ним поездку по деревням Тульской губернии, в результате которой неудачный самозванец пришел к выводу, сформулированному им позднее в одном из рассказов: «с вами не сольешься, а сопьешься». А.И. Иванчин-Писарев. Гл. Успенский и рев[олюционеры] 70-х гг. // «Былое», 1907, № 10 и «Кое-что из жизни Гл. Успенского» // «Заветы», 1914, № 5 → Таким образом, *Ставрогин* не выдумка



### III. «ЭТО ВО ВСЕ НЕ РЕЗОН, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА КОНЧИЛАСЬ. ВРИ, КТО ХОЧЕТ»

#### 6. ЗАМЕТКИ О КНИГЕ М. БАХТИНА «ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО»<sup>[180]</sup>

М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. 1963.

Которое семя не умрет, то не возродится. Не буду маневрировать, даже если окажусь совсем один. Достоевский понял бы *судьбы марксизма*, а обыватели, и пострадавшие, и благополучные, — им этого не понять.

[с.] 3. От автора. Достоевский — великий новатор в области формы. Открыл *полифонизм*, это выходит за пределы романа

[с.] 5. Достоевский — несколько авторов-мыслителей, в том числе *не на первом месте* сам Достоевский. Автор учился у своих героев etc.

→ А у кого из великих романистов это не так? — Можно было бы говорить о том, что у Достоевского этот пучок [?] весьма расходится. Дело идет к II у а Аполлинера<sup>[181]</sup>. Начало борьбы против цельности интеллекта, против разума. [На полях: Кто-то уже говорил, что полифонизм у всех. Но нужно учесть то специфическое, что имеет в виду Бахтин]

«Апоретика», которую приписывают Н. Гартману<sup>[182]</sup>. Нет сомнения, что в этом секрет влияния Достоевского, но это уже *эксцесс*. В чем-то.

Что Достоевского нельзя свести к одной идеологической схеме, это совершенно верно, но означает лишь, что искусство заключает в себе тождество и различие противоположных схем, т. е. является *действительной идеей*. Было глупо «метод [?] диалектич[еский] материализм»<sup>[183]</sup>. Но было глупо что? — Разберитесь.

[с.] 6. Ломка [?] «монологической плоскости» романа

[с.] 7. Сравнение с *Байроном*. Верно ли? Вернее было бы с Вольтером.

[с.] 8. Сюжетные скрепы не имеют обычного значения, а «последние скрепы» — другие (автор не замечает, что он здесь противоречит себе — это, правда, не его личное противоречие. Действительно, «скрепы» у Достоевского — скрепы мысли. И если, с одной стороны, у него герои более бредут розно, то, с другой стороны, все они более голоса авторской мысли. Это так, ибо эксцесс объективизма, выходящего за рамки субъективной плоскости авторского слова, переходит в свою противоположность и как раз означает *перевес авторской субъективности*, сказ[авшейся] в этом отказе от собственного субъекта, смирении его. [Неразб.] авторского слова больше авторского субъекта. Слово здесь есть задерживающий мотив [?] объективности).

[с.] 8. Это полноправные *субъекты*, а не *объекты* (Бахтин)

[с.] 9. *Полифонический* роман против монологического или гомофонического. Примечание: это не значит, что у Достоевского не было предшественников

[с.] 10. [Неразб.] Бахтин различает *объектно-воспринятые опредмеченные психики социально-психологического романа и полифонию субъектов* Достоевского → Проще говоря, роман Достоевского есть роман *идей, мировоззрений*, а не просто «психики». Его герои дерутся [?], исходя из идей. Но в этом смысле голоса имеют общую плоскость! Различие они имеют как *объекты*.

[с.] 11. Уже совершенно запутал [несколько слов неразб.] Бахтин, утверждая, что [?] большинство, как Розанов, Вольтинский, Мережковский, Шестов и другие монологизируют Достоевского при помощи антиномики или диалектики. Ибо диалектика, якобы, помещает мысли отдельных людей в плоскость общей мысли одного сознания. — Попробуйте как-нибудь иначе! Но иррационалистическая тенденция ясна. Это не ругательство потому, что Бахтин для меня не большой иррационалист, чем его критик А. Дымшиц<sup>[184]</sup>, хотя последний и является жалким эклектиком.

Всякий вздор дальше. «Мир Достоевского глубоко персоналистичен». Все логические связи остаются в пределах отдельных сознаний etc., etc. Почему же в пределах отдельных сознаний? — «Живой голос цельного человека», а логические связи подчиненное. Мысль как *idée — force*<sup>[185]</sup>

[с.] 12. Некоторое исключение для Вяч. Иванова «Достоевский и роман-трагедия» в книге «Борозды и межи», Мусaget, 1916. Реализм, основанный [?] не на объективном [?] познании, а на *проникновении* [?] (*Einsicht*?<sup>1</sup> *Erlebnis*?<sup>2</sup> [знаки вопроса Мих. Лифшица]) *Герменевтика* [?]. Основа трагедии — солипсическая отдельность. Задача (диалектическая) познать Ты [?] не как *объект*, а как *субъект*. — Чья же это задача? *Героев*, а не Достоевского. Словом, это похоже на выход за пределы «персонализма». И это этика, а не иррационалистическое изображение. Сие-то и не нравится автору ([с.] 13).

[с.] 12. *Мысль Вяч. Иванова* — герои Достоевского размножившиеся двойники автора — не лишена основания. У Достоевского как раз *очень сильно* (вопреки мнению Бахтина) в отличие от других авторов, рисующих другие фигуры как *объекты*. Если же верно, что у Достоевского другие люди более *субъекты*, то верно в том смысле, что Достоевский наделяет их своей пламенной и лихорадочной субъективностью, они похожи на него. У Толстого они более разнообразны и самостоятельны от автора и меньше у Толстого *нажима пера*, которое у Достоевского *постоянно*. Всегда чувствуем то *художественную карикатуру*, то желание возвысить, приписать что-то (ср., например, Алеша, дети и т. д.). Да и сам автор минутно является в качестве рассказчика, сгущая краски. Обратное Бахтин — [с.] 16.

<sup>1</sup> Понимание, просмотр; благоразумие (*нем.*).

<sup>2</sup> Переживание; событие (*нем.*).

«Ф.М. Достоевский». Статьи и материалы. Сб. I, изданный под редакцией А.С. Долинина, 1922. Статья Аскольдова<sup>[186]</sup>: «Будь личностью», основной тезис Достоевского — столкновение личности с общепринятым и «скандал» или «преступление». Дескать, у Достоевского лучше быть даже преступником, но личностью. → Какие все схемы, ниже Достоевского!

[с.] 16. По мнению автора, дело не в этом, а в том, что Достоевский сумел изобразить *живую цельную личность*, а не считал личность личностью, не предписывал [?] своим героям. — Тут автор снова больше словами отделяется. Сам же он говорит, что Достоевский *персоналистичен*, т. е. рассматривает людей не как социальные психологические объекты, а как *субъекты* etc. Есть это определенный *взгляд* или нет? Если есть, то значит он просто *не этичен*, а *аморален*, что ли. Как будто можно *изображать* без *оценки*, без *взгляда*.

[с.] 17. Низводить героев до простой иллюстрации нельзя. Это монологизация. Более поздняя статья Аскольдова «Психология характеров у Достоевского». Сборник «Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы». Сборник II, 1924. Отдельные, мол, лишь наблюдения. Психологический анализ.

Формула Вяч. Иванова «ты еси» (субъекту) адекватнее формулы Аскольдова «будь личностью»

[с.] 18. Леонид Гроссман. Поэтика Достоевского, 1925. Главное значение Д. не столько в философии, психологии etc., а в создании новой гениальной страницы европейского романа [← почти цитата из Л. Гроссмана] → как будто одно исключает другое. Так и Бахтин — перевод в плоскость феноменологического исследования художественной формы будто *заменяет* проблематику содержания.

Гроссман: Нарушение целостности, соединение разнороднейшего. Вызов основному канону эстетики. Единство философского замысла.

[с.] 20. Будто бы (Бахтин) разнородный материал не принимает «отпечаток личного стиля и тона» (Гроссман [это мнение Гроссмана]) у Достоевского. Достоевский *над* личным стилем. → Ой, ли?

[с.] 21. С точки зрения монологического понимания стиля роман Достоевского *многостилен* или *бесстилен*. Эйнштейновская вселенная. Многомирность, *разномирность*.

[с.] 21. Л. Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924. Исключительное значение *диалога* у Достоевского. Этот диалогизм — борьба *веры* и *гу-манистического скепсиса* в миров[оззрении] Достоевского [такова точка зрения Гроссмана]. Верно, мол, [полагает Бахтин] что каждая точка зрения становится живым существом

[с.] 22–23. Но у Достоевского не *драматический диалог* и не *драматизация философского диалога*. Не драматическое развитие материала «на твердом фоне единого предметного мира» [ — ] «целое взаимодействия нескольких сознаний» (→ т. е. плюрализм?)

[с.] 24. → Вообще говоря, пустая игра словами. Диалектическое противостояние безысходно. Etc., etc. → Ну и вздор! Величайшая сила — нет безучастного «третьего» [полагает Бахтин].

→ Верно лишь то, что речь идет о *драме мысли*, а не о драматическом столкновении внешних сил, *точнее*, эти силы выглядят как духовные, т. е. выступают в их нравственном повороте, понимая под нравственностью взаимоотношение целого. И не о драме мысли с точки зрения чистого разума, с преобладанием познания, которое дает указание действию. Это диалог страстей. *Теоретизация страстей, философский диалог чувств*, т. е. выход за пределы рассудочного противопоставления понятий — это, действительно, характерно для Достоевского. Его *идеи* — жизненные движущие силы, *idées — forces*. Но и это собственно не конкретное отличие. Это уже бывало в XIX веке. Дело, однако, в том, что у Достоевского есть действительно одна общая черта «построения» — он, как Дидро в «Жак Фаталисте», дает *версии*, связанные с развитием определенных *возможностей*, и мы отчасти их все принимаем, но, разумеется, они *обламываются* в ходе действия. Именно ни одной не дает Достоевский *торжествовать* и *переворачивает* их. Своего рода демократизм формы, но доведенный до известного «надрыва».

[с.] 24. Бахтин, конечно, берет свою схему у *Otto Kaus, Dostoevski und sein Schicksal*<sup>1</sup>. Berlin, 1923. → Это *отчасти* та же борьба против всеобщего навязанного *либретто*, что и у Герцена, постоянное *переворачивание*, нарушение *ожидания*. Жизнь, не сводимая на абстрактные представления.

*Отчасти* же то, что сам Достоевский *при всем желании своем* справиться с [безобразиями — ?] и *отдать чему-то предпочтение*, все же не в силах свести концов с концами и это не сила, а слабость. Но, конечно, сила, ибо гораздо хуже было бы, если бы он следовал советам Бахтина и других и распустил [?] бы систему информации так, что остался бы только шум.

Однако Каус — марксист или quasi-марксист. Он видит суть дела в капитализме, который *сталкивает* различные миры Достоевского. Все спокойное кончилось, все дышит противоречием.

[с.] 26. Бахтин соглашается с Каусом, даже считает, что именно в России это кипящее столкновение миров и должно было породить полифонический роман. → Положим, все это очень абстрактно. Дело еще и не в столкновении миров, а в том, что капитализм сплелся со старым злом и создал *чудовищное либретто* развития сверху, по указке, которое порождало тем более рьяный [?] бунт карамазовщины против всего этого. И роман Достоевского отражает не какое-то абстрактное многоголосие — тут из тезиса Кауса следовал бы скорее хроматизм, а не разобщенность субъективных миров, — этот роман отражает *кризис отношений высокого и низкого*, откуда находимые [?] Достоевским нарушения благолепной иерархии повествования, пародизация романтически-героического, ставшего пошло либеральным, развитие низкой темы, [неразб.] ее.

<sup>1</sup> Достоевский и его судьба (нем.).

Одним словом, это, конечно, некоторый кукиш классической форме романа, но не в смысле какого-то незрелого[?]-формального многоголосья, а в смысле *внутренней сатурналистичности* его формы. Словом, общее, целое есть и оно заключается именно [в] этой драме переворачивания, что отлично вяжется с христианским, хотя и еретически-христианским характером его мировоззрения. За полное православие этого мировоззрения я бы не поручился.

[с.] 27. Критика Кауса — слабая. Но видно, что основная идея взята у него. Будто бы недостаток Кауса в том, что он непосредственно переходит в плоскость действительности!! (Нет).

В. Комарович. Роман Достоевского «Подросток» как художественное единство. Сб. 2. Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. II., 1924.

В «Подростке» пять обособленных сюжетов, слабо связанных фабулой. Единство не сюжет дает, Достоевский переносит клочки *в себя*. → Все врут как могут, лишь бы поизящнее.

[с.] 28. Слово «полифония» Бахтин стащил у Комаровича, хотя вменяет ему в вину, что он будто бы «монологирует» под влиянием монологической эстетики Бродера *Христиансена*. Единство романа — жизнь, волевой акт Достоевского. Бахтин критикует Комаровича в духе плюрализма.

[с.] 30. Б.М. Энгельгардт. Идеологический роман Достоевского. Сб. II, 1924.

Автор очень хвалит его. Герой Достоевского оторвался от традиции, почвы, земли, «разночинец» из *случайного* семейства [?]. Он беззащитен против действительности [?], становится одержимым идеей, *идеей-силой*. Историк «случайного племени» становится «историографом идеи», которая ведет самостоятельную жизнь. Вместо биографической доминанты (Толстой–Тургенев) — *доминанта идеи*. «Идеологический роман».

→ Однако и это не вполне. И Толстой, и Тургенев по-своему *идеологичны*. Главное, что *идеи-люди* у Достоевского ведут лихорадочную жизнь, зараженные болезнью сатурналистического переворачивания. Самая болезненная острота переживания *неравенства*, иерархии *верха и низа*, переживания, которые становятся возможными, конечно, на почве именно скалывания, слияния, перемещения самостоятельных миров.

[с.] 30, 31. *Энгельгардт*. Не философские романы, но идейные романы, а *романы об идее*. → Вопрос в том, *как это может быть романом* и притом таким захватывающим? Да, дело в том, каковы эти *идеи*, почему они так *лихорадочно живут*? Это можно вывести только из их содержания, а формальная сторона — идеологич[еская] нескладица [?], неравновесие, безудерж, *сатурналия равенства*.

[с.] 31. Уже у Э[нгельгардта] — «многопланность», каждому герою мир дан в особом аспекте. → Не в особом, а в равноправном, восстающем против *господствующей версии*, преимущественно порядка.

[с.] 32. «Распад бытия», «онтологического единства» (Энгельгардт) → Так ли? Скорее — [неразб.] пробуждение этим истинно онтологического единства.

Три плана: среда (механизм)

почва (организм [.,] развитие природ[ного] [?] духа [?])

земля (истинная свобода, третье царство любви, равенства etc.)

Основные темы по планам:

I.

1) Тема русского сверхчеловека («Преступление и наказание»)

2) Тема русского Фауста (Иван Карамазов)

II.

1) Тема «Идиота»

2) Тема страсти в плену у чувственного «Я» (Ставрогин)

III. Тема русского праведника (Зосима, Алеша)

Единый путь «к безусловному утверждению бытия» [Энгельгардт]

[с.] 34–35. Якобы у Достоевского *нет авторской концепции*, объединяющей миры героев<sup>[187]</sup>. Нет последнего слова. → В такой нелепой [?] форме Бахтин выражает тот факт, что образы Достоевского, как всякого великого писателя, *сильнее* его схемы.

Вообще «персонализм» и «плюрализм» Бахтина (как и всякий подобный) имеет то реальное основание, что образы-герои романа *близки к реальности*, т. е. не являются простыми конструкциями авторской мысли, и ведут как бы *самостоятельное* существование. Но эта мысль изворачивается в идеалистическом духе — в духе иррационального отрицания общей духовной, интеллектуальной плоскости романа. Это разрушение сознания есть одновременно чрезмерное возвеличение вещественного мира и отождествление его с суб[ъективным] фактизмом. Это крайний релятивизм и отрицание *всеобщего, истины* в мире.

[с.] 35. У Достоевского нет становления (единственный замысел «Жизнь великого грешника» остался невыполненным. В. Комарович. Ненаписанная поэма Достоевского. Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. I. М. — Л. 1922.

[с.] 35–36. Всякая чушь о Дантовском мире. У Достоевского нет развития, одно лишь созерцаемое противостояние etc. Эволюция его романа не есть диалектическое становление духа. *Гегельмански* понятий становящийся дух ничего, кроме монолога, породить не может. «Мир Достоевского глубоко плюралистичен». → Глупости! Плюрализм такой же монолог, как скверное гегельянство. А хорошее гегельянство вовсе не «монолог» в смысле абстрактной схемки. ← Образ мира Достоевского — *церковь etc.*, etc., где сойдутся раскаянные и нераскаянные etc. → Да это весьма декадентская церковь. Реальная вовсе не такова.

[с.] 37<sup>[188]</sup>. Оговорка: и «гегелевский дух» и «церковь» одинаково уводят от дела.

→ Непонятно — что такое «гегелевский дух» применительно к автору романа? Очень уж туманно. Разве что в смысле «либретто»?<sup>[189]</sup>

[с.] 37. Романтика... ответ гегелевской концепции (?)

[с.] 37. Опыт социологии. Сама эпоха была такова. В социальном мире планы были не *ступенями* [у Бахтина — этапами, с. 32], а *станами* [?! —

знаки и скобки Мих. Лифшица]. Многоплановость эпохи. Достоевский переходил от стана к стану, но не придал своему опыту монологического характера (т. е. не свел концов с концами?) → Идеал *несведения концов с концами*. Конечно, поспешное сведение — дурно, но глубокая драма мысли это вовсе не тот принципиальный апофеоз обывательского «ни туды и ни сюды».

[с.] 37. *Противоречие между людьми, а не между идеями в одном сознании.*

→ Вздор, иррационалистический притом! Противоречия в реальном мире могут быть только противоречиями *одного* бытия. Если бы миры были совершенно различны, то никакого противоречия бы не было.

[с.] 38. Не становление, а [со]существование и взаимодействие. Мир в пространстве, а не во времени. → Ну и вздор! Чистый «монолог»!

1) Как же может быть взаимодействие не соприкасающихся, не имеющих общего основания миров? Придется [?] сослаться [?] на Гегеля.

2) Достоевский[-]то именно говорит о *времени*, о распавшейся [?] связи миров. Он отражает [?] современное состояние, он социален, газетен.

3) Единственно, что можно сказать, что эти проблемы остро чувствующего времени Достоевский пытался [?] решать с точки зрения вечных проблем, он уходит из реального мира истории в мир религиозной идеологии [?]. Это его монолог.

[с.] 38. Противоположность Гете и Достоевского.

[с.] 39. У последнего, мол, состояние в разрезе одного момента, а не развитие. → Мало ли говорили о *пластической пространственности* Гете, о его *вечности* etc. вневременности. ← Отсюда *пары, двойники, раздвоенность*, а не последовательность, мол. Отсюда склонность к масковым сценам. Отсюда «единство времени», вихревое движение. *Далее это рассусоливается.*

→ *Раздвоенность*, конечно. К этому склонность имеется у Достоевского. Но разве это исходит из того, что писатель не знает развития? Нет, из того, что развитие это — не плавное, переходящее от этапа к этапу, а дошедшее до *внутренней расщепленности, внутреннего противоречия в одном лице*. Не потому раздвоение, что нет развития, а потому, что оно *концентрировано до крайности в одном моменте*. Отсюда и сведение многих лиц и единство времени. Словом, разница [?] просто в революционном, кризисном характере его романа. С таким же успехом можно было бы назвать революцию — неподвижностью, моментом, одновременностью и противопоставить ее развитию.

[с.] 39. «Возможность одновременного существования» (двойники etc.) → Наоборот, именно *невозможность* одновременного существования доказывает роман Достоевского. → Совершенное в общем непонимание Достоевского. Одно дело сказать, что у Достоевского все изображенные силы имеют свое право, свою аргументацию, свою реальность. И совсем другое сказать, что они *сосуществуют*. Они именно сосуще-

ствовать не могут! Это острейший кризис, изображенный нашим [?] великим [?] писателем, а не плюралистическая мудрость обывателя в стиле Джемса<sup>[190]</sup>, признающего, что все добро, все истина, все имеет право на [неразб.] существование, лишь бы оно было субъектом.

[с.] 40. Нет, мол, картин прошлого, кроме ранних произведений. Как!? Даже непонятно, как может это сказать знаток Достоевского. — Герои не имеют *биографии в смысле прошлого* (?!). Только то, что не перестало быть настоящим — обида etc. → Все помнят из прошлого то, что не перестало [?] быть настоящим! ← У Достоевского нет ни причинности, ни генезиса, нет объяснений из прошлого (?). Нет влияния среды, воспитания [?] (? и пр. Митенька на заднем дворе?) → Глупости! Нет просто медленного разворачивания действия. Есть уже как в драме *аналитический ход развязывания*.

[с.] 40. Все, мол, *настоящее* (не детерминирование прошлым) и потому *свобода*.

→ К сожалению, нельзя так *монологически* писать исследования о писателе, так, что они теряют самостоятельность и становятся доказательством каких-то модных идей, которые любы автору.

— Это, мол, не от мировоззрения Достоевского, а от того, что он был способен лишь так видеть и изображать. Но это отразилось и на отвлеченном мировоззрении Достоевского. У него нет генетического и каузального мышления. Он постоянно [?] полемизирует с теорией среды etc. → Да ведь с теорией среды он полемизирует не потому, что способен видеть лишь *одновременное*, а потому, что *теория среды* для него *историческое явление, ставшее* (Бернары) и приводит к современному *разложению и цинизму*. Оказывается, и *генезис и каузальность* есть у Достоевского: И. Карамазов *дал повод Смердякову убить* (почти «ученик» Бурже<sup>[191]</sup>). По Достоевскому, И. Карамазов только одной стороной виноват, а другой нет, ибо он *ищет, и на пути* (так как будто и сказано у Достоевского), у него больше [неразб.]

Прав лишь в одном отношении, что по Достоевскому теории каузальности и генетизма суть орудия разрушения нравственности, т. е. *причины и генезиса*. Поэтому Достоевский не то что не видит причин, по своему «видению», он борец против теории, которая путем введения причинной связи хочет устранить субъективную ответственность людей за их поступки.

[с.] 41–42. Слабость Достоевского — многого не видел, но зато то, что видел, он видел многосторонне etc. Видение Достоевского замкнуто в этом мгновении раскрывшегося многообразия<sup>[192]</sup> → Что тут видение? Способ видеть? Формальные черты [?]? *Верно*, но уходит в сторону от понимания, от содержания, от истины. Очень не понравилось бы Достоевскому, когда увидели бы в нем новое ухищрение бернарское, как бы увести в сторону от основного вопроса — от истины, от добра и зла. Клевета на Достоевского весь этот полифонизм!

«Видение» — релятивистично [?], нейтрально к истине. Это перевод с Schau<sup>[193]</sup>.



Видение — одни видят все *во времени*, другие *в пространстве*<sup>[194]</sup>.  
Почему? Иррационально.

Нет, люди (писатели) «видят» так или иначе, потому [что] думают так или иначе, думают они может быть бессознательно для самих себя, но это *мысль*, а не природная [?] ограниченность [?] [Далее фраза неразб.]

Зачем этот маскарад? Я уважаю Бахтина, который прямо указывает на свои истоки, говоря о *персонализме и плюрализме*. Я уважаю Бахтина, который прямо утверждает, что не диалектическое развитие дает силу Достоевскому, а именно его *неподвижность*. Это точка зрения, с которой можно спорить. А вы что? Маневры? — Достоевского на вас нет.

[с.] 42. Особая одаренность Достоевского слышать все голоса, кот[орую] можно сравнить только с Данте. *Объективная сложность и противоречивость, многоголосность эпохи, положение его* [как] *разночинца и социального скитальца* etc., etc. (?!) → Какая эпоха не *многопланова?* [Фраза неразб.] Именно старая многоплановость в России рушилась в это время.

[с.] 43. Единство есть, но нет философского etc. и не потому, что не вышло, а потому, что Достоевский не хотел.

[с.] 44. Он дает как бы социологию сознаний. Все мысли героев — реплики незавершенного диалога. Нет стремления и системно-монологического единства. «Художественная воля» Достоевского.

[с.] 45–46. А. Луначарский о «многоголосности» Достоевского. Луначарский разделяет взгляд Бахтина, одобряет его *в основном*. Луначарский в общем принимает мысли об объективном существовании образов. И он лучше понимает социальную природу, условия — [с.] 46.

[с.] 47. Бахтин возражает — у Шекспира полифоничности не было (сложившейся). Драма чужда полифонии, она не может быть многомирной → Но Достоевский вовсе не плюралист.

Аналогию Достоевского и Бальзака проводил уже Гроссман. Бальзак не преодолевает объектности своих героев. → Мура какая-то о суб[ъективных] мирах.

[с.] 48. Луначарский старался объяснить полифонию раздвоенностью Достоевского. → *Нескладница* у него действительно была. Это — противоречия случайного человека, противоречия личности, мелкобуржуазность.

[с.] 49. *Переживет ли «полифонизм» Достоевского капиталистическое общество?*

→ Второй раз не повторится, но что же войдет в новый сплав? Не «достоевщина»

[с.] 50. Особенно подчеркивается необходимость не социального, а формального анализа. Соц[иальное] только создает условия etc. → Вздор!  
В. Кирпотин. Ф.М. Достоевский. 1947.

[с.] 51. Дар видеть чужой психики «*видения*» и объективно-реалистическое видение противоречивого коллектива чужих психик.

[с.] 54–55. В. Шкловский. *За и против. Заметки о Достоевском*. 1957.

[с.] 55. Не объектен. Важно — позиция героя в смысле точки зрения на мир. Не имеет готового взгляда etc. (нескладница), но что-то верное — то, что Достоевский [неразб.] в кипении, *сам ищет вместе с героями*, а не изображает, как люди ищут. Разница, впрочем, относительная.

[с.] 57. Диалогизм

«Творчество Ф.М. Достоевского». АН СССР, 1957. Гроссман «Достоевский-художник», 2 стороны композиции, музыкальный характер композиции, *punctum contra punctum*<sup>1</sup>.

[с.] 59. Все в жизни диалог.

[с.] 61. «Надсловесное, надголосое, надакцентное единство полифонического романа»

[с.] 63. У Достоевского социальное положение etc. все является *предметом рефлексии самого персонажа*, а автор имеет дело с этой *функцией самосознания*. → а) *Не всегда*. б) Через слова и мысли героя автор все же сам, и мы с ним, видит *реальный мир и бытие того или другого человека*.

Верно, что *красками для этой живописи является у Достоевского само сознание и речь героя*, но живопись дает все же объективную картину жизни, иначе Достоевский был бы ничем.

Можно еще сказать другое; что бытие и социальность для Достоевского — он угадывает это — не есть — не есть просто социологический факт, а есть *всеобщее отношение* и потому выступает в нравственной и идейной вообще форме. Это именно — заслуга Достоевского, а вовсе не какое-то видение и композиция только [?], Достоевский был далек от мысли, что достаточно *по-другому увидеть* мир, чтобы решить вопросы бытия, и *стоит этим заниматься*.

[с.] 64. Разница между гоголевским героем и героем Достоевского. Верно, что у Достоевского все через самосознание → в чем тут дело? В том, что у Достоевского *те люди, которые были раньше объектами наблюдения*, становятся *субъектом*. Не их самосознание вообще изображает Достоевский, а их *возмущенное, ищущее самого себя самосознание*. Изображает ли Достоевский самосознание Тоцких, делает ли он их субъективный мир равноправным голосом? Ничего похожего. Если же он и рассматривает как достойное рассмотрения внутренний мир дурных и зловредных [?] представителей правящего слоя, то потому, что это тоже *бунтари*, которые прежде [?] слишком уж скованы были объективностью своего собственного строя.

Где у Достоевского *внутренний мир Петра Верховенского*? Он остается для Достоевского объектом, мы можем только догадываться, что в этом объекте совершается какая-то работа мысли. Лакей Смердяков развит более полно из себя. Многие даже более интересные персонажи остаются только отдаленными [?] светилами, внутри которых [два слова неразб.] горит вечно пламя мысли, вспыхивают огненные бури. Но что там такое происходит, мы собственно не знаем. Разве что применим спек-

<sup>1</sup> Здесь: позиция против позиции (лат.).

тральный анализ — во всяком случае автор дает больше нам лишь понять, что эти личности находятся в состоянии неуправл[яемой?] внутренней реакции, однако мир вовсе не изображается, исходя из их субъективной жизни. Они загадочны. Таковы Ставрогин и Свидригайлов.

[с.] 65. *Не дурно* о том, что автор у Достоевского весьма уходит из себя в произведение. Он пишет *не извне, а вносит элемент психологической окраски самого героя, того, как он видит мир* — элемент стилизации, а стилизация есть игра рефлексии, состоящая в том, что *автор подчеркивает относительность всякого восприятия, его условные, историч[еские], социальные и тому подобные черты*. Происходит отождествление автора с персонажем. Автор говорит его языком, он не внешне описывает, а *описывает описание и описанием*. Позиция автора *мета-«видение»*.

Но, по мнению Бахтина, Достоевский ограничивается этим *уравниванием* автора и героя. На самом же деле, давая полное глубокое раскрытие психологии и идеи героя, Достоевский тем самым *снимает относительность сознания* («полифонию»), *возвращает наш взгляд к объективности путем отрицания отрицания*.

Достоевский не вообще отождествляет [?] автора и читателя с персонажами, а [у него] такое отождествление, которое дает в конце концов *возвышение автора над ними*, охват их точек зрения более широким взглядом. Есть и другое отождествление (типа отказа от сознания, *отождествление с вещью*), которое создает лишь иррациональность. Но это — не удел таких людей, как Достоевский.

[с.] 65. «Коперниковский переворот» Достоевского — самосознание = «действительность второго порядка» → хотя и [неразб.], но что-то верно.

А когда хорошо, то что же это?

Следовательно [?], иногда нет исходного [неразб.] анализа героя, а иногда есть, но это не хорошо. Попытки проникнуть в мир персонажей и исходить из него иногда бывают и неудачны, например, анализы духовного мира доброго исправника, местных помещиков и правящих персон и т. п. Лучше было бы изобразить их методом Гоголя, *извне, как животный мир*, а так — непоследовательность [?] и неправдивость [?].

[с.] 66. Рядом с миром самосознания героя «другой объективный мир» — «мир других равноправных с ним сознаний»<sup>[195]</sup>.

И не равноправных. И не было бы *это объективным миром*, ибо объективность не есть чужое сознание. Вернее вообще говорить не о том, что *сознание вбивает в себя предметный мир* (с. 66), а о том, что Достоевский изображает *предметный мир как бы слегка окрашенным* точкой зрения его героев. Прибавляется *некая кривизна наблюдения*. Но так как эта кривизна принята во внимание — изображена, то она сама становится *истиной, прямой*, а ее ложные действия парализуются, а ее действительное содержание выступает на первый план — а именно *содержание*, которое включает в себя и место и роль субъекта, является предметом и как субъект. В этом смысле С [неразб.] или кто-то другой утверждал, что

нет в истории фальшивых грамот. Так и Виппер [?] писал — важно не только, что это обман, но и то, как и почему обманывает. Обман = истина. Таким образом, художественное произведение включает в себя картину не только объекта, но и отношения к нему действующих субъектов, т. е. берущее субъект и объект в их исторической связи и развитии есть произведение вполне реалистическое, смысл которого именно в том, что оно преодолевает кривизну субъективного, делает субъективное вполне объективным. Это отрицание отрицания.

А по Бахтину выходит, что Достоевский не освобождает человеческое сознание от кривизны, от «видения», от видения если угодно, *сдается* перед нею и отождествляется с [неразб.] ложью мифов. Это модернизированный Достоевский.

Разница между подобным *ифрационалистическим* отождествлением нашего сознания с его предметом, этим эксцессом сложности, и диалектическим пониманием сознания как элемента, входящего в объективную картину объективного развития. В первом случае — *самосознание, контроль*. Во втором случае [неразб., вероятно — добровольный поход] в дураки.

### Поперечно-полосатые идеи

Почему я это так болезненно воспринимаю? Есть ли тут какая-нибудь страсть [?], предрассудки [?], суб[ективные] [неразб.]. Да, есть. Потому что ежели так — за что боролись, за что кровь проливали?.. Когда я вспоминаю... Я спрашиваю себя, неужели я... И мне стыдно за тех людей, которые всегда брали более высокую ноту, чем я, всегда били себя в грудь и гордо смотрели окрест как представители ортодоксии, а теперь так легко меняют мундиры, становятся уже не красными, а розовыми или совсем поперечно-полосатыми.

Я вам, конечно, неудобен, я это очень хорошо знаю, и это неудобство не сегодня родилось. Но вам придется с этим примириться раз уж не сумели удержать этого неудобного раньше, а сегодня руки коротки.

*Поперечно-полосатая теория* «видения» не может не вызывать возмущения у всех, кто изучал М[аркса] и Л[енина], кто следует завету Ленина [далее несколько слов неразб.] и кто не виноват в том, что лихие [?] ортодоксы превратили ее в бог знает что. [Далее несколько фраз неразб.] ...но о том толковать не будем. Скажу только, что если во имя истины [?] делали злоупотребления и во время первоначального христианства, и во время [неразб.], и в наши дни, то это вовсе не резон, чтобы сказать: объект[ивная] истина кончилась, ври, кто хочет.

### К Бахтину

Совершенно полифоничным может быть только мычание [молчание?]. Теория плюрализма тоже теория, требующая единства, и Бахтин даже весьма догматичен, деспотически [?] поступая с героями Достоевского, более деспотичен [?], чем сам Достоевский.

Стало быть, нужно указать границы *допустимости единства* (принимая, что оно может стереть своеобразие). Взгляд, предложенный русской критикой XIX века, давал эту меру (*вопреки и благодаря*).

### Бахтин 2 [текст в другой тетради]

[с.] 66. Критика Белинского. Он воспринял Голядкина и Девушкина как продолжение героев Гоголя, только с прибавкой самосознания. Гуманность. А нужно было понять, что Достоевский просто хотел представить Голядкина и Девушкина как более *самостоятельные сознания*, чем гоголевские *социально-характеристические образы*. Сознание вбирает в себя все. Что же это → все-таки автор талдычит что-то двусмысленное: то ли перед нами *драма сознания*, а не *угнетенность* мелкого чиновника? То ли суть Достоевского в том, что он подтверждает факт *существования самостоятельных солипсических миров*? Если драма одинокого сознания, то это может быть неправильно, но это историческая *simplicitas*<sup>[196]</sup>, а не в пиквикском смысле Бахтина.

[с.] 67. «Чистая функция осознания себя и мира»<sup>[197]</sup> — тоже герой Достоевского. Он не гоголевский. Но почему же именно в Голядкиных да в Девушкиных так пышно проявляется эта функция? Герой, он же «мечтатель» и «человек из подполья». Чистая рефлексия, в которой все растворяется. → Главный враг — твердые черты во всем. Идеал растворения в полифонии.

[с.] 68. Болтливое и пустое сравнение и противопоставление с *Расином* (это, как и сравнение с Данте, лишено исторической точности, неконкретно и необязательно).

[с.] 68. «Герой Достоевского — весь самосознание»<sup>[198]</sup>

[с.] 68–69. Два типа единства — монологическое и не-монологическое. Для него почему-то не монологический = не «раз навсегда законченный образ действительности» = сознание. Если под монологическим понимать *схематическое*, что так и излагается ([с.] 68–69), то скорее наоборот — чем больше *в объективную действительность*, тем больше «полифонии». Автору тут не ясна его собственная проблема. Дело не в переходе от объективного изображения к субъективному полифонизму, дело не в том, что Достоевский будучи «в этом смысле глубоко объективен» тем самым расправился с твердой действительностью, а дело в том, почему в определенных условиях и на определенной ступени художественная объективность неизбежно должна представлять читателю мир рефлексии. Почему? Да не потому, что у Достоевского такое «ввидение» и баста, а потому, что он должен был увидеть то, что было *видно*. Действия героев бывают более или менее подвластны [?] их собственной рефлексии. Например, в «Одиссее» много ли вы ее найдете? Но в «Адольфе»<sup>[199]</sup> ее достаточно. А чем больше? Подумайте сами. Впрочем, скажу: чем больше человек оказывается в тисках необходимости и сознание его, развиваясь, тем больше не находит выхода, чем больше оно [?] развивается — вот тут-то и рождаются *Бл. Августин или Достоевский*.

Книга интересная. А что такое интересное? Почему на него такой спрос? Не интересная истина — и вот скука стала признаком истины и в глазах ортодоксов, и в глазах уставших. Вообще говоря, только истина может быть интересна для человека. Но противоречий сколько угодно — интересное [?], но... Но либо не слушай, а врать не мешай. И бывает, что «интересное», даже если оно не шибко правильно, заключает в себе все же какую-то вывернутую наизнанку, экстравагантную версию истины, или, по крайней мере, дразнит воображение. Но в конце концов единство истины и истина возвращается.

Сказать откровенно, книга мне быстро наскучила. [Зачеркнуто: Ей не хватает именно полифонизма] Одна и та же схема. Заранее объявленное потом наполняется более или менее достоверными [?] наблюдениями. Какая же это схема? ...

Однако в этом отношении сам Бахтин чрезвычайно монологичен, он не дает нашему сознанию, которое преимущественно [?] является зеркалом предмета [неразб.] слова сказать, а известно, что слушать чужие монологи скучно. → Если бы дело было только в романе идей, то Дидро также и гораздо раньше предлагал чистейшую полифонию, за что его прежде очень ругали, а теперь именно хвалят.

Если особенность Достоевского в том, что он не развивает одну мысль устами многих героев, а представляет различные мировоззрения, то что ж это за мировоззрения, которые не различаются по тому, как *они решают общие проблемы?* Но возможно было бы сказать, что у Достоевского герои не столько мысли о мире развивают, сколько излагают свои бедствия, проистекающие из того, что в них отражается общая *мировая нескладница* и они не могут из нее выйти, потому что *все выходы, предлагаемые их собственным сознанием, отвергаются их рефлексией* как заикливание [?]. Сказать, что мировоззрением отличаются герои, — мало. Скорее здесь *бесконечная рефлексия, не позволяющая развить никакое [?] мировоззрение*, за исключением некоторых конструктивных [?] героев.

Вообще универсальные суждения о героях Достоевского. Не получается только частно-утвердительное и целый ряд их. Смотря какие герои! Или же Бахтин должен сказать — этих я не считаю героями, но исключить из их состава Зосиму, Алешу, Мышкина едва ли возможно.

[с.] 69. *Пример.* «Записки из подполья». Достоевский все отдает герою, герой *все знает о себе сам*, т. е. предметом изображения является *рассуждение героя*, а не его *мысль*. Но «Точка зрения извне как бы заранее обессилена и лишена завершающего слова». *Это уже неверно. Наоборот.* Через *изображение*, которое есть *извне*, мы возвышаемся над *рефлексией*.

[с.] 70. «Человек из подполья». Старающийся *забежать*, для которого важно, что о нем *подумают другие*. Понятие «*подполья*» — прекрасно [?] и *здорово* мне нужно для характеристики модернизма<sup>[2001]</sup>. Но что Достоевский не *излечивает от подполья, это вздор*. Не излечивает, по-

ложим, того, кто неизлечим. Ибо подполье — рак, пока не поздно, нужно оперировать.

[с.] 70. Он «смотрится в зеркала чужих сознаний». Последнее слово за ним («маковка»), его самосознание. → Сомнительно, чтобы маковка действительно оставалась за рефлексией в действительном смысле слова. Что такое круговорот рефлексии? Своего рода [неразб.] эгоизм. Каждый боится стать *объектом* для другого, т. е. отразиться в его зеркале и стать *подчиненным, понятым, вещью*. Это — неустанная [?] жажда субъективности, вытекающая из общего духа внешней подавленности. Но вопрос в том, освобождает ли от «объективности» рефлексия? Если я проделаю [?] умственную операцию, то все будет хорошо. Так ли это? *Наоборот*.

Я обманываю себя. Я зависим от того, что *обо мне думают*, как выглядит для другого то, что я делаю, меня можно дергать за ниточку... А почему бы мне не быть *объектом* для других? Не буду ли я более свободен, более *субъект*? Я выше этой дребедени. Это та же рефлексия? Да, но путь к объективности, выход из дурного субъективизма.

Пример любви у Сартра — *rétrifier*<sup>[201]</sup>. А не свободен, не субъективен ли человек поистине [?] вдвоем?

У Достоевского ужасная гипертрофия и сублимация разрозненности, одиночества, эгоизма маленького человека. И что изображая это явление, Достоевский целиком подчиняется ему (с. 71). Это — хула. Нет, он не производит [?] никаких корректур [?] à la прогрессивный романтизм Марлинского<sup>[202]</sup>, т. е. вроде брехни [?], но, *изображая, освобождает нас*.

[на полях: по Бахтину (с. 71) моральные пытки *растворяют все вещное*. Эта боязнь вещиности — движущий психологический мотив, а художник Достоевский все же изображает эту рефлексию как объективный процесс. Вещное растворить нельзя. *Гипноз, а не доказательство*.]

[с.] 72. Достоевский лучше экспрессионистов

[с.] 73–74. «Кроткая», предисловие. Фантастично введение *стенографа*, который как бы записывает размышления героев. Суть дела *стенография рефлексии*. [Неразб.] Бахтин предлагает признать [?], что дело здесь в *движении собственного сознания*. Qu'est-ce que c'est?<sup>1</sup> Если то, что в этом движении рефлексии личность ищет истину путем честной [?] *исповеди* — это верно. И прекрасно, что человек *не лжет себе*. Но еще важнее то, что он *раскрывает истину*, т. е. определенное содержание, состоящее в той *роковой силе собственного сознания, кот[оро]е его гнетет*. Сила эта не просто внешняя сила — это верно. Она отчасти в нем самом — это *глубокая истина*. В нем карамазовщина, в нем бесы, в нем и т. д. Глубокое, мелочное [?], внутреннее, сидящее в каждом *рабство*, утверждение его собственной субъективностью, с волей, с охотой, и грозящее [?] *зарызгать* самые лучшие искания [?] человечества, включая сюда демократию и социализм.

<sup>1</sup> Что это? Что это такое? (фр.).

А у Бахтина выходит, что эта субъективность и есть какая-то самоутверждающаяся [?] правда. На деле это сознание слабости, истинная казнь [?], предзнаменование [?] опасность [и?]. То, что *ужасало Герцена*. Да, конечно, [неразб.] и отчасти *ученик Герцена* недаром, например, у Крамского эти два влияния совершенно сливаются. Достоевский и Герцен и опасность *мертвой* [?] цивилизации и *вульгарного демократизма*, и *анархии*, и *развязанного субъективизма*. И теория *вины и круговой поруки* (*антилиберальная*).

[с.] 75. Мир Толстого будто бы монологичен. У Бахтина явно два смысла слова «монологичен»: 1. схема. 2. единство объективной истины.

[с.] 75. Сравнение Толстого и Достоевского. Из которого видно лишь, что у Толстого рефлексия, внутренняя игра сознания личности не играет такой роли, как у Достоевского.

Да, Толстой более материалистичен, даже в нравственности. Он больше исходит из условий, из причин, поэтому у него нет в мире виноватых. У Толстого [возможно, описка: вероятно, не у Толстого, а у Достоевского] *все виноваты*, у него нравственность поворачивается больше субъективной стороной.

1. *Мы и автор тождественны*. Автора как бы нет (хотя может быть, элементы). *Объективная изобразительность*, например, предсмертные мысли героя.
2. *Автор-рассказчик* — только то, что он может знать (этого требует правда). *Мы и автор расходимся*
3. *Рассказчик, которым пользуется автор*. Элементы (3), конечно, могут быть в (2).

Мы тождественны с автором и сидим на заднем плане.

[с.] 75–76. Сравнение Достоевского с пушкинской прозой. Вообще оно не сводится [?] к введению рассказчика (ну, конечно). Там «твердый образ», здесь разрушение монологизма (т. е. ясности, единства истины, что ли?).

[с.] 78. «Бедные люди». Смысл бунта — по возмущению Девушкина против «Шинели» Гоголя — в том, что человек только сам может о себе сказать, в нем есть что-то [неразб.], и не объективно [?] может быть изображен. → Словом, Девушкин возмущен монологическим романом и предлагает тезисы [?] полифонизма! *Незавершенность* при том. Вздор — просто он не хочет быть объектом, пациентом, [объектом чужого] *сожаления*. Кому приятно? Бунт против завершенности в смысле определения [?], [неразб.] — Нет.

[с.] 78–79. Переход к «Запискам из подполья». Тут *отчасти правильно*, что герой не хочет следовать ни за кем, ни даже за самим собой (маковки), т. е. что он — *бесконечная рефлексия*. Это *социальное и психологическое* средство его борьбы. Дело *не в законченности*, не в этом суть. *А законченность есть унижение* — в этом суть. *Свобода*, но не в метафизическом смысле слова.



[с.] 79. Нельзя применить закон тождества  $A=A$ . Потому, якобы, что личность всегда может что-то выкомарить. Да, но выкомаривает она все же не безусловно свободно, а по известному закону.

[с.] 80. *Правда против справедливости* (сердце) → Будто бы правда несправедлива, когда она касается глубин *чужой* личности. Здесь это не говорится. М.б. и своей личности. Вообще речь идет о *знании* и *сердце*. Также не точен анализ случая со Снегиревым.

*Достоевский о себе. Реализм и человек. Я не психолог, а изобразитель, реалист, но глубин человеческой души.*

[с.] 81. Подтасованное [?] толкование эпохи у Бахтина.

[с.] 82. Но верно подчеркивание того, что Достоевский *не психолог* (т. е. что он не по-бернарски подходит к человеку) → Следовательно, речь идет о соединении реализма с нравственной постановкой вопроса. Критика психологии «бугорки в мозгу» в объяснениях Лебезятникова («Преступление и наказание»), *Бернары* («Братья Карамазовы») → *Проблемы вменяемости у Достоевского*.

[с.] 80. «Нерешенность и незавершенность». Как = личность (Митя) → Ну, [неразб.] можно сказать, что личность нерешена и незавершена до известной степени (а нет ли у Достоевского и *фатальности* — смотря какая личность), но сказать, что незавершенность и нерешенность образует личность героев Достоевского — ну нет! Якобы суть в *антидетерминизме*? Ну, *мало*.

[с.] 82–83. Автор все время настаивает на том, что «неопределенность-нерешенность» является особенностью свободы, превращая таким образом свободного человека в Буриданова осла, от которого в любую минуту можно всего ожидать. Это не совсем так — конечно, свобода включает в себе возможность многих решений, но какого числа? — *Бесконечность*, а бесконечность вовсе не тождественна с плюрализмом, множеством. Она воплощается в *одном*. *Непосредственность* свойственна свободе, *неопределяемость* другим, *определенность* своя. → Отождествление свободы с неопределенным отрицанием = подпольная мысль. *Экзистенциализм и т. под.*

[с.] 84. *Овеществление* — главная проблема Достоевского — в условиях капитализма. Ссылка на Ермилова. Все вздоры! Не капитализм, а угнетение человека человеком и особенно именно *несвободные отношения*. И не просто *стенка*, а именно *ложное от нее освобождение, подполье* = вот проблема.

[с.] 85–86. Автор все пытается выскочить из собственной шкуры, описывая, как Достоевский изображает своих действующих лиц, как бы не изображая, и говорит о них, как бы не говоря, как будто *не определяя* их и ожидая, что они возразят.

[с.] 84. Смысл его художественной формы — вот, что дескать развеществляет[ся?] [неразб.] от того, как что-то изображено, изменяется и оно само? — Обычная *телега впереди лошади*.

[с.] 86. Автор говорит не о герое, а с героем etc., etc.

[с.] 92. Уже «*незавершенность*»

Анализ «Трех смертей» Толстого с точки зрения трех замкнутых миров, «внеаходимость», отсутствие связи между сознаниями. Блажь!

[с.] 100–101. Оказывается еще и *микродialog*, например, внутренний диалог Раскольникова, в котором все слова «двуголосые» → А если так, то это разлагает плюрализм в общую плоскость.

«Преступление и наказание». Вопрос Мармеладова: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда идти?» — «ибо надо, чтобы всякому человеку хотя куда-нибудь можно было пойти» (V, 51). Ср. «стенка» в «Записках из подполья»

[с.] 104. Идея у Достоевского. Нет «одноидейности общего типа». Герой — идеолог. Но идея = самосознание, правда мира неотделима от правды личности. → Все это взято общо и формула не сознания вообще, а *рефлексия* и правда мира именно от этой правды отделимы. И Достоевский дает нам все же правду мира, которая включает в себя и картину рефлексии его героев. Можно только сказать, что этот бег рефлексии не внешнее и случайное для правды мира, хотя и не сама правда.

[с.] 104. *Верное заключение* на счет того, что «личная жизнь становится своеобразно бескорыстной и принципиальной, а высшее идеологическое мышление — интимно личностным и страстным»<sup>[203]</sup> → В духе одиноких мудрецов. Отчасти это всегда так в литературе. Здесь однако опять-таки не просто *бескорыстным* выражением идеи, а парадоксальным выражением неожиданной, но [неразб.] рефлексии.

Далее обычные нападки на монологическое мышление и обычное смещение — верное с точки зрения диалектики в этой критике и неверное — уклонение в сторону «плюрализма», отсутствия вывода (а это, между прочим, тоже вывод). Но то, что хочет уловить Бахтин, хотя все это — пленный мысли раздражение, есть то именно, что у Достоевского не вообще идея, идея о мире, а игра рефлексии в центре внимания.

[с.] 106. *Ерунда* будто *единство сознания* = идеализм, бог etc. Монизм = ругательство, идеализм все это переписано из западных источников. Далее — [с.] 106–107, развивается та же критика единства сознания (а Маркс — мыслящий разум?), релятивизм доводится до того, что понятие «ошибка» ставится под сомнение (опять смещение диалектики с релятивизмом, опять смещение правильной критики «метафизики» с критикой *истины*).

[с.] 107. Фантастические [?] рассуждения о том, что единая истина не предполагает единого сознания, «невместима в пределах одного сознания» — это уже другое.

→ И все же каждое [?] сознание выражает [?] ее всю, только криво, косо etc. и потому оно становится материалом для другого более высокого сознания. Вообще — «невместима», но все сознания всегда [?] и составляют, исправляя друг друга, сознание истинное. *Закон развития* этого истинного сознания, а не броуново движение.

[с.] 107. «Идеализм» [неразб.] знает лишь истину и заблуждение etc. Вздор: а Гегель? а Кьеркегор [?]? «Педагогический диалог», а вы хотите *диалога глухих*?

[с.] 108. Продолжение той же иррационалистической полемики против *единства разума*. В общем — ответвление европейского иррационализма и релятивизма *против монизма и объективной истины*.

[с.] 109. В литературе — значащим, понимающим является только сам автор (вместе с читателем — раз; сама *жизнь* — два, а автор часто слаб!).

[с.] 109–110. Все примеры, приводимые М. Бахтиным на господство монологической идеи (от Вольтера до «тенденциозного романа»), указывают лишь на то, что есть разница между *романом-парадигмой* и романом *жизни*, которая шире всякого замысла. Конечно, она не укладывается в монолог автора, но она сама есть *монолог*, более истинный, чем диалоги разных авторов (новое издание пресловутого спора [между] «методом» и «мировоззрением»<sup>[204]</sup>)

Что верно у Бахтина — было известно задолго до него из Белинского, Чернышевского, Добролюбова, которые в литературной критике опирались на Гегеля. Что сверх того, то не верно. Диалог, монолог — все вздор, если вопрос берется независимо от того, в чем содержание этих разговоров. Истинные монологические идеи, захватывающие [?] жизнь, как у Вольтера, лучше скверного диалога и Белинский это хорошо понимал, отдавая должное даже дидактическому жанру.

[с.] 111–112. Продолжение той же болтологии.

[с.] 112. Достоевский умел хорошо изобразить чужую идею → да потому, что он всегда изображал *свои* идеи, ему хорошо знакомые. Это его собств. [неразб.], собственное внутреннее борение, борение за истину — исправление ошибок. Все это он сам *пережил*.

[с.] 112–113. Ордын<sup>[205]</sup> — все это чистый [гадкий?] Белинский

[с.] 113. Не характер, не социальный план, а лишь человек идеи. Носитель идеи не столь малоценен. Только «человек в человеке» является положительным носителем идеи.

→ Верно то, что в центре повествования у Достоевского всегда стоит *изувер идеи*, какой-нибудь мерзавец своей жизни, который этот чистый эксперимент и производит. Род «всемирно-исторической личности» в отличие от *erhaltende Individuen*<sup>[206]</sup> — И якобы все дело в том, что он был «незавершенным и неисчерпаемым»<sup>[207]</sup>

[На этом записи Мих. Лифшица обрываются]

## 7. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ Я.Э. ГОЛОСОВКЕРА «ДОСТОЕВСКИЙ И КАНТ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ НАД РОМАНОМ “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ” И ТРАКТАТОМ КАНТА “КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА”»

Издательство Академии наук СССР. М., 1963

[Маргиналии Мих. Лифшица свидетельствуют о том, что он не согласен с тезисом Я. Голосовкера, будто «бернарство» — это вина науки и философии (в частности, Канта и немецкой диалектики): согласно Лиф-

шицу, «бернарство» есть искажение научного и философского познания, вызванное естественнонаучным номинализмом современности, смыкающимся с либерализмом, философией толпы]

с. 5. Голосовкер: Читатель знает еще и то, что младший сын старика, Алеша, «судья праведный», не признает убийцей ни Дмитрия, ни Ивана, а только Смердякова...

Лифшиц: т. е. видит *грань*

с. 9. Голосовкер: Но как не смеет Иван убить Смердякова, так не может Иван убить и черта. Он только напоследок запустил в черта по-лютеровски во сне стаканом, т. е. тоже как бы ударил.

Лифшиц: Вопрос о том, кто **хам**? Спор с Мережковским [?]. Ленин<sup>[208]</sup>.

Тут что-то верное есть. Смердяков — лакей, дублирующий черта. Лакейская сущность либерализма — того, чему в русской истории счастливо найдено имя либерализма, **холуйство** и [неразб.]

с. 20. Лифшиц: Кажется, что он [черт] просто **глуп**, что либерализм, лезущий из демократии, просто глупость толпы, но нет...

Из мелкобуржуазных [?] недостатков демократии, из этой *философии толпы* лезет либерал — лакей и хам.

с. 21. Голосовкер: ...Иван сам не знает, почему он идет: он идет, потому что он **трус** [выделено Лифшицем], потому что не смеет не пойти, а почему не смеет — загадка.

Лифшиц: Великая загадка морали = подл[инной] демократии

Трусость из лакейской черты, [неразб.] смелый принцип единства слова и дела переходит в *другую боязнь* — благородную.

То же, что Самарин — и ср. ответ Герцена<sup>[209]</sup>.

с. 22. Голосовкер: цитата из Достоевского, слова Ивана Карамазова: «...ничего не посмеете, прежний смелый человек-с! (...) Он меня трусом назвал, Алеша!»

Лифшиц: Да, вот вопрос, на который нужно ответить. Значит, есть что на дне, вызывающее боязнь, страх Ивана? Да, проблема — на чем основать «человек человеку и т. д.». Воскресная проповедь школьного учителя. Для **дураков**?

с. 31. Голосовкер: имя «Бернар» нарицательно, вместо слова «ученый»

Лифшиц: Нет, не **ученый**!

с. 32. Голосовкер: Этот Бернар — «наука»...

Лифшиц: Не наука

с. 33. Голосовкер: цитата из Достоевского, слова Ивана Карамазова о черте: «...я бы очень желал, чтобы он в самом деле был он, а не я!»

Лифшиц: т. е. *отделился бы*.

с. 39. Лифшиц: Апория делимости и неделимости. Равно как и апория конечного и бесконечного (без *творения*).

Сумлеваюсь, что [неразб.]

с. 41. Голосовкер: Получается: Ракитин с критикой, черт с критикой, Кант с критикой...

Лифшиц: Не та критика.

с. 53. Голосовкер, цитата из Достоевского: «Все это вопросы совершенно не свойственные человеку, созданному с понятием лишь о трех измерениях»

Лифшиц: поз[итивизм]. Скорее Конт, чем Кант<sup>[210]</sup>.

с. 58. Голосовкер: Однако нам кажется, что и самые акты определяются идеями разума, его умопостигаемым характером. Отсюда и возникает противоречие. Раз акты воли человека эмпирически обусловлены и необходимы, то человек за них ответственности не несет.

Лифшиц: Кажется = эпифеномен. Но эта кажимость, однако, не шутка<sup>[211]</sup>.

## 8. СОВРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, КЛАССОВЫЙ АНАЛИЗ, БУНТ, КРИТИКА БАХТИНА И ЮНГА

[Из папки № 696, с. 82–89]

### Сложность современной эпохи

Разложение и кризис, идущие на пользу капитализму, хотя вначале они были страшной угрозой для него.

Все стерто в порошок, все порушено, подчинено. Это отчасти хорошо — вспомним, как Маркс и Энгельс приветствовали крушение патриархальных связей, циническую сторону капиталистического прогресса.

[Сбоку: Разложение патриархального мира в абстракции и двоякое значение этого]. Но это отчасти теперь уже и плохо. Времена кровопийцы-Цвангера были патриархальны, хотя уже и достаточно откровенны. Именно на этом и близком к нему уровне классовое сплочение наиболее авантажно.

[Сбоку: «Среднее», классическое время классовой борьбы]

Еще шаг дальше, и дело становится уже менее авантажно. Нет больше ясных граней для сплочения. Централизация экономической мощи, подавляя всю массу рабов и сателлитов, как бы обуржуазивает все, создает множество мелких градаций дохода, положения на производстве, в аппарате, национальных и расовых преимуществ, различного отношения к государственной религии и т. п. Всюду преобладает мелкий раскол на почве громадного отделения эксплуатирующей силы от ее пьедестала. Вот это и является истинной основой как «грегаризма»<sup>1</sup>, так и «дезагрегации»<sup>2</sup>, о которых нам толкуют западные социологи.

[Сбоку: Всеобщая власть капитала противостоит всему обществу и в нем больше выступают внутренние, несущественные деления. Опять, хотя

<sup>1</sup> Grégarisme — 1) стадность; стайность; грегаризм; 2) стадный инстинкт, стадное чувство (*фр.*).

<sup>2</sup> Деагрегация (*дез* + *лат. aggregatio* — присоединение) — процесс, обратный агрегации, разрушение, разделение, распад чего-либо на отдельные части.

и по-новому, выделяется атом (за счет классового сплочения) и атомистические агрегаты, группы] Другая сторона этого процесса — то, что западные немцы называют теперь «формированным обществом», и вообще все иллюзии возвращения к корпоративным, патерналистским и прочим порядкам средневековья.

Это, собственно, и не совсем иллюзии, ибо стирание ясных, близких, наглядных классовых граней в общественном дальном действии, в завершении абстрактного характера труда и производства есть именно образование многих мелких горошин, которые, однако, не равны. Своеобразие состоит в том, что нивелирующая сила капитализма, пережившего себя, восстанавливает силу неравенства, делая его всеобщим. Все равно подчиняются силе капитала, но уже — неравно. Так далеко зашло это уравнение, что оно как бы снова вернулось к иерархии.

В основе лежит:

1) Борьба всякой мелкой собственности против более крупной, зависть к ней.

[Сбоку: Старый капитализм был основан на социальном неравенстве, достигаемом посредством равенства. Новый — на неравенстве как пути к уравнению всех перед силой громадного капитала]

Социальная демагогия современного капитализма имеет свои весьма реальные корни — союз самой централизованной мощи с ее дружиной, с ее опорой в низах. Открытие ограниченной возможности социального подъема при условии «партнерства», подчинения «патернализму» и т. д., начиная с включения ремесла в дела большого капитала. Но также и на крупном производстве — постоянные технические революции должны создавать перестройку рабочего класса. Здесь из него выделяются те «операторы», которые повышаются при автоматизации, в то время как другие уходят. Время равномерного массового процесса эксплуатации, когда речь шла, главным образом, об увеличении числа занятых рабочих, прошло. Но не теряют ли свои позиции и квалифицированные рабочие прежних времен? Не в этом ли тайна перестройки рабочего класса в настоящее время — упрощается рабочий или усложняется? Некоторые слои рабочих поднимаются кверху, другие съедаются упрощением функций. Буржуазный принцип конкуренции усложняется, таким образом, демагогическим бунтом наиболее агрессивных. Кажется, так и во всех аппаратах. В общем, бунт, отрицание, движение снизу вверх.

[Сбоку: Раскол подчиненной массы. Демагогическая сторона.

Упрощается ли труд рабочего или усложняется?

Дурная середина между неквалифицированным и квалифицированным рабочим]

2) Этому соответствует движение сверху вниз — преобладание всякой «элиты» над массой. «Элитарность» как массовый принцип. Общество, похожее на иерархию средних веков, где каждый вассал претендует на то, чтобы приблизиться к сюзерену.

Соответствующие этому идеологические общественные явления — система национальной демагогии — преобладание немцев над французами, французов над украинцами, украинцев над русскими, русских над татарами, татар над евреями. Где-то, разумеется, будет мертвый полюс — евреи, негры.

Другое явление — интеллигентность и принадлежность к современности. В самом низу, в качестве полюса холода, — воскресный посетитель музея, повыше — человек, остановившийся на импрессионистах, еще выше — на Сезанне, еще выше — на кубистах, еще выше — «абстракция» и т. д. до последнего слова.

Так же читатель какого-нибудь «Партизан-ревью» бесконечно выше читателя обыкновенной бульварной газетки. Эта идеология массовой элиты, мелкобуржуазной аристократии — главная отравляющая современности.

### 1967, VII

Конец общественной формации и таящаяся в нем существенное различие.

Разложение классов, деклассирование, стирание граней между ними, социальная перестройка в двух смыслах и направлениях.

Якоб Буркгардт не различает этих двух направлений (как и прочие исследователи Возрождения), говоря о сближении классов.

Одно дело деклассирование на волне подъема снизу, срывающей словное общество средних веков. Другое дело — то разлагающее деклассирование итальянского общества, да и всего европейского, в эпоху маньеризма, которое создало почву для возвышения абсолютной монархии как противоположа этого распыления, дезагрегации. Равновесие главных классовых сил — это не все, следует принять во внимание и это деклассирование как его момент. Таков всякий конец общественной формации.

Зарождение новой включает в себя всегда уничтожение классов, прежних классов, но и в прежние эпохи это деклассирование может служить гальванизации уходящего общества в новой форме.

Не всякое уничтожение классов ведет вперед. Один и тот же процесс может иметь два лица.

Итак — NB — не всякое устранение классовых граней есть уничтожение классового общества.

Там — иллюзия, скрывающая действительную частную монополию собственников, здесь — реальность, создающая иллюзию «нового класса».

Отношение между действительной классовой пирамидой и иллюзорной, окружающей ее идеальной иерархией элит.

Вовсе не дерзновенный нонконформист и умник действительно on the top<sup>1</sup>, вовсе не в самом низу отверженный, раскольник, опасный rebel<sup>2</sup>, но переходы из реальной иерархии в иллюзию и обратно есть. Частичное

<sup>1</sup> На вершине, наверху (англ.).

<sup>2</sup> Повстанец; бунтовщик; мятежник (англ.).

усваивание знаменитостей господствующим классом, связь преступного мира и богатых собственников.

## NB

Энантиодромия верха и низа и неравномерное, «циклическое» движение цивилизации в рамках образующегося в антропологические времена и перестраивающегося классового общества.

Элементы выхода за пределы этого цикла — вот действительно революционные, третьи подлинно народные и подлинно творческие силы прежней культуры. Конечно, относительность, переходы, все в тех или других рамках, но отличие демократии от демагогии как циклического извращения демократии.

Отношение верха и низа в антропологическом смысле к действительной иерархии классов. Слабость теории, которая пытается прямо связать эти полюсы с социальной противоположностью (Мелетинский<sup>[212]</sup> и Бахтин у нас подтасовывают Юнга и К° под классовую борьбу).

Реальный классовый смысл — элемент анархизма в социальной перестройке, другими словами: жулики и блатные, гонимая [?] сила денег в средние века, плебейско-солдатский и монашеский элемент, играющий в этом мире.

Элита она же и гонимое несогласное меньшинство.

Ура! «Амбивалентность», но имеет реальный смысл — перестройка, неравномерность, цикл в движениях общества. Однако подлинная оппозиция к нему за пределами этой неравномерности.

Усвоив у меня теорию «борьбы на два фронта» — и против феодализма, и против капитализма, и против Азии, и против цивилизации, — Аниксты<sup>[213]</sup> и К° идут теперь отсюда назад, через бахтинские переложения Юнга. Их теория «верха» и демократического [?] «низа» сводится к давно известной формуле «двух культур» в ее истолковании сталинских времен.

Это от того, что они не усвоили у меня мало высказанный в 30-х гг., в силу опасности этого мотива, тезис о том, что и народ и демократия это не все — с точки зрения самого народа и самой демократии. «Борьба на два фронта» у меня была и борьба против верхов и борьба против низов как низов. Я это высказывал по отношению к Шекспиру, Бальзаку, в статье к пятидесятилетию [смерти] Маркса, но особенно, конечно, в лекциях, которые были им неизвестны. В «анти-демократизме» моих «великих консерваторов» — это есть!

Демагогия, в отличие от демократии, опирается на процесс деклассирования и разделения.

Деклассирование, присущее каждому обществу, как и классовообразование.

Маркса здесь придется чуть-чуть поправить его же собственными идеями.



А как это экономически? Все явления, лежащие в основе «демократизации капитала». Дробление [?] класса капиталистов = процесс монополизации. Хотя есть и рост числа миллионеров.

\* Новый аспект критики отрицателей классовой борьбы. Она идет, конечно, но ее форма есть и отрицание ее, и притом практическое.

\*\* Фразы о «демократизации» капитала не простая ложь. Гос[ударственный] кап[итализм] и олигополия есть его плебисцитар[ное] развитие.

То же происходило в конце феодального строя — с одной стороны концентрация феодальной земельной собственности в руках придворной клики, с другой — размывание границ, мобилизация буржуазии, подъем чиновничества и офицерства.

Элементы разобщения

- 1 Бунт нон-конформистов, радикализм правый и левый.
- 2 Иерархия элит
- 3 Деклассирование, дезидеологизация
- 4 Мнимое «формирование» Ложные виды сплочения
- 1 ordo<sup>1</sup>
- 2 нравственность человек
- 5 Манипулирование, т. е. деление на два этажа
- 6 Путь вверх, в элиту и «дисфункция», дементное<sup>2</sup> поведение, «преступление», путь вниз, битничество.

---

<sup>1</sup> Порядок, ряд, строй, шеренга; сословие (лат.).

<sup>2</sup> От *деменция* (лат. *dementia* — безумие) — приобретенное слабоумие (в противоположность врожденному — *олигофрени*).

## IV. МИХ. ЛИФШИЦ И СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

### 9. «ЭЛЬСБЕРГИАНА»

[Статья Мих. Лифшица «Полезна ли философия?» (1957) об Я.Е. Эльсберге<sup>[214]</sup>]

[В архивной папке № 405 под названием «Эльсбергиана» находятся статьи Я. Эльсберга из газет и журналов с пометками и замечаниями Мих. Лифшица, а также папка с надписью «Дело Эльсберга». Публикуем из этой папки ранее не публиковавшуюся статью Мих. Лифшица «Полезна ли философия?»]

Полезна ли философия?<sup>[215]</sup>

На пиру я не была;  
Но подарок принесла.  
*В.А. Жуковский*

Недавно состоялась дискуссия о реализме, организованная Институтом мировой литературы им. Горького. Дискуссия должна была подвести итоги многолетней работы над этой темой большого коллектива ученых.

Пишущий эти строки не может возражать против того, что докладчик Института, доктор филологических наук Я.Е. Эльсберг, поместил его фамилию среди отрицательных персонажей своего доклада — «Спорные вопросы изучения реализма в связи с проблемой классического наследия» (Москва, 1957)<sup>[216]</sup>. Но вот что удивительно: единственным поводом для этой критики на столь высоком уровне служит лекция, прочитанная в клубе писателей, лекция о модернизме, на которой Я.Е. Эльсберг не присутствовал. Он пользуется отчетом многотиражной газеты «Московский литератор».

Случай редкий в академической практике. Если докладчику не хватает материала, я обязуюсь в следующий раз представить ему все отчеты о моих лекциях, помещенные когда-либо в стенгазетах, а также показания свидетелей и слухи, записанные на пленку.

Но обратимся к докладу-брошюре Я.Е. Эльсберга (доклад напечатан также в журнале [зачеркнуто — «Вопросы литературы»]). Он выступает против «склонности к изучению литературы лишь в ее социально-политических связях», а также против одностороннего «анализа художественных произведений с точки зрения их отношения к философской борьбе эпохи» (стр. 11). Само по себе это кажется разумным. Всякое преувеличение дурно, и если имеется у меня преувеличенная склонность к общественному и философскому анализу, то необходимо этот недоста-

ток устранить. Имеется ли она? Я не знаю. Я.Е. Эльсберг не привел убедительных примеров, а то, что он говорит о модернизме, заставляет скорее сделать вывод, что общественный и философский анализ еще рано сдавать в архив.

Стараясь применить к современному искусству метод ленинских статей о Толстом, Я.Е. Эльсберг отодвинул на задний план идейное направление модернизма как «субъективные взгляды художников» и «философские симпатии последних». Все это не важно. Важно отражение действительности, которое, должно быть, совсем не зависит от вышеуказанных взглядов и симпатий. «Легко сказать, — пишет автор брошюры, — что модернизм, рассматриваемый притом расширительно и оптом, не ставил себе, мол, задачу *изображения* действительности. Но разве в импрессионизме и в творчестве Пикассо вовсе не получили отражения некоторые черты и стороны действительности?» (стр. 12).

Я не собираюсь здесь спорить о модернизме и охотно уступаю Я.Е. Эльсбергу лавры защитника более свободного и современного вкуса. Замечу только, что автор пользуется теорией отражения самым удивительным образом. Прежде всего, Ленин нигде не говорит, что для художника безразлично, ставит ли он перед собой «задачу *изображения* действительности» или только «отражает» ее неведомо для себя. Особенно странно читать несколько пренебрежительный отзыв об этой задаче в труде, посвященном проблеме реализма. Что же такое реализм, если не изображение действительности?

Но самое главное заключается в том, что Я.Е. Эльсберг толкует формулу отражения как общее правило, согласно которому заранее оправдано всякое творчество, независимо от его реального содержания. Лишь недостатком логической последовательности можно объяснить тот факт, что автор брошюры презрительно третирует «антинигилистический роман в русской литературе 60-х годов, ряд произведений современной иррационалистической литературы, абстрактное искусство». Почему же, собственно? Правда, абстрактное искусство отказалось от задачи изображения жизни, но разве в нем «вовсе не получили отражения некоторые черты и стороны действительности»? Можно держать пари, что Я.Е. Эльсбергу не удастся привести ни одного явления искусства, ни одного явления из любой области духовного творчества вообще, в котором не отражалась бы известная черта действительности — по той простой причине, что *сознание всегда отражает бытие*<sup>[217]</sup>. Даже доклад самого Я.Е. Эльсберга отражает некоторые факты жизни и несомненно интересен как материал для общественного и философского анализа.

Вопрос заключается в том, *что* отражает данное явление общественного сознания и *как* оно его отражает<sup>[218]</sup>. Странно, что авторитетный докладчик не знает таких простых вещей. Между тем, тот, кто хочет пользоваться теорией отражения Ленина, должен знать, что в ее основе лежит принцип сходства между сознанием и внешним предметом или, если хотите, принцип изображения действительности в человеческой

мысли. Этот принцип нельзя понимать вульгарно — это так. Но упускать из виду его коренное значение не должен человек, считающий себя марксистом.

Я не сомневаюсь в том, что Я.Е. Эльсберг может достигнуть вершин марксизма, но зачем он пускается в это трудное путешествие, не обеспечив себя самым необходимым багажом? Вот до чего доводит презрение к философии.

*Мих. Лифшиц*

## 10. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОГО СПОРА

В. Ермилов<sup>[219]</sup>, Я. Эльсберг и «младомарксисты» 60-х годов против Мих. Лифшица

На статье Вс. Иванова «Сталин и народ»<sup>[220]</sup>, хранящейся в архиве Лифшица (папка № 390 «Книга живота моего», с. 42–43), есть следующая запись: «Так они писали в 1953 году, лучшие из них! Я не стесняюсь тех признаков “культа”, которые можно у меня найти до 1935 г. — да нет, стесняюсь! Но это были неизбежные накладные расходы, а в 1953 году?!»

В статье Вс. Иванова, на полях которой написаны приведенные выше слова Лифшица, содержались такие, например, утверждения: «Сталин был новатором. Он был новатором в любой области науки, искусства, культуры. Иосиф Виссарионович писал книги, которые создавали и создают эпоху в таких областях науки, которые, на первый взгляд, далеки от его работы, — как, например, в языкознании» (с. 14). «Сталин был великим стратегом и полководцем». «Народ наш любил и любит свою родную Советскую армию, гениального полководца армии нашей — Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина». «Наш народ находится на высокой ступени культурного развития. То, что он так глубоко ценит и понимает гений Сталина; то, что он так сильно любит его, как своего вождя», «доказывает высокое политическое, культурное и нравственное развитие советского народа»<sup>[221]</sup>.

У В. Ермилова, М. Храпченко<sup>[222]</sup> и всей этой группы «Гвоздилиных–Молотковых» базарно-крикливая критика Лифшица и «течения» в целом соединялась с воровством идей, о чем, в частности, свидетельствует статья В. Ермилова в «Правде» от 2 июня 1957 года с характерным названием «Против неправды о Достоевском». Эта статья находится в архиве Лифшица и содержит его пометки — Лифшиц увидел в ней свидетельство того, что некоторые уроки дискуссии 1939–1940-х гг. о роли мировоззрения в творчестве художника, а именно идея «течения», гласящая, что даже реакционное мировоззрение может определенным образом открывать писателю путь к художественной правде, — были усвоены яростными гонителями «течения». Но усвоены, по мнению Мих. Лифшица, очень поверхностно, а потому, в конечном счете, и неверно. Итак, что же доказывает В. Ермилов в 1957 году?

«Писатель, о котором Горький сказал, что по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру, Достоевский с исключительной страстью и силой выразил в своем творчестве безмерность страданий униженных и оскорбленных людей под гнетом эксплуататорского общества и безмерную боль за эти страдания. И вместе с тем он же выступал против каких бы то ни было поисков путей борьбы за освобождение человечества от унижения и оскорбления. Он звал к покорности, примирению, смирению». Почему же такой бескомпромиссный критик унижения и противник оскорбления призывал отказаться от борьбы, смириться, покориться?»

«Период каторги и ссылки явился кризисным, переломным в развитии общественно-политических взглядов Достоевского, — продолжает В. Ермилов. — Он разуверился в возможности изменения, улучшения действительности путем революционной борьбы. Логика созданных Достоевским многих художественных образов была такова, что она нередко вступала в яркое, вопиющее противоречие с проповедью покорности и смирения. В этом смысле мы имеем право сказать, что Достоевский никогда не мог примириться с действительностью собственнического общества и со всем тем, что унижает человека. Но, разумеется, философия смирения, реакционно-утопическая надежда на самодержавие и православие, как на «опору» против того нового в действительности, что так страшило Достоевского, — против ужасов устанавливавшегося капиталистического общества с его разгулом хищничества, а также против грядущих революционных потрясений, — все это накладывало тяжелый отпечаток на произведения писателя. Идеализировать общественно-политические взгляды Достоевского, замалчивая или приукрашивая его непосредственно-политическую позицию отрицания революции, демократических идеалов, затушевывать борьбу реакционного и прогрессивного в мировоззрении писателя, означает идеализировать самое слабое в нем»<sup>[223]</sup>.

Новая логика В. Ермилова существенно отличается от того, что говорили противники «течения» в дискуссии 1939–1940 гг. Тогда В. Ермилов, В. Кирпотин, И. Альтман, Е. Книпович доказывали, что консервативные, а тем более реакционные взгляды художника безусловно *препятствуют* созданию полноценных художественных образов, что только *вопреки* реакционным чертам мировоззрения Достоевский и Толстой, Бальзак — великие писатели. В 1957 году, во время «оттепели», В. Ермилов ответственно заявляет, что затушевывать или приукрашивать «непосредственно-политическую позицию отрицания революции», «реакционно-утопическую надежду на самодержавие и православие» — нельзя, это было бы явным отклонением от исторической правды. Но Достоевский, рассуждает Ермилов, «против ужасов устанавливающегося капиталистического общества с его разгулом хищничества», он против всевластия денег.

Однако Ермилов, по мнению Лифшица, совершенно неправильно понаименовал уроки «течения» — он в 1957 году обратился к «букве» своих против-

ников, пытаюсь стать на уровень требований нового времени, «оттепели», но не понял духа этой «буквы». Достоевский, по мнению Лифшица, разглядел главный порок развития России второй половины XIX века, тот порок, который не поняли и не увидели либералы вчерашние и не видят либералы нынешние. Более того, вольно или невольно либерализм в России прошлого и настоящего является как раз формой развития и укрепления этого главного порока, суть которого, по мнению Лифшица, — внутренняя связь рынка, якобы прогрессивного, с самыми отсталыми и отвратительными чертами прошлого России: подлостью, бюрократизмом, унижением личности человека, одним словом — азиатчиной. Причем Достоевский критикует не столько явления первичного неравенства — экономического, сколько вторичные, психологические, выросшие на основе первичных. «Почему же, откуда же эта сила изображения вторичных явлений, которая посильнее будет любого другого?»<sup>[224]</sup>.

Достоевский в глубочайшей степени постиг истину первоначального христианства. Истина эта в изложении Лифшица гласит: нельзя быть счастливым в мире, если другие в нем несчастны. Тогда как в христианстве К. Леонтьева на первом месте были иные истины, совершенно чуждые Достоевскому. «Почему Настасья Филипповна не вышла замуж за князя Мышкина? Это была бы *ерунда*, — пишет в своих заметках о Достоевском Лифшиц и продолжает: — Их [пушкинской Татьяны, Анны Карениной Л. Толстого и Настасьи Филипповны Достоевского] сила — в трагической судьбе, иначе была бы *пошлость*, частичное, половинчатое, исключительное решение вопроса. Разве счастливый брак мог бы решить их проблему во всей глубине? И разве в достижении личного счастья теперь дело Настасьи Филипповны?»<sup>[225]</sup>. Арсений Гулыга измазал дегтем, по словам Мих. Лифшица, ворота Анны Карениной, изменившей своему мужу, и противопоставил ей Татьяну Ларину, которая отвергла любимого человека только потому, как полагает Гулыга, что «другому отдана».

«Анна Каренина — та же Татьяна Ларина, только нарушившая долг. Они сходятся в своей бескомпромиссности. Толстой, — продолжает А. Гулыга, — представил нам все смягчающие обстоятельства, мы любим Анну, жалеем ее, готовы оправдать ее. Тем не менее мы понимаем: для русской женщины того времени другой путь, кроме пути Татьяны, был заказан»<sup>[226]</sup>.

В споре с Мариной Цветаевой, пишет по поводу рассуждений А. Гулыги Мих. Лифшиц, «которая неплохо сказала, что Татьяне пришлось выбирать “между полнотой страдания и пустотой счастья”, А. Гулыга утешает нас идиллической картиной будущего. Татьяна могла бы народить своему генералу детей и была бы счастлива. Нет уж, — продолжает Лифшиц, — извините, счастливая генеральша из нее не вышла бы и не могла бы выйти...»<sup>[227]</sup>.

Почему? «Вовсе не потому, что ее внутреннее решение связывала внешняя сила, принудительная по отношению к нравственной свободе личности. Эта женщина не остановилась бы перед самым смелым пове-

дением, если бы в нем был выход, оправданный своим содержанием. Однако не забывайте, что Татьяна поняла натуру или, если хотите, историческое место Онегина. Она познакомилась с его избранной библиотекой, и это было для нее “исповедью сына века”. Она узнала, что этот человек, быть может, не только в пределах ее личного опыта, но и в истории ее народа и человечества — один из самых глубоких и в то же время самых несчастных людей, ибо, все понимая и не имея никаких иллюзий, он не имеет и возможности действовать, не является носителем какой-нибудь положительной силы.

Невозможность личного счастья с таким человеком, как Онегин, очевидна, — продолжает свою мысль Лифшиц, — на разочаровании во всем личном счастье не построишь. Любовь между мужчиной и женщиной предполагает наличие общего положительного идеала, хотя бы и мелко. У Онегина мелких идеалов нет, а то чувство, которое так захватило его при виде новой Татьяны, сочетающей в себе достоинство простоты и развития, безнадежно. Ибо такой идеал не может быть делом личного благоустройства двух любовников. Как они станут жить, где, в какой среде? Нет, лучше прямое несчастье, чем возможность унижить этот идеал. И героизм Татьяны не в том, что она осталась верной своему генералу, а в том, что она в минуту человеческой слабости Онегина остановила его, напомнив ему почти без слов, что с таким сердцем и умом, как у него, нельзя принять промежуточное решение, “эмпирическое”, а не безусловное, “ноуменальное”...»<sup>[228]</sup>.

Что касается Анны Карениной, то, по мнению Лифшица, «и в любви, не только в отказе от нее, может проявляться высокий характер, не знающий примирения с тем, что чуждо внутренней свободе личности. Поэтому и гибнет Анна, что любовь ее “ноуменальна”. Наплывы “эмпирии” для нее такое же крушение мира, как для Отелло мнимая очевидность измены его любимой Дездемоны. Но и Татьяна легла на рельсы, как вы не понимаете этого?»<sup>[229]</sup>.

Сильная сторона религии, по мнению Лифшица, заключается в выражении внутреннего протеста против одностороннего развития культуры со стороны «нищих духом», т. е. людей, отброшенных на окраину жизни прогрессом, ставших лишними для генерального направления развития. Среди таких людей и Анна Каренина, и Настасья Филипповна. Но Достоевский в отличие от религии протестует не против совершенства и прогресса вообще, его критика «направлена против *совершенства*, которое является *не моим*, а только *дано* мне. Против совершенства *сверху*»<sup>[230]</sup>. Иначе говоря, его критика направлена против срастания российского капитализма с азиатчиной. Но и наследие «матушки Азии» тоже двойственно: одно дело давление бюрократического государства, сросшегося с паразитическим капиталом, не дающим настоящей свободы для развития производительных сил, и совсем другое — архаическая крестьянская демократия, на которую сделал ставку Ленин в борьбе против тушиковой линии развития.

«Мой покойный друг Вл[адимир] Бор[исович] Келлер (Александров) первый начал рассматривать Достоевского как *критика капитализма*, — читаем в архивных заметках Лифшица. — А на самом деле Достоевский был критиком *отфеделенного типа капитализма*, не выходящего за пределы “буржуазности”, которую он так ненавидел.

В этом совпадении Достоевского с *народниками*. Не только в том его демократизм, что он описывает нищету, угнетенность. Не только *и не столько*, главное — моральная проблема. Не надо нам вашего пригибания [?] благоденствия. Это еще и у народников, но более реально, здесь же больше всего именно это — *преувеличение критики либерализма ведет в стан реакции*»<sup>[231]</sup>.

У шовинистов и ультра-националистов — тоже преувеличенная критика либерализма, но содержание этой критики у них совершенно иное, чем у Достоевского. Первые стремятся увековечить власть гнусной чиновничье-монархической системы, сраставшейся к XX веку с плутократией, созревшей у этой системы под крылом. Тогда как, утверждает Лифшиц, «а) критика Достоевского направлена *против слияния буржуазного общества с крепостничеством*; б) но в реакционной форме. Достоевский со своим монархизмом — крайнее выражение недостатков (но и горячей ненависти) буржуазно-демократической ступени русского освободительного движения, ступени различия»<sup>[232]</sup>.

Что это значит — быть против «слияния буржуазного общества с крепостничеством» для России конца XIX — начала XX веков? Это значит, к примеру, быть Настасьей Филипповной и Анной Карениной, а не госпожой Кукшиной, с одной стороны, и не Кабанихой, с другой. В цитированных выше заметках Лифшица обе героини — Достоевского и Толстого — не могут быть лично счастливы именно потому, в конечном счете, что другие несчастны. Настасья Филипповна протестует не просто против денег как таковых, она погублена как личность «слиянием буржуазного общества с крепостничеством», одним — но далеко не единственным — олицетворением которого в романе является ее покровитель. Это слияние породило еще более страшный тип, которому принадлежало большое будущее, — Смердякова, тоже протестующего против несправедливости. «Ново же у Достоевского то, что это сказано им на фоне начинающейся эпохи великого *сверху*, эпохи революций сверху и благоденствий, что имеет и свою экономическую основу = отделение всех благ от личности, внешний характер их присвоения, *громадность общественной системы, дающей эти блага без самодеятельного их обретения и в виде исключительного дара. Отчужденность рычагов совершенства. = Достоевский оказался пророком, ибо в следующем столетии страшно возросло количество благ и особенно возможность будущего при полной чуждости этой системы*»<sup>[233]</sup>.

Полемизируя со своим другом и учеником В. Александровым, Лифшиц пишет: «Все-таки главная проблема Достоевского это — гордость и унижение. [...]



Стр. 296, т. 9<sup>[234]</sup>. “Надрыв лжи”.

Тоска *по естественности* — нравственности без опосредования долгом, принудительной, хотя бы и интеллектуальной (та же проблема власти роковой в душе и унижения или протеста), без того дуализма или монархизма, о котором толковал и Герцен *раньше*.

Идея Зосимы и Алеши — нравственность любви; *любовь к ближнему без надрыва*. Казнить надрыв Достоевский может, но заменить его чем-то позитивным... увы. Основной враг нравственности — *фарисейство*: личина, лицемерие, либерализм, лже-демократия и лже-гуманность. Риторика, благодеяние, гордыня? — Но Достоевский мастер в изображении именно этой проблемы. В чем его достоинство переходит и в недостаток»<sup>[235]</sup>.

По мнению В. Александрова, «человек у Достоевского, — отмечает Лифшиц, — не жесток, не извращен *от природы*, а *социально определен*. Думаю, — продолжает Лифшиц, — что этого мало. Социально, но как? Ни в каком устройстве общества не избежать зла! [...]

Это будет до тех пор, пока не найдена *форма нравственности* (она может быть однажды найдена, “абсолютно”, как открыт был огонь и т. п.), будет до тех пор “жестокость и зло из души человека” как ответ на благодеяния»<sup>[236]</sup>.

#### Из архивной папки «Хор невылупившихся птенцов»

В 1950–1960-е гг. ряд молодых ученых, «младомарксистов», по определению Мих. Лифшица, охваченных духом «оттепели» и одновременно находившихся под покровительством тех, кого Лифшиц называл «старыми шимпанзе, цепляющимися за скалы» (Я. Эльсберг, А. Дымшиц, М. Храпченко и др.), выступил с критическими публикациями против «догматических» взглядов Мих. Лифшица. Критика велась с позиций, близких взглядам противников «течения» 30-х гг., но в более либеральном тоне. Что же могло привлечь молодых и не бездарных литературоведов, например, к Я. Эльсбергу? Как ни странно, родство душ: и старое, и новое поколение было людьми из «подполья», чья психология и логика раскрыта Достоевским, но, кажется, беспощадная критика Достоевским «подпольного сознания» не понята до сих пор.

«А вел он тогда, — рассказывает А. Лунгина об Эльсберге времен “оттепели”, — очень такой вольный семинар, где молодежь могла свободно высказываться, — он был большой либерал»<sup>[237]</sup>. Разумеется, предполагались «вольности» по части теории реализма и сначала скрытая, а затем все более откровенная апологетика «подпольных» идей, в которых Лифшиц видел суть авангарда. За этими литературоведческими спорами стоял важный вопрос, который можно сформулировать примерно так: проблема дня, по мнению Лифшица, — не абстрактное противостояние сил капитала и социализма в нашей стране, а та форма **сращения** псевдосоциализма с криминальным капиталом («теневики») и старой российской азиатчиной, которая гораздо хуже капитализма демократиче-

ского, «американского». Абстрактно-марксистские фразы «шестидесятников», естественно переросшие в антикоммунизм конца 80-х и последующих годов, способствовали, как и предвидел Лифшиц, «реставрации Бурбонов» и всевластию старой советской бюрократии, сросшейся с криминальным капиталом в наши дни.

В архиве Лифшица есть папка, на обложке которой написано: «Дело Давыдова и К°. “Хор невылупившихся птенцов”», в которой находятся вырезки статей В. Непомнящего и С. Бочарова 60-х гг. и др. материалы, в том числе и Ю. Давыдова, направленные против Лифшица. В верхнем правом углу этой папки написано: «Младотурки» (либеральное движение в Турции начала XX века, завершившееся шовинизмом и резней армян). Прогноз Мих. Лифшица оказался верным, бывшие либералы в литературоведении и философии оказались после 1991 года, подобно А. Чубайсу, «либеральными империалистами»: В. Непомнящий ныне — видный представитель православия в литературоведении, С. Бочаров написал серию сочувственных статей о К. Леонтьеве, а Ю. Давыдов, как и другие «младомарксисты» (Б. Шрагин<sup>[238]</sup>, к примеру), после перестройки Горбачева стал яростно обличать марксизм (первый — с позиций православия, а второй — западничества). Статья В. Непомнящего «“Абсурд оригинальности” или “абсурд всеобщности” (по поводу одной теоретической схемы)» (Вопросы литературы, 1964, № 8) направлена против известного памфлета Мих. Лифшица о В. Разумном<sup>[239]</sup>. В. Непомнящий в своей статье защищает теоретическую схему Разумного — концепцию «видения» с точки зрения «неомарксизма», цитирует Маркса. Статья В. Непомнящего была поддержана в печати А. Дымшицем (не исключено, что и опубликована при протекции последнего). Им обоим Лифшиц отвечал в своем памфлете «На деревню дедушке», но это большое эссе, набранное в «Новом мире» в 1965 году, не было пропущено цензурой, к большому огорчению А. Твардовского.

В своей последней книге, вышедшей уже посмертно, Мих. Лифшиц писал: «При виде тех удивительных фигур, которые часто описывает современная мысль вокруг таких явлений, как Достоевский и даже Пушкин, невольно приходит на ум опыт 30-х годов. А все-таки было же сказано разумное слово, зачем вы его не послушали? Затем, что старый догматизм, не выдуманный, а действительный, и современные восьмерки мнимого творчества не так далеки друг от друга. Друзья-враги помирятся. Но то, что им не показано и даже противопоказано, — это и есть действительное содержание взглядов “гносеологического” направления 30-х годов»<sup>[240]</sup>.

В архивных заметках под общим названием «Встречный бой в темноте» Лифшиц пишет: «Бочаров. Конечно, все это чисто научная полемика за исключением нескольких намеков типа Caveant consules<sup>1</sup>. Бочаров может не знать, что это такое, но Я. Эльсберг объяснит ему (как окон-

<sup>1</sup> Пусть консулы будут бдительны (лат.).

чивший гимназию)»<sup>[241]</sup>. В редакционном примечании первые публикаторы заметок Лифшица в «НЛО» указывают, что «наверняка имеется в виду статья: Бочаров С.Г. Статьи В.И. Ленина о Толстом и проблема художественного метода // Вопросы литературы, 1958, № 4 (спор с интерпретацией Лифшицем писательского мировоззрения в рамках его полемики с югославским публицистом И. Видмаром)»<sup>[242]</sup>. И, разумеется, дело не в том, что Я. Эльсберг окончил гимназию, а С. Бочаров — советскую школу, дело в том, что Эльсберг имеет большой опыт по части доношительства, кляузничества и всякого рода инсинуаций. Этот опыт он передавал тем, кого собирал под своим крылом (в тех же примечаниях от редакции публикаторы заметок Лифшица отмечают, что «С.Г. Бочаров работал в 1960-е годы в ИМЛИ под началом Я. Эльсберга»<sup>[243]</sup>). Конечно, не то важно, что С. Бочаров работал под начальством Эльсберга (представшего перед молодыми его сотрудниками в роли «большого либерала»), а то важно, какое реальное влияние он оказал: «по плодам их узнаете их».

В наши дни С. Бочарова (не лишенного таланта и известной добросовестности — в строго ограниченных пределах; так, например, он оценил анализ Лифшицем сцены охоты в «Войне и мире», отзывался, как рассказывал мне об этом Стэнли Митчелл, о Лифшице как о «трагической фигуре») не смущают крайне пренебрежительные суждения К. Леонтьева о Достоевском-писателе<sup>[244]</sup>, зато теоретики «течения», высмеивавшие подобные суждения о Достоевском как свидетельство невзыскательного вкуса, для него — схоласты, «благодаристы и вопрекисты как новое явление остроконечников и тупоконечников Свифта»<sup>[245]</sup>. Какая избирательная оптика, замечающая у «течения» то, чего у него не было, то, что приписывали «течению» его враги! Ведь именно В. Ермилов и В. Кирпотин обвиняли «Литературный критик» в том, что журнал якобы занимается схоластикой, обходя актуальные вопросы советской литературы. И не замечаящая «бревна» в глазу К. Леонтьева, перед которым С. Бочаров ныне всячески расшаркивается.

Впрочем, и по мнению литературоведа другого направления, марксиста-либерала В. Лакшина, дискуссия «течения» с оппонентами «со стороны могла казаться публике чем-то вроде схватки свифтовских остроконечников с тупоконечниками»<sup>[246]</sup>. Симпатии Лакшина вроде бы на стороне Лукача (о Лифшице он в связи с дискуссией 30-х гг. не упоминает): «Трудно было не заметить, что аргументы противников Лукача, например В. Ермилова, были обычно слабее, чем у его сторонников, а мнимая победа над его взглядами достигалась по преимуществу силовыми приемами — безапелляционным тоном, громыханием голоса. При этом порой с реверансами и оглядкой — будто охота шла на крупного и опасного зверя»<sup>[247]</sup>. Но странным образом Лукач у Лакшина оказывается «вопрекистом», тогда как «течение» доказывало, что не только вопреки, а в определенной мере и **благодаря** консервативным, даже реакционным взглядам такие писатели, как Аристофан, Бальзак, Достоевский и Тол-

стой, — великие художники. «Вопрекистами» стали в конце 30-х гг. бывшие вульгарные социологи и теоретики РАПП, которые, как В. Ермилов, отказались от своих прежних взглядов и стали поливать классиков мировой литературы «густым розовым сиропом» (Лифшиц), доказывая, что **только вопреки** консервативным взглядам Бальзак и Толстой состоялись как художники.

Статьи конца 50–60-х годов, опубликованные в центральных теоретических журналах страны «младомарксистами» против Мих. Лифшица, явно были инспирированы и поддержаны такими «гвоздилиными», как Эльсберг, Дымшиц, Храпченко. Если в 30–40-е годы на Лифшица доносили как на антимарксиста и декадента, то те же практически лица стали указывать на него доверчивой публике как на «догматика» (не прекращая доносы «в верхи» и как на «ревизиониста») — с помощью своих молодых коллег-«шестидесятников». Разумеется, не все «шестидесятники» стали на сторону Я. Эльсберга и В. Ермилова против Лифшица (о чем свидетельствуют, в частности, дарственные надписи Ю. Карякина<sup>[248]</sup> Мих. Лифшицу на его статья о Достоевском). Э.В. Ильенков (травимый и изгнанный из МГУ) самостоятельно открыл для себя некоторые важные идеи «течения» 30-х гг. (прежде всего философские), а затем, после личного знакомства с Лифшицем, относился к нему с величайшим и искренним уважением вплоть до своей трагической смерти в 1979 году. Так или иначе к Мих. Лифшицу прислушивались И.А. Дедков, Г.Г. Водолазов, И.И. Виноградов (последний, правда, затем, в наши времена, далеко ушел от своего учителя в прямо противоположную сторону) и многие другие, демократически настроенные «шестидесятники». Те же из них, что примкнули к Эльсбергу и Дымшицу с Храпченко, усвоили другие уроки. К сожалению, их точка зрения стала господствующей — прежде всего в либеральных кругах интеллигенции.

Дело в том, что Ю. Давыдов или С. Бочаров с В. Непомнящим стали в оппозицию к советской власти и марксизму именно потому, что врагами советской власти были их покровители, бывшие ортодоксы, спешно перекрасившиеся в либералов, а затем уже — в лице своих более молодых последователей — раскрывшие себя в качестве поклонников К. Леонтьева и В. Розанова. Последний, между прочим, в годы после первой русской революции призывал отдавать революционерок, подобных В. Фигнер, солдатам для удовлетворения физиологических потребностей последних<sup>[249]</sup>. Ныне же стала реальностью странная фигура «либерала-черносотенца», предтечей которой был доносчик Я.Е. Эльсберг. Тезис Я. Эльсберга, гласящий, что авангардистское искусство по-своему отражает реальность и на этом основании должно быть признано правдивым искусством, до сих пор остается главным аргументом в защиту авангарда против реализма.

Лифшиц в своей статье об Я. Эльсберге и его теории отстаивал мысль о важности **формы** отражения. Эта центральная идея классической теории искусства от Платона до Дидро и Гегеля была отброшена, как ни

странно, именно формальной школой в искусствознании XX века, поскольку содержание искусства рассматривалось ею не с точки зрения художественной формы, а *формально*. Значение формы отражения действительности не поняли и «младомарксисты», о чем наглядно свидетельствует книга Ю.Н. Давыдова «Искусство как социологический феномен» и заметки на ее полях Мих. Лифшица.

«Что же касается самой эстетической теории 30-х годов, — пишет Ю. Давыдов, — то она вполне закономерно превратилась, уже в 40–50-х годах, в теорию “чисто гносеологического” подхода к искусству, подхода, при котором ставился знак равенства между проблемой реализма, проблемой прогрессивности и проблемой истинности в искусстве, причем с акцентом на чисто формальном моменте — на сведении понятия реализма к определенной совокупности художественных приемов, тяготеющих к реализму XIX века»<sup>[250]</sup>. Говоря об эстетической теории 30-х годов, Ю. Давыдов, без сомнения, имеет в виду прежде всего Мих. Лифшица (в 60-е годы Лифшиц работал в секторе Института искусствознания, возглавляемом Ю.Н. Давыдовым, и вел ожесточенные споры, как свидетельствует сам Давыдов<sup>[251]</sup> и Н.А. Дмитриева<sup>[252]</sup>, с «младомарксистами», работавшими в этом секторе, в числе которых — Б. Шрагин и А. Пажитнов<sup>[253]</sup>), а также Лукача и «течение» журнала «Литературный критик». Обвинения «течения» в гегельянстве и «гносеологизме» были дежурными на протяжении многих лет.

Так вот, у Давыдова получается так, что идеи «течения» «закономерно превратились» в идеи его ожесточенных противников, т. е. в идеи В. Ермилова, М. Храпченко, Я. Эльсберга, В. Кирпотина, А. Фадеева и многих других, кто представлял собой философию, эстетику, историю искусства и литературы в 40–50-х годах. Мих. Лифшиц не мог в эти годы опубликовать ни одного слова и лежал глубоко на дне, его не знали даже Э. Ильенков и его друзья из МГУ до тех пор, пока не обратились с письмом к Лукачу по поводу перевода его книги «Молодой Гегель». Да, Ермилов украл кое-какие идеи у «течения», но не понял их и глубочайшим образом извратил и испортил. Даже неадекватная форма изложения украденных идей изменяет их смысл, не говоря уже о более существенных различиях самого содержания. Это различие заключается, например, в том, что для Лифшица реализм XIX века никогда не был образцом высокого реализма, напротив, с «мазней» передвижников он едва-едва примирился, доказывая в лекции 1938 года о русской иконе, что в «реализме XIX века наиболее ценным является то, что не является реализмом XIX века»<sup>[254]</sup>. Но Давыдов мыслит столь широко, что не обращает внимания на эти подробности, для него не важна форма, а важно якобы содержание:

«Поскольку для этой теории “социологический аспект” искусства остался за скобками (точно так же, как в свое время “гносеологический аспект” для социологии 20-х годов), — продолжает Ю. Давыдов, — постольку для нее осталась только одна внутренняя трудность — уже чис-

то гносеологического свойства: как отличить искусство, сведенное к его познавательной функции, от науки, у которой, как известно, нет иной специфической функции, кроме функции познания действительности. Это был тот самый вопрос, на который в свое время так и не смог ответить Гегель, впервые всесторонне обосновавший гносеологическую концепцию искусства»<sup>[255]</sup>. Против последней фразы Лифшиц поставил два знака вопроса.

«В самом деле, — развивает свою мысль Ю. Давыдов, — поскольку и в первом, и во втором случаях говорится об истинном познании, о познании истины, то содержание предполагается каждый раз одно и то же; различие, стало быть, отступает в область формы, делается формальным различием»<sup>[256]</sup>. В самом деле, женщину можно познавать научным путем, например, по анатомическому атласу, а можно познавать в любви, как это делала русская литература XIX века. Ясно, что поскольку и в том, и в другом случае речь идет о познании, то различие между двумя способами познания, согласно логике Ю. Давыдова, оказывается чисто формальным, т. е. несущественным. «*Дурак*, — пишет на полях Лифшиц, дважды подчеркивая это выразительное слово, и продолжает: А что такое форма? Как у меня, у Лукача трактовалась проблема формы? Содержание, но не рассудок».

«Так вот, — заключает свою критику “течения” Ю. Давыдов, — в связи с этой “злойбой дня” и углубляется ощущение недостаточности, односторонности чисто “гносеологического” подхода к искусству, побуждающее нашу эстетическую мысль конца 50-х годов искать новых путей, уже по ту сторону узкого круга, описанного толкованием искусства в качестве одного из инструментов человеческого познания»<sup>[257]</sup>. Подчеркнув в этой фразе двойной чертой слова «конца 50-х годов», Лифшиц комментирует их одним словом: «Эльсберг». «С этими поисками мы вступаем в третий этап развития сегодняшней мысли об искусстве», — пишет Ю. Давыдов, а Мих. Лифшиц уточняет: «С Эльсбергом, Храпченко синтез!» Именно так, синтез либерального «творческого марксизма» с дубовой ортодоксией!

Неужели так недалководны были наши властители умов, неужели столь примитивны и несостоятельны в научном отношении их идеи, не доросшие даже до эстетики Просвещения, открывшего всю глубину значения формы для искусства, причем именно формы познания мира, как подчеркивает на полях книги Ю. Давыдова Мих. Лифшиц? Этот риторический вопрос еще раз подтверждает старую истину: смысл, глубина и содержание идей определяются характером бытия, которое говорит через нас и благодаря нам. Какой голос говорил устами советского либерализма конца 1980–1990-х годов, мы с осязательной очевидностью можем судить по реформам Ельцина, Гайдара, Чубайса.

**11. МИХ. ЛИФШИЦ ОБ А.Ф. ЛОСЕВЕ, Д.С. ЛИХАЧЕВЕ,  
В.Ф. АСМУСЕ, Я.Е. ЭЛЬСБЕРГЕ и др.**

**а) Письмо А.Н. Столовичу от 15. III. 1961 г. [МАСТЕР-  
КЛАСС ПОЛЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА]<sup>[258]</sup>**

Переделкино  
15. III. 61

Дорогой Леонид Наумович!

Я виноват перед Вами — не ответил вовремя на Ваше письмо. Дело в том, что письмо и статья попали ко мне с опозданием. Я долго не ездил в Москву, да и некогда было, пришлось спешно работать. Утешаю себя тем, что моя консультация еще может Вам пригодиться.

Но прежде всего — не помню, поздравлял ли я Вас с переездом на новую квартиру. Так или иначе, на всякий случай еще раз — мы с Л.Я. очень рады за Ваше семейство и желаем счастья в новой резиденции. Поздравляю Имму<sup>[259]</sup> с недавно прошедшим 8 Марта и маленького Андреса<sup>[260]</sup> с наступлением весны (это уже, конечно, точно в срок).

Теперь относительно Вашей статьи<sup>[261]</sup>. По убедительности содержания — не худо. То, что Вы ловите Янкеля<sup>[262]</sup> на противоречиях, способности критиковать все, что он сам вчера писал, представляет собой лучшую, наиболее ценную часть Вашей полемики. Что касается формы изложения, то немного вяло. Это не касается вежливости тона — вежливость может быть убийственной. Под вялостью я имею в виду — прежде всего — тон оправдания, самозащиты. Не нужно, чтобы читатель думал, будто Вы оправдываетесь. Кто оправдывается, тот уже наполовину осужден. Читателю трудно разобраться в юридических тонкостях, да и скучно. Литературные агрессоры это прекрасно понимают. В таких делах «кто палку взял, тот и капрал». Поэтому, не переходя в агрессивный тон, нужно с самого начала показать, что Янкель не имеет никакого основания считать себя прокурором. Нужно отнестись к этой его претензии иронически и довести это до сведения читателя уже на первой странице (она у Вас особенно вяло и слишком серьезно написана).

Второе, чего, по-моему, следует избегать, это — позы молодого ученого, представителя нарождающегося сословия эстетиков. Серьезный пафос научных исследований мало приятен вообще (науку нужно делать, а не говорить о ней), особенно неприятен, мне кажется, в устах молодого человека, каким Вы, к счастью[, ] являетесь, и совершенно невыносим, когда речь идет об исследованиях эстетических (в которых обычно бывает больше заумности кустаря, чем толку). Оставьте этот тон болтуну Разумному<sup>[263]</sup>. Из содержания Вашей статьи я вижу, что в некоторых вопросах эстетики (это слово уже само по себе вызывает у меня чувство неловкости) мы с Вами единомышленники, и мне не хотелось бы видеть у Вас те недостатки, которые я всегда презирал. Меньше всего мне по-

правились в Вашей статье места, где Вы, с надлежащей скромностью, пишете об исследовательских трудах своих и всего коллектива ученых, трудящихся на ниве эстетики. Не стоит всерьез принимать позу молодого старичка. Лучше повеселиться. Наши ведомственные дела читателя не интересуют.

Вот две претензии к тону Вашей статьи. Я имею в виду, конечно, только отдельные места — остальное недурно. Частные замечания таковы. стр. 4 «приоритет изображения» — нехорошо.

5. не «саму возможность», а «самую возможность».

6. Здесь можно напомнить скотине Янкелю, что Каутский и К<sup>о</sup> издевались над «диктатурой пролетариата», т. к., дескать, эти слова едва встречаются у М. и Э. Могут быть «немногие цитаты», но принципиально важные.

8. Я бы хотел, чтобы Вы не ссылались на меня как на «одного из лучших знатоков эстетического наследия Маркса», а просто привели свидетельство человека, который читал конспект «Эстетики» Фишера<sup>[264]</sup>.

9. Здесь уже из общества Борева и Ванслова я прошу меня просто изъять, не хочу быть носителем коллективного пафоса исследователей-эстетиков даже пассивно, т. е. по Вашей вине.

10. «Итак, какие же основания для обвинения книги...» — пример интонации оправдания, кот. у Вас встречается. Только иронически можно говорить о том, что Вы в чем-то обвиняетесь. Переходите в наступление — самооборона выгодна для противника.

11. Зачем допускать возможность правоты Янкеля даже теоретически и притом в таком вопросе, где он просто гадит на марксизм? Какая такая «определенная установка» м. б. у такого беспринципного прохвоста, кот. врет на каждом шагу <...> неспособен выдержать <...>, не говоря уже о всей своей пошлой деятельности? Это у Вас все тот же пафос ученого «коллектива», мелкие печки-лавочки компании эстетиков от Эльсберга до Борева<sup>[265]</sup>. Не протягивайте ему палец и целее будете. У Вас общий список авторитетов, Янкель приводит другой, но все это, в общем, больше похоже на общее собрание, чем на литературную полемику.

16. На Ваш вопрос: «Неужели все, что у нас издается по эстетике, является всего лишь бесхозяйственной тратой столь дефицитной бумаги?» — смело отвечаю: да. Исключения настолько незначительны, что не меняют дела. Во всяком случае, Ваш полемический прием мне не нравится. Это прием демагогический — ссылка на монополию лиц, печатающихся на советской бумаге. Вы обращаетесь к милиции. Между тем, в данном случае лучше обратиться к обществу[,] жалуюсь ему на то, что Янкель всех критикует, на всех нападает, пользуясь фальшивыми аргументами, передержками, доносительски, клеветнически тож. Не надо становиться с ним на одну доску!

Теперь по поводу Вашего толкования рукописей Маркса (стр. 8)<sup>[266]</sup>. Что Янкель пишет вздор, это ясно. Маркс говорит в этом месте о красоте и величии вообще, а не о красоте и величии «человеческого общества,



индивидуальности». Но это место у М[аркса] не имеет никакого отношения к вопросу о том, каково происхождение прекрасного — принадлежит она [красота?] природе или обществу. Проблема, которая здесь разбирается, такова — возможно ли великое и прекрасное там, где прекращается стихийный, вещественный характер отношений между людьми, где эти отношения становятся сознательными, планомерными, разумными? Это историческая полемика против эстетизации, абсолютной эстетизации мира частной собственности. Этот ореол не абсолютен, он принадлежит определенной форме общественных связей. Но из этого частного суждения вовсе не следует суждение всеобщее. Если Вы пользовались этим местом для доказательства того, что прекрасное и возвышенное суть чувства, имеющие свое общественное основание в общественных отношениях, то Вы совершили полемическую натяжку, и обе стороны, т. е. и Вы и Янкель, в данном случае одинаково не правы. Кстати говоря, из трех ступеней развития, кот[орые] имеет в виду Маркс в этом месте своих экономических рукописей, более высокая форма сознательной организации общества, освобождая от вещественности человеческих связей, является в известном смысле возвращением к природе. Не забудьте, что вещественность буржуазных отношений является вместе с тем кратким и односторонним напряжением общественной формы. Короче говоря, вопрос не так прост. Я не читал статьи Янкеля против Вас, но не советую особенно размазывать тему общественного происхождения «эстетического». Лучше отделаться шуткой. Ведь в самом деле — здесь легко поскользнуться в сторону Макса Адлера<sup>[267]</sup>, Рубина<sup>[268]</sup> и других «общественников».

В моей хрестоматии это место из рукописи находится там, где ему положено быть. Пользоваться же цитатами из М[аркса] так, как у нас пользуются словами о «законах красоты», т. е. совать их в суп и в кашу, нельзя. Получается пустая схоластика, сильно «эстетическая», но вызывающая раздражение у читателя и у «одного из лучших знатоков эстетического наследия Маркса» — лучше бы, кажется, не пускать в обращение этой цитаты, кот[орая] так пленительно звучит на своем месте!

Повторяю, что лучше всего Ваша полемика там, где Вы доказываете беспринципность Янкеля — он сам признает общественный характер прекрасного, когда ему не приходит в голову, что против этого можно затеять дело. Развейте в таком направлении Вашу полемику, покажите в Вашем спокойном тоне, что перед нами двуликий Янус, пасквилянт, которому важно только крикнуть громче всех. Очень рад, что Вашему московскому собеседнику не понравилась статья Яго. У нас сейчас не любят шума, крикливости. Вот и развейте этот момент, доскажите то, что у Вас намечено, обвините его в крикливости, голословности и спросите, что, собств[енно], дает ему основание так разговаривать с другими, и есть ли за этим что-нибудь, кроме желания произвести шум, за отсутствием возможности другими средствами поддержать свой авторитет. Поставьте его в смешное положение, напомнив, к его досаде, что статья помещена в дискуссионном порядке, а начинается в таком грозном, об-

винительном тоне, как будто из нее должны последовать бог знает какие выводы, а между тем — руки короткие.

Думаю, что Митин<sup>[269]</sup> печатает Ваш ответ. Сейчас к руководящей работе в президиуме АН вернулся Юдин. Митин послушает его, а Юдин знает Янкеля еще с рапповских времен и настроен к нему весьма отрицательно.

Ну вот. Если моя критика местами была слишком резкой — извините, пожалуйста. Я отношусь к Вам с большой симпатией и не хочу смешивать Вас с другими молодцами, работающими на нашем эстетическом базаре. Я не хотел бы поэтому видеть у Вас их манеры. Нужно освободиться от них, и будет Вам польза, только польза — прочная и долговременная, следовательно, добро.

У нас в Академии назревает реорганизация, каких не было со времен матушки Екатерины, а пока что все находится в «ажидации», как говорил Лесков.

Всего доброго и привет семье.

Ваш Мих. Лифшиц

*б) Письмо А.Н. Столовичу от 19. VI. 1961 г.*

[19.06.1961]<sup>[270]</sup>

Дорогой Леонид Наумович!

Статью я прочел и в общем «одобряю». Хотя я взял это слово в гусиные лапки, как говорят немцы, Вам советую употреблять это вспомогательное средство пореже. Остроумие должно быть таково, чтобы гус[иными] лапками его усиливать не было нужды. Кроме того, минус на минус дает плюс; так же точно — ирония, взятая вдвойне, убивает самое себя. Мой первый совет — выбросить все лапки, там, где вы их поставили во имя иронии или для того, чтобы выделить какие-либо забавные выражения. Не надо — и так смешно.

Что касается более серьезных вопросов, то советы мои таковы.

<sup>1</sup> не говорите «природное происхождение» в отрицат. смысле, а говорите «чисто природное». У Вас где-то так и говорится, но это нужно провести во всем, иначе Вы создадите цитаты для Ваших врагов. Учтите, что при всех Ваших верных уточнениях, вы говорите еще не все и небольшой крен в сторону от природы у Вас имеется.

<sup>2</sup> На стр. 3 вижу изложение не отличается ясностью; так же, как и в предпоследней фразе 1<sup>ого</sup> абзаца на стр. 6.

<sup>3</sup> Советую выбросить «фундамент материи» на стр. 8. В фундаменте «прекрасное» м. б. и есть. Ведь в нем есть и потенциально-духовное, не так ли?

<sup>4</sup> Как это «гармония» присуща в равной мере не только прекрасным, но и безобразным явлениям природы? — Это показывает, что Вы действительно немного уклоняетесь в общественный «субъективизм».

5<sup>0</sup> На стр. 10 я бы выбросил цитату из Маркса как слишком фейербаховскую по терминологии.

6<sup>0</sup> Не надо каяться! Или, в всяком случае — меньше рвения. Скажите — да это неточно, ибо это не все, но не так страшно. Дело в том, что с таким же правом можно сказать «общественная форма»; но и «природная форма» не будет ошибкой. Советую выбросить этот пассаж, как не ясный Вам самому.

7<sup>0</sup> На стр. 17 что же изложение эстетич. свойств золота? Я не вполне понял. Свастика же — совсем не то. Эдак можно прекрасное в природе свести к уклонениям [? — неразб.]. Вам здесь не все ясно. Поменьше <...> [неразб.], ассоциаций, <...> [неразб.] психологии, принятых условностей и т. п. — это не общественная природа прекрасного. Последняя имеет, так сказать, свой принцип a priori<sup>1</sup>.

8<sup>0</sup> Что это у Вас нелады с «гармонией»? Что Вы на нее несчастную взъелись! Разве не говорил Ленин о «симфонии» и «какофонии» в обществе? Нужно выбросить (18 внизу).

Вам недостает, друг мой, все же знания истории эстетики. Не все можно заместить смелым кустарным рассуждением ad hoc<sup>2</sup>.

9<sup>0</sup> К таким кустарным рассуждениям относится, вероятно, рассуждение о том, что зрение и слух обслуживают человека в его общественных отношениях. Кажется, и в стаде и для одиноких природных существ зрение играет немаловажную роль. Оно, напр., обслуживает орла. Другой вопрос — какое зрение. Не в том ли дело, что зрение и слух, высшие чувства, стихийно приспособлены к познанию внешнего мира, «теоретические», а потому, конечно, и более связанные с обществ. развитием человека, чем обоняние. Однако Дидро и Гердер, а впоследствии — историки искусства и теоретики его, начиная с Гильдебрандта, считали, что зрение ничто без осознания.

Остальное не худо. Но будьте осторожны в формулировках, поскольку Вы беретесь за позитивное изложение вопроса. Противники Ваши не постесняются воспользоваться этим, а Ваша насмешка над тем, что сами они ничего положительно не говорят, не заставит их отказаться от их публичного ремесла.

Засим — будьте здоровы, благополучны и счастливы.

Большой привет Име и Андресу<sup>[271]</sup>.

Семейство кланяется

Ваш Мих. Лифшиц

Р. С. Меня заинтересовала статья Горанова<sup>[272]</sup>. Если Вы переписываетесь с ним — хорошо бы он прислал мне ее хоть по български, хотя это и не так просто разобрать (все же легче, чем по сръбски).

<sup>1</sup> Независимо от опыта, до опыта (*лат.*).

<sup>2</sup> Букв. «к этому»; для данного случая, для этой цели; кстати (*лат.*).

## в) Письмо Тиграну Семеновичу от 20. IX. 1971 г.

Москва, 20 сентября 71 г.

Дорогой Тигран Семенович!<sup>[273]</sup>

Извините, что я так поздно отвечаю на Ваше любезное письмо. К сожалению, мне пришлось, не разгибая спины и под угрозой типографских неприятностей, сидеть над версткой Гегеля, так что вся моя корреспонденция пришла в упадок. Я Вас, конечно, хорошо помню по Переделкино — в других условиях нам встречаться не приходилось.

Спасибо за внимание к моему скудному литературному творчеству. Портретный жанр, имеющий некоторое отношение к социальной истории нашего времени, действительно является одной из моих специальностей. В незапамятные времена первыми моими моделями были Храпченко<sup>[274]</sup> и Книпович<sup>[275]</sup>. Однако, как Вы сами понимаете, этот жанр не имеет широких возможностей и может применяться только с большими перерывами. На перерывы падают последствия таких критических выступлений, которые бывают обращены на самого пишущего и обычно затягиваются. Не было еще такого случая, чтобы моя портретная живопись не послужила к возвышению ее оригинала на лестнице общественного благополучия.

Статья о Мариэтте Шагинян напечатана во втором номере «Нового мира» за 1954 г. Вместе со статьями Померанцева, Абрамова и Щеглова она послужила причиной очередной смены редакции этого злосчастного журнала. Все подробности, сопровождавшие сей эпизод, я сообщать не буду. Обращаю только Ваше внимание на ругательные статьи самого грубого типа по нашему адресу во всех органах печати за 1954 г. Мне особо была, кажется, посвящена статья Агапова в «[Литературной] Г[азете]», где этот бывший автор журнала «Бизнес» учил меня партийности<sup>[276]</sup>. Разумеется, положительных откликов в письмах я получил не мало и, что меня особенно радовало, среди них были также отклики из Армении.

Ровно десять лет спустя в том же «Новом мире» и снова во втором номере была напечатана еще одна моя статья портретного жанра под названием «В мире эстетики». Ее также много читали, она вызвала шум и протесты, висела некоторое время на волоске, но в конце концов дело обернулось для автора сравнительно благополучно, не в пример тому, что было на десять лет раньше. Если Вы любитель таких полемических древностей, я позволю себе рекомендовать Вашему вниманию и эту статью.

Со своей стороны я также имею к Вам небольшую просьбу. В Ереване проживает очень симпатичный мальчик, который писал мне в связи с моей книжкой «Кризис безобразия». Он отслужил в армии и хочет теперь поступить в вуз и надеется стать, как он пишет, «эстетиком». Фамилия его Петросян Р.С. (кажется, Радик), адрес: I Агюсагорцери 17, Ереван 18. Мне бы хотелось, чтобы Вы пригласили его к себе и побеседовали с ним. Может

быть, он нуждается в помощи для поступления или просто в моральной поддержке. Словом, поддержите мальчика, из него будет толк.

С искренним товарищеским приветом

г) *Письмо А.В. Македону от 4. XI. 1973 г.*

Москва 4. XI. 73 г.

Дорогой Адриан Владимирович!<sup>[277]</sup>

Не мог Вам до сих пор ответить по причине мифов. Только два дня назад я, наконец, закрутился. Написано, конечно, скороговоркой и многое осталось в стороне, нет очень важных моментов, приготовленных мной и даже просто необходимых для полноты именно марксистского освещения вопроса. Но что тут сделаешь? Скандал издательский достиг своего апогея, и мне ничего другого не осталось, как покончить с этим делом условно. В статье<sup>[278]</sup> и так 182 страницы. Я не касаюсь в ней мифомании, «Иосифа и его братьев»<sup>[279]</sup> и всей этой скучищи, а только мифологии в старом, серьезном ее понимании. Прочел я действительно бездну литературы, убедился в том, что еще больше осталось непрочитанным, но, пожалуй, больше и не нужно или, во всяком случае, все остальное нужно только для деталей.

Некоторые модные темы, конечно, мною затронуты — миф как коллективный солипсизм первобытной общины, социология религии Дюркгейма, Кассирера, Леви Стросса. Что касается Лосева, то я его не упоминаю, несмотря на наличие у него завиральных идей. Я отношусь к нему с некоторой нежностью и уважением. Вспоминаю тридцатые годы, когда его прислали ко мне с письмом от самого верха на счет того, чтобы устроить к печати его историю эстетики. Мы с ним немало в те времена говорили — он был заядлый идеалист в шпенглеровском духе и много у него было такого, что можно было прочесть в тридцатые годы у немцев. Уступать он не хотел, но несмотря на это мы подружились. Возможно, что под влиянием этих разговоров Лосев начал более серьезно относиться к марксизму. А недавно старик просто умилил меня — плакался полчаса, жалуясь на мальчишек, которые ничего не испытали, а между тем рассматривают марксизм как одну из тысячи теорий. «Я не могу так, я все это своим горбом испытал, я потратил десять лет на изучение этой литературы». Пришлось сказать ему, не без ехидства, что в области марксизма он меня давно обогнал. Что он понимает под этим именем — бог весть. На марксизм это, конечно, не похоже, но он полон ортодоксии с головы до пят.

Что касается его познаний в специальной области античной филологии, то они велики, мне до этого далеко, как до звезды небесной. Это, действительно, наука, т. е. нечто, требующее пота и крови. Впрочем, я тридцать лет назад как-то спросил у покойного академика М. Покровского, какого он мнения о Лосеве. «Помню, — говорит, — был такой, сдавал у нас министерский экзамен — ничего не знает!»

После этого я спросил Лосева, какого он мнения об Асмусе. «Как же, — говорит, — помню. Бегал сначала ко мне, потом к Деборину. В античной филологии — полный невежда».

Так-то относительно все измерения на свете!

Что касается Ваших соображений об античной культуре и ее социальной основе, то они, разумеется, совершенно правильны. Статья Лосева о Сократе имеет свои слабости, но это все же — первая посмертная реабилитация этого философа, чья казнь признавалась правильной всеми нашими Дынниками<sup>[280]</sup>. Лосев сделал шаг вперед, боюсь только, что он не был оригинален, а склонился в более верную сторону под влиянием рукописей Ильина<sup>[281]</sup>, которые внимательно читал.

Мне будет интересно познакомиться с тем, что Вы пишете о Сократе и платоновских «Диалогах». Конечно, это реализм, иногда даже жанровый. Но, вообще говоря, что такое реализм? Только *истина* — больше ничего. Неужели мало такого реализма даже у Гомера и Гесиода? Как все на свете, реализм имеет свои полюсы, свою внутреннюю антитетику. Усвоить все это вне диалектической системы понятий, т. е. в духе ходячей эмпирической эклектики, невозможно, и наш друг Юрий Михайлович<sup>[282]</sup>, продавшись обывательщине, должен был принять и это. «Погибшее, но милое создание». Может быть, что-то еще проснется в нем с годами, а впрочем, он человек хороший.

Книгу французского автора я не читал. В моей статье о мифах я немного пишу о вселенной Больцмана и возможностях другой «подтасовки» реального мира. Нужно будет отыскать Вашу книгу, но у меня немедленно наступили другие судороги — сроки, обязательства. Книга моя в «Художественной литературе» вышла, т. е. имеется сигнальный экземпляр. Как долго будет продолжаться печатание — не знаю. И не буду горевать, если задержится. Боюсь, что получилась ни богу свечка, ни черту кочерга<sup>[283]</sup>.

Желаем здоровья, поздравляем с праздником, спасибо Р[аисе] А[брамовне]<sup>[284]</sup> за ее труды по перепечатыванию Ваших писем, которые иначе без Шамполиона не разберешь.

А[идия] Я[ковлевна] кланяется

Ваш М. А.

д) Письмо А.В. Македонову от 18. XI. 1980 г.

Москва. 18. XI. 1980 г.

Дорогой Адриан Владимирович!

По возвращении из отпуска нашел к себе Ваше письмо весьма серьезного содержания, но не успел на него ответить, потому что заболел.

В этом году никого не поздравлял, но — лучше поздно, чем никогда. Поздравляю Ваше испытанное в революционных боях семейство с Великим Октябрьским праздником.

Вы знаете, как я Вас люблю и уважаю, и надеюсь, поверите, что мне не хочется спорить по содержанию тех вопросов, которые Вы затронули в своем сентябрьском письме. Но если я обойду их молчанием, это будет, пожалуй, выглядеть недружелюбно или даже высокомерно.

Вы прекрасно доказали, что дом терпимости лучше, чем бардак. Но согласитесь, что разница иногда довольно тонкая. Вам, например, не нравится последняя повесть Катаева и, в качестве критика, Вы, может быть, хотите выразить свое отрицательное мнение в печати, но едва ли сделаете это. Что же Вам помешает — терпимость или нетерпимость? Кажется, я прав, и одно не лучше другого. Вы меня Пол Потом, а я Вас Катаевым.

Сама эволюция этого писателя, еще недавно игравшего роль фестона на фасаде культа личности, потом — кумира всех поклонников «потока сознания» на западный лад, теперь неожиданно объявившегося хранителя традиций деникинского «Освага», весьма характерна<sup>[285]</sup>. Вы спрашиваете, кого я называю «новыми правыми»? Тех, кто еще недавно был шибко «левым», а теперь, по остроумному выражению одного писателя, «долевел» уже до монархизма<sup>[286]</sup>. Я мало знаю о Лихачеве, но отношу его к тем, кто хотел бы вернуться к идеям дооктябрьской буржуазной интеллигенции, а там уж кто им нужен — Милюков или Пуришкевич, мне, простите, все равно. Я затронул имя Лихачева потому, что он меня чем-то раздражает. Конечно, Лихачев — порядочный человек, но, как сказал однажды Фридрих Энгельс, нет худшей сволочи, чем порядочные люди.

То, что буржуазная демократия лучше фашизма, известно еще со времен «Краткого курса». Но вот уже во второй раз на наших глазах одно переходит в другое, рождает «новый консерватизм», к сожалению, увлекательный для молодежи. Так во всем мире. В прекрасном фильме Феллини «Репетиция оркестра» этот круговорот хорошо показан. Я не мню, конечно, что мои писания могут в этом что-нибудь изменить, но, по крайней мере, на Вас они могли бы произвести некоторое впечатление. Стало быть, не дал мне бог способности убеждать умы, а Вы еще возлагаете на меня какие-то надежды! Хорошо и то, что, дорвавшись, наконец, до терпимости, я могу иногда высказать мои крайние взгляды.

Спасибо большое за Ваше поздравительное письмо!

Мы оба поздравляем Р[аису] А[брамовну] и желаем вам всего самого лучшего.

#### ***е) [Внутренний] Отзыв о статье В.Ф. Асмуса «Шиллер как философ и эстетик»***

Работа В.Ф. Асмуса заслуживает высокой оценки. Она совершенно правильна по мысли, вполне компетентна по своей фактической основе и научному анализу, отлично написана.

Единственный недостаток, на мой взгляд, состоит в следующем. Мне очень понравилась первая часть (стр. 1–27), хорошо излагающая фило-

софию культуры и эстетику Шиллера с точки зрения ее общественного содержания, более или менее ясно понятого самим Шиллером. После этого автор переходит к «собственному содержанию» эстетики, к «вопросам и решениям эстетической *теории* — независимо от того, каким образом сам Шиллер пользовался ими для решения проблем культуры и т. д.» (стр. 27). Таким образом, теория — в значительной мере, если не совсем — отделяется от «проблем культуры», т. е. общественного содержания.

Такое изложение эстетики Шиллера также полезно читателю, хотя более правильно было бы продолжать анализ теории в духе первой части, не отделяя ее «собственное содержание» от более широкого и стараясь определить специфические, «собственные» проблемы и решения эстетики на основе этого более широкого общественного содержания.

Но здесь, кажется, у нас пункт старого несогласия<sup>[287]</sup> с В.Ф. Асмусом, что, однако, нисколько не умаляет моего уважения к его трудам и взглядам.



## **В. МИХ. ЛИФШИЦ О ДОСТОЕВСКОМ (ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАНЕЕ ТЕКСТОВ)<sup>1</sup>**

*Эстетические взгляды Маркса (начало 1930-х годов) // Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, с. 11–282 (см. также: Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, 2; Собр. соч., т. I):*

*Отдел первый. От революционной демократии к научному коммунизму (с. 55–175):*

К 1841 году центром левогегельянского движения в Берлине становится журнал «Атеней». Если общество Бауэра, Кеппена, Маркса можно сравнить с московскими кружками 30-х годов, то среда «Атеней» более напоминала позднейших *étanciprés* в изображении Тургенева или Достоевского. Занятый своей работой над докторской диссертацией, Маркс чувствовал себя одиноким среди гегельянствующих берлинцев с их философским бахвальством и мнимой революционной иронией, отдающей запахом пивного заведения Гипшеля, где собирались эти потрясатели основ (с. 83).

*Стыдливая социология (1936) // Литературное обозрение, 1936, № 8, с. 36–41 (см. также: Надоело, с. 368–377):*

Всякому школьнику известно, что Гоголь был в высшей степени противоречивой фигурой. Он первый после Пушкина сделал шаг вперед к реализму, полному самой убежденной и горькой критики. Творчество Гоголя в немалой степени послужило всемирному значению русской литературы, ее революционным традициям. Но у Гоголя была и другая сторона. Оставшись в глубоком одиночестве, оторванный от народной почвы, разочарованный в европейской цивилизации, он пережил самого себя, отрекся от своих лучших произведений и резко повернул к реакционной поповщине. В бесплодных мистических исканиях позднего Гоголя берет начало пресловутая «русская душа», которая впоследствии, благодаря Достоевскому, Вл. Соловьеву, Бердяеву и Мережковскому, приобрела такую популярность в международной литературе контрреволю-

---

<sup>1</sup> Составлено А.П. Ботвиным. Подборка содержит, в виде исключения, два неопубликованных материала: запись устного отзыва Мих. Лифшица о Достоевском, сделанная М.Г. Михайловым и не вошедшая в публикацию его воспоминаний о Лифшице по формальным причинам, и фрагмент лекции о добре и зле, необходимый для понимания формулы «Я нищим не подаю» как определения абстрактного марксизма Мих. Лифшицем и «течением» 1930-х гг.

ции, а там пошла гулять по свету, опускаясь все ниже и ниже, пока не докатилась до г-на Розенберга и его друзей (с. 36–37).

*Пушкин и его время. Главы незавершенной работы (конец 1930-х годов) // Очерки русской культуры, с. 162–226:*

Н.И. Надеждин, один из представителей темного и довольно реакционного демократизма, с которого начинала в России литература «третьего сословия», был очень оригинальной фигурой. Он обладал незаурядной ученостью, следил за развитием немецкой философии и отличался даже известной самостоятельностью мысли (Надеждин только в общих чертах принимал учение Шеллинга). Но все это у него имело довольно странный оттенок. В некотором отношении можно считать, что он был предтечей Достоевского. Тот же мелочный и запутанный фрагматизм стиля, моральная суетливость, какое-то смакование нечистых сторон действительности, изображаемых с подозрительным рвением полусвятого. Даже в именах литературных бесов, действующих в фельтонах Никодима Надоумки, — Тленский, Флюгеровский, Чадский, есть что-то от Достоевского (с. 185).

*Заметки об оптимизме Пушкина (глава из неопубликованной книги) // Альтернативы, 1999, № 2, с. 59–90 (книга писалась в 1930-е годы):*

Были писатели, любившие жизнь, и после Пушкина. Известно, например, каким массивным жизнелюбием отличался проповедник аскетизма Л. Толстой. [...]

Есть своеобразная, торопливая любовь к жизни и у Достоевского. Его преступники и святые стремятся к одной и той же цели: раздвинуть границы дозволенного, изведать до конца, что можно человеку. Это своего рода мученики; им нужно дойти до предела безумия или низости для того, чтобы узнать, стоят ли на прежнем месте Содом и Гоморра. Даже мелкие пакоствники, отвратительные пиявки, вроде капитана Лебядкина, выполняют у Достоевского нравственно-полезную миссию. Чем униженнее положение человека, чем больше на нем грязных пятен, тем легче жить, тем меньше ответственности. Как древний циник или юродивый, человек становится свободным и святым. С него уже нечего взять. Более того, своим нечистым подвигом он освящает менее последовательную, повседневную гнусность своих собратьев. Тут имеется даже какая-то любовь к человечеству. Снять табу с жизни — вот смысл моральных опытов Ставрогина, экстазов Мышкина, чудовищной фантазии Кириллова. Немудрено, что Достоевский сделался любимейшим писателем западно-европейской буржуазной интеллигенции.

Толстой и Достоевский — писатели огромной силы. Но их отношение к жизни — у каждого особое — совсем не похоже на отношение к жизни

Пушкина. И легко заметить, что это различие не чисто количественное, не различие степени оптимизма, а качественное. У каждого из этих писателей есть свой внутренний принцип, своя историческая сфера. Было бы неправильно предложить современному читателю выбор между Пушкиным и Толстым.

«Все хорошо в своем роде». Но, как верно заметил еще Чернышевский, роды бывают разные. Научиться понимать своеобразие Пушкина в русской литературе — неперенное условие для выработки современного художественного вкуса.

Всякая односторонность смешна. Нельзя сказать, что только Пушкин велик, а Державин или Толстой должны быть понижены в должности. Но, кажется, можно сказать так: тот, кто не понял Пушкина как особый художественный тип, не сумеет и в произведениях Толстого отделить живое от мертвого, истинно прекрасное от испорченного тлением. Как ни различны формы художественного творчества, природа искусства лучше всего познается там, где она развернулась полнее всего. Недаром говорит старик Аристотель: «Какой является каждая вещь, когда ее сущность находится в полном расцвете, это мы и называем природой каждой вещи, например: человека, коня, дома» (с. 64, 65–66).

Белинский, с одной точки зрения, Достоевский, с другой, беспощадно казнили Алеко и его эгоизм, прикрытый внешним свободолобием. В этом они были правы, но не совсем и не до конца. Конечно, Алеко эгоист, но он не подчиняется ни законам цивилизованного общества, ни обычаям первобытного племени. За это народный голос устами старого цыгана и произносит над ним свое проклятие. Но Алеко не только виноват, но и глубоко несчастен, и его несчастье больше всего занимает Пушкина. [...]

Пушкин не становится на сторону бедного цыганского племени, он не изображает в Алеко и пионера цивилизации, устанавливающего в пустыне закон белого человека. Он просто показывает, что герой его драматического повествования, а в лице этого героя и все человеческое общество, застряли со своей одинокой телегой между первобытностью и высшим развитием культуры (с. 85, 86).

*Народность искусства и борьба классов (1938) // Собр. соч., т. II, с. 245–292 (см. также: Надоело, с. 378–447):*

Мы можем сказать, что Некрасов — поэт, отразивший непосредственно чаяния, интересы разночинства, крестьянства. Но как быть с Пушкиным? Ложно и неправоммерно рассматривать его с одной точки зрения, только в одной перспективе — как предшественника Некрасова или Льва Толстого. Пушкин — «солнце русской поэзии» — был связан с дворянством всем своим мировоззрением, культурой, образом жизни, любил эту жизнь, знал в ней вкус и толк и никакими свойствами своей

поэзии, своих взглядов, своей личности не похож на людей эпохи Некрасова, Толстого, Достоевского, Чернышевского. Это совсем другой тип художника, ценимый последующими поколениями, но от них глубоко отличный. Как можно понять Пушкина без его аристократизма? Между тем эта его особенность требует объяснения, так же как объяснения требуют проявления монархизма, выступающие в парадоксальной форме в его воззрениях. И, несмотря на все это, в позиции Пушкина было больше подлинного демократизма, чем в программной прогрессивности либеральной части тогдашнего общества. Такой анализ мудрости Пушкина до сих пор еще не сделан (с. 278).

*Что такое классика? (Записи разных лет) // Что такое классика?:*

(По-видимому, запись 30-х годов. — Сост.)

Не является ли источником трагедии революционного движения нечто более широкое, чем «просвещенный деспотизм» революционеров? — Сама необходимость пользоваться старыми методами для реализации новой идеи? В таком виде это уже та постановка вопроса, которая была дана немцами еще в XVIII веке и в конце концов привела к антиреволюционным выводам Гегеля — и далее до Достоевского. Это в банальном, но ультрареволюционном виде повторяется и у Лассалья (с. 51–52).

*Необходимые разъяснения (Тайны мадридского двора) (1940) // Почему я не модернист? С. 366–376 (Эта статья, набранная в 1940 г. в «Литературной газете», была в последний момент отклонена редакцией издания без объяснения причин. Публикуется впервые по верстке, хранящейся в архиве Мих. Лифшица. — Сост.):*

Е. Книпович приводит еще один убедительный аргумент. Дело в том, что Бальзака любили не только Маркс и Энгельс. «Горячую приверженность к Бальзаку чувствовали и некоторые немецкие декаденты. Только для них Бальзак был не разоблачителем, а певцом мерзавцев. Героев Бальзака декаденты воспринимали как нищенских демоноидов, как модернизированных кондотьеров, как достойный подражания пример».

Попали, что называется, пальцем в небо! Стендаль вообще был открыт в декадентские времена, что и неудивительно, ибо в произведениях Стендаля имеется гораздо больше материала для восхваления «модernизированных кондотьеров», «нищенских демоноидов». Если вам это неизвестно, обратитесь к самому Ницше. Стендаль является для него любимым писателем, почти таким же авторитетом, как Достоевский. Ницше относит Стендаля (вместе с Наполеоном и Гейне) к «европейцам будущего» (с. 374–375).

*Художественный метод Бальзака (1935–1941) // Собр. соч., т. II, с. 294–348 (Статья была опубликована отдельными частями в разное*

*время. См.: Литературная газета, 1939, 26 мая; Литературный критик, 1940, № 11–12; Бальзак об искусстве. М., 1941 (предисл.). — Примеч. ред.):*

Вотрен не просто преступник. Он выражает собой воплощенное самосознание преступной основы окружающего его общества, олицетворение морального безразличия, присущего буржуазной цивилизации. «Кто хвастается неизменностью убеждений, кто берет на себя обязательство всегда идти прямым путем, тот глупец, верящий в свою непогрешимость. Принципов нет, есть лишь события; законов нет, есть лишь обстоятельства; тот, кто выше толпы, приноравливается к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Если бы существовали неизменные принципы и законы, нации не меняли бы их, как мы меняем сорочки. Отдельный человек не может быть мудрее целой нации».

Стендаль также описывает историю морального компромисса в общественной психологии после революции 1789 года. Но он еще слишком близок к этому процессу, в его изображении чувствуется тончайшая личная прикосновенность к переживаниям «погибшего поколения» начала XIX века. Общий тон повествования усталый и созерцательный. Стендаль менее социален, чем Бальзак, его пленяет исчезающе малая красота души, стоящей на грани добра и зла; психологическая сложность этого положения показана, впрочем, превосходно. Ницше считал Стендаля вместе с Достоевским величайшими психологами, Бальзак является, в его глазах, вульгарным плебеем. И в самом деле, «Человеческая комедия» опирается больше на фактическую сторону уже созревшей психологии различных слоев буржуазного общества (с. 339–349).

*О русской культуре и ее мировом значении (1943) // Очерки русской культуры, с. 7–94:*

*Лекция первая («Русский сфинкс») (с. 7–24):*

Больше известна русская проза второй половины XIX века. Русский роман оказал большое влияние на западноевропейскую литературу и практически явился для нее новым словом. До восьмидесятых годов можно говорить о влиянии главным образом Тургенева, а с восьмидесятых годов известность и признание получили такие гиганты нашей литературы, как Толстой и Достоевский. Они явились миру тогда, когда у немцев действовали Ауэрбах, Шпильгаген, Фрейтаг, а у англичан такие поэты, как Теннисон, Браунинг, в прозе же трудно подобрать соответствующие имена. И даже у французов, которые знали в этот период таких выдающихся прозаиков, как Флобер и Мопассан, все же мы не сможем найти художников слова, равновеликих нашим гениям — Толстому и Достоевскому. Расцвет западноевропейской литературы скорее относится к первой половине XIX столетия, чем ко второй. И не случайно

значение русской литературы во второй половине XIX века отмечалось Энгельсом, когда он говорил о русском романе наряду с романом скандинавским, равно как и Лениным, когда он писал о всемирном значении, приобретаемом в конце XIX и в XX веке русской литературой (с. 9).

Несомненно даже то, что влияние нашей прозы во второй половине XIX века не только не соответствовало ее полному и глубокому значению, но оказалось односторонним. Из нашей литературы западноевропейские авторы часто черпали совсем не то, что являлось в ней значительным и наиболее ценным, а брали иногда то, что в ней было слабым и односторонним.

Достаточно указать на то, что мы не можем пока говорить о глубоком влиянии на Западе наших великих революционных демократов — Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Они еще там неизвестны или известны в очень малой степени. Кто действительно широко известен, это Достоевский, и часто Достоевский слабой, реакционной стороной своего гения оказал даже отрицательное влияние на западную литературу. Например, в Германии он значительно повлиял на Ницше, во Франции — на ряд полудекадентских, полумистических течений. Вообще из литературы нашей Родины, выражающей наиболее цельно сущность русского народа, западноевропейские публицисты создали странное представление, легенду об особой русской душе, чрезвычайно далекой от западного человека, полную своеобразного коварства и противоречий, душе скифов, душе, отличающейся особенной вязкостью, опасной и приводящей к нигилистическим результатам, или, как ярко выразился французский литератор Мельхиор де Вогюэ, приводящей к чистому отрицанию, к чистому нигилизму. Это то же самое, что говорил Бисмарк о русском слове «нитшего» как характеристике русской души.

Это мнение широко распространено. Вспомните, например, «Волшебную гору» Томаса Манна, где некая мадам Шоша с узкими монгольскими глазами воплощает высшую женскую протоплазму, такие глубины и тонкости, из которых вырваться очень трудно.

Примерно такое же представление мы находим в поэме немецкого поэта Стефана Георге или в более вульгарной и реакционной бульварной прозе. Мы постоянно находим этот вульгарный взгляд, легенду об особой славянской душе на страницах военной реакционной публицистики, фашистской и околофашистской, и у Розенберга, и у прочих столпов этой премудрости.

Мне пришлось читать как-то циркуляр министра аграрных дел гитлеровского правительства, руководство для чиновников, работающих на Востоке по собиранию продовольствия, по изъятию хлеба и других продуктов питания, т. е. по ограблению нашей страны. Этот документ очень любопытен, ибо представляет собой какую-то смесь Ницше и Достоевского на розенберговской основе. В этом циркуляре давались указания чиновникам о необходимости остерегаться русской природы и особенно

русских женщин, т. к. русская женская душа необычайно расслабляет и очень опасна, тлетворна по своему духу, и что нужно бороться против ее влияния.

Я рассказал вам об этом, чтобы дать некоторое представление о том контрасте между сущностью мирового значения русской культуры, действительным содержанием ее и тем фактическим положением, в котором она находится. Думать, что, изложив тот или иной отзыв о том или ином влиянии нашей литературы на западную, мы исчерпали тему о значении русской культуры в мировой культуре, было бы неправильно. Вопрос о влиянии не совпадает с вопросом о внутреннем объективном содержании, об идеале русской культуры. Это влияние еще впереди.

Я хотел указать и на то обстоятельство, что для нас тема русской культуры — это не тема сравнений чисто количественных, формальных сопоставлений с Западом. У вас Бетховен, а у нас Глинка, у вас Бальзак, а у нас Достоевский. Здесь дело не в количественных расчетах и не в подобном сравнении. Овладеть русской культурой — это задача прежде всего для нас самих, наше собственное дело (с. 10–11).

### *Лекция вторая (с. 24–43):*

Прежде всего я хотел бы обратить внимание на основную тему русской литературы XIX века. Она была Достоевским когда-то сформулирована как тема «русские скитальцы и народ». В нашей литературе мы знаем немало таких скитальцев, начиная с Алеко и Онегина, лишних людей Тургенева, искателей истины Достоевского до прозы Толстого, наиболее социально определено и декларативно выразившего содержание этой темы. Вы помните Оленина в «Казаках» или Нехлюдова, ученого, помещика, воспитанного человека, который вышел из общественных верхов. Все они, и Оленин, и Алеко, — индивидуальности, ищущие соединения с материнским лоном, ищущие дорогу к правде и в ходе этих поисков осознающие глубокую пропасть, лежащую между ними и народом (с. 27).

У Достоевского в его публицистических статьях, в «Дневнике писателя» есть любопытные воспоминания о тех днях, когда он был на каторге. Тяжелейшими днями были для него дни праздников, когда преступники начинали поножовщину, смертельный бой. Страшная картина, которая должна была действовать на сердце такого человека, как Достоевский, с немалой силой. Были там и политические, поляки, сосланные после подавления польского движения. Они переносили это чрезвычайно тяжело. Тяжело переносил это и сам Достоевский до того дня, когда встретил одного поляка, который сказал ему: «Я ненавижу этот народ». И тут ему вспомнилось далекое детство, когда он зашел в кустарник, в лес и услышал крик: «Волк бежит!», а выскочив из кустов, увидел мужика, пашущего на лошади. Не помня себя от страха, он уцепился за него, и этот крепостной мужик Марей успокоил его. «И до сих пор помню я, —

говорит Достоевский, — тот грязный, запачканный черной землей палец, которым этот мужик Марей коснулся моих дрожащих губ и сказал: “Ишь ты, сердешный, как испугался. Я тебя обороню”, — и пошел проводить мальчика.

Достоевский изображает Марю забитым мужиком, но человеком, обладающим силой, человеком, к которому должен обратиться ищущий правды русский скиталец.

Особенно эта тема развита Достоевским в его речи о Пушкине. Он выдвигает в качестве характерной черты Пушкина его глубокую народность, соединение в его творчестве типа русского скитальца, с одной стороны, и типа русской красоты — с другой.

Прав ли Достоевский? Я думаю, что прав.

Что скитальцы были и в западной литературе, это несомненно. Что западная литература в лучших своих элементах народна, это тоже несомненно. Но ни в одной литературе нет такого напряжения, нет сознания такой глубокой пропасти между скитальцами и народом и нет такого страстного стремления к уничтожению этой пропасти, как в нашей литературе, людьми из дворянской интеллигенции, которые объединяются, как в нашей литературе. Это отмечено не только нами, но и писателями Запада.

Я хотел указать и на другую сторону этого явления, на то, что Достоевский назвал положительным типом русской красоты. К этому типу он относит Татьяну, некоторых лиц из «Капитанской дочки», Пимена из «Бориса Годунова». Пимен — цельный народный характер, воплощающий голос народа, рассматривающий беспристрастно все содеянное народом и воздающий по заслугам правому и виновному средствами, которыми обладает историк, средствами историка, средствами исторической правды.

Думаю, что и в этих своих мыслях Достоевский также прав, фигура Пимена дает возможность перейти к более идеальной форме, представленной нашей культурой. Это та форма, которая устанавливается уже в древности, хотя бы тогда, когда действительный или предполагаемый Пимен составляет свою летопись или свои летописные своды. Конечно, Пимен — это художественный образ, созданный фантазией художника, и все, что сделано по разоблачению этого образа исторической наукой, нам известно. Я вспоминаю слова Шахматова о том, что рукою нашего летописца водили не надмирные интересы, а весьма реальные материальные страсти. И многие авторы высказывались в таком же духе. Но все же я думаю, что Пимен не просто выдумка Пушкина, а собирательное лицо, воплощающее в себе известные, вполне объективные черты реальности.

В самом деле, летопись наша в отличие от исторических сочинений многих других народов, современных ей или более ранних и более поздних, имеет своеобразный параболический, библейский характер. Это то, что можно было бы назвать священной книгой народа, а не каким-нибудь индивидуальным и личным произведением. Если мы возьмем наиболее



старые произведения классической литературы, как, например, «Историю франков» Григория Турского или сочинения графа Нитгарда о периоде, связанном с франкской монархией, ее наиболее цветущем периоде, или немецкие хроники, часто использовавшиеся для характеристики киевского периода нашей истории, Дитмара Мерзебургского, то мы всегда найдем в них личную субъективность историка, противостоящую некоторым определенным образом констатируемым внешним чертам. Личность, выражающаяся в биографических и автобиографических подробностях, в совершенно определенной субъективной морализации, так и светится в этих книгах. Я даже не говорю о более поздних хрониках, носящих уже совершенно определенный рыцарский и антинародный характер, хрониках Фруассара или Шарьена (...) (с. 28–29).

*Лекция третья (с. 43–68):*

В качестве черты, которую мы обнаружили прежде всего в русской литературе, можно назвать ее подчеркнутую духовность. Такова литература XIX века, и ее основная тема — русские скитальцы и народ, как ее определял Достоевский. Тема осознания всей глубины отрыва, откола верхних слоев от народной почвы, тема, отмеченная особым радикализмом в решении вопроса о заполнении этой пропасти. Эта тема в литературе XIX века не является чем-либо новым для русской культуры, она имеет глубокие и отдаленные корни в прошлом (с. 43–44).

Согласно всем этим теориям (М.П. Погодина, Киреевского, Хомякова, К.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского. — А. Б.), основной грех нашей истории — это грех петровских реформ и вообще того отдаления от старорусских начал, которое произошло в XVIII веке. Когда русский дворянин надел иноземный кафтан, когда началось бритье бород, вот здесь и началось то, от чего страдает русский народ.

Для славянофилов излечением от всех зол был возврат от этих общественных условий к тем, которые якобы господствовали когда-то и представляли собой русскую идиллию. Идиллию нерасчлененной общности снизу и, соответственно этому, цельного нравственного духа и преданности личности коллективу в более высокой сфере.

Чтобы сделать более понятной слабость этого толкования русской культуры, односторонность и однобокость его, я бы напомнил формулировку, которую дал великий русский писатель Достоевский. В речи о Пушкине, которую я уже цитировал, он говорит: «Смирись, гордый человек, и послужи на народной ниве».

Вот вывод, который, по убеждению славянофилов, должен сделать читатель из истории Алеко, Онегина, всех лишних людей XIX века, всех предков Евгения Онегина, начиная с Ордин-Нащокина, вывод, который приводит всегда к катастрофе нравственной, заканчивающейся либо коленопоклонением перед простой народной сущностью, открытием свое-

го старца Зосимы, своего Платона Каратаева, либо полным нравственным уничтожением личности.

«Смирись, гордый человек» — такова формула, которую в конце концов все славянофильское течение вывело из народности русской литературы и ее культурной традиции, формула, конечно, и односторонняя по своей тенденции, и исторически неверная, поскольку она не свойственна русскому народу в лучших проявлениях его национального духа. Там же, где она имеет какую-то реальную опору в жизни, там она к лучшим его созданиям не принадлежит, но является выражением отрицательных сторон нашего исторического развития (с. 48).

#### *Лекция четвертая (с. 68–94):*

У Владимира Соловьева в его книге «Национальный вопрос в России» есть не лишнее интереса замечание. Он говорит: «Мы должны помнить, что мы, как народ, спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением».

Сходные идеи вы найдете у самых различных авторов. А т. к. наши замечательные писатели-психологи XIX века доказали свое умение понимать жизнь, надо верить им и в этой области. У Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена, Достоевского мы находим постоянно одну и ту же мысль об исключительной восприимчивости русского человека к самым различным формам и элементам культуры, принадлежащим разным нациям.

Вот мнение Белинского (у которого термин «самоотречение» и взял Соловьев). Белинский говорит: «Петр выразил собою великую идею самоотрицания случайного и произвольного в пользу необходимого, грубых форм ложно развившейся народности в пользу разумного содержания национальной жизни. Этою высокою способностью самоотрицания обладают только великие люди и великие народы, и ею-то русское племя возвысилось над всеми славянскими племенами; в ней-то и заключается источник его настоящего могущества и будущего величия» (с. 73–74).

Наряду с упругостью неизменно подчеркивались динамизм или «нестойкость» русского народа, состоящие в том, что он никогда не присоединяется к какой-либо односторонности, но всегда умеет воспринять различные точки зрения, которые выступают перед ним, сохраняет способность к иронии. Отсюда особенность, говорит Сазонов, сказывающаяся ярко в литературе, — наша склонность к иронии, к осмеянию самих себя.

Прошлое нашей литературы в значительной степени это наблюдение оправдывает, потому что едва ли у какого-либо другого народа мы найдем произведения такой свободы духа и такого спокойного осмеяния своих собственных односторонних недостатков.

Быть может, самое значительное, что сказано по этому вопросу, было сказано, конечно, Достоевским в его знаменитой речи о Пушкине и очень хорошо в романе «Подросток», где действует герой, воплощающий эту осо-

бенность и эту черту нашего народа, черту восприимчивости и умения впитать в себя все то, что может быть воспринято положительно, из жизни и культуры других народов. Эта личность в «Подростке» — Версилов, русский дворянин, который считает себя одним из немногих представителей русской культуры за границей, который сумел лучше понять дух чуждой культуры, даже лучше, чем немец, француз, англичанин понимают собственный национальный характер, и который при этом все же остается русским.

«Я эмигрировал, — продолжал он, — и мне ничего было не жаль позади. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею. Но, служа так, я служил ей гораздо больше, чем если бы я был всего только русским, подобно тому, как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен.

Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем же условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, т. е. еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу России, ибо выставляю ее главную мысль. Я — пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня так испугала, и даже не Тюильри, а все, что должно последовать. Им еще долго суждено драться, потому что они — еще слишком немцы и слишком французы и не кончили свое дело еще в этих ролях. А до тех пор мне жаль разрушения. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Так консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия

живет не для себя, а для мысли, и столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем достигнуть Царствия Божия».

Вот некоторым образом почти пророчество относительно миссии русского народа.

В речи о Пушкине Достоевский формулирует свою мысль более определенно, применительно к характеристике гения Пушкина. Наряду с первой чертой великого поэта, чертой глубокой народности, идущей от старой русской основы, он отмечает и другую черту — всечеловечность гения Пушкина, который способен был погружаться в литературу всех других народов и передал нам и мир английской песни, и балканский мир — мир западных славян, и дух Корана. Все многообразие Пантеона мировой культуры воспроизведено в его гениальных творениях.

Указывая на ряд аналогичных явлений на Западе, Достоевский говорит, что, отдавая дань гениальности Сервантеса, Данте, Шекспира, мы не найдем у них того, что находим у Пушкина. И надо сказать, что соображения эти верны, и справедливость этого наблюдения не подлежит сомнению.

Это не означает, что западноевропейская культура хуже нашей. Дело не в том, что одна хуже, а другая лучше. Дело в своеобразии нашей культуры, которое придало ей как последней исторически явившейся большой европейской культуре характер собирательный, характер способности воспроизводить на более высокой ступени различные элементы культуры других народов (с. 74–76).

Я уже приводил много примеров из литературы XIX века — Белинского, Достоевского, — и можно было бы умножить эти примеры. Из них видно, что способность воспринимать общеевропейские достижения культурного развития, как и вообще элементы культурной жизни других народов, рассматривается передовыми людьми XIX века не только как способность высших образованных сословий, но и является некоторым образом и общенародной чертой (с. 81).

В качестве иллюстрации я возьму национальный вопрос. Национальный вопрос, который стал для Европы в значительной степени роковым. Он завел ее в тупик беспардонного шовинизма, в очень сложную ситуацию, из которой выбраться Европе будет очень трудно. В России же этот национальный вопрос всегда принимал совершенно другие формы, и можно сказать, что всечеловечность, о которой говорил Достоевский применительно к Пушкину, соответствует тому отсутствию национализма, который бесспорно отличает рядового русского человека, обыкновенного крестьянина.

Действительно, отсутствие национализма и связанной с ним узости, которая при всем прогрессе очень сильно давала себя знать в Западной Европе, отличает нас от нее самым коренным образом.

Я знаю, что национализм есть и в нашей стране, и имел случай наблюдать его. Но те явления национализма, которые мы встречаем в нашей жизни, конечно, не связаны с толщей народа, в которой их нет (с. 82–83).

*Иван Николаевич Крамской в его перетиске (1953) // Труды Академии художеств СССР. М., 1985, вып. 3, с. 138–161:*

Время, когда пришлось действовать И.Н. Крамскому (после крестьянской реформы и закрытия «Современника»), было очень сложным. Сложность его состояла в том, что общественные вопросы, поставленные революционной эпохой 1859–1861 годов, не были решены, а только отложены царской реформой и запутаны развитием капитализма в прежней бюрократической, сословной, наполовину еще феодальной оболочке. В этот новый период большое влияние приобрели такие сложные писатели, как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Революционное подполье окрасилось в народнические тона (с. 139).

Борьба против равнодушия к общественным нуждам всегда была первой мыслью художника, но это не значит, что он хорошо понимал, как помочь этим нуждам, какими путями русский народ может прийти к осуществлению своих прав на счастье и развитие. Несколько ложных шагов, более заметных на фоне жизни Крамского, чем у других, были вызваны не равнодушием к цели, а незнанием пути. Защитником «благородных мыслей» от паразитов, борцом идейности против карьеризма он оставался всегда. В этом было значение всей его жизни.

Не мало ли этого? Что такое идейность без верного знания пути к осуществлению прав своего народа? Было бы мало при наличии у Крамского какой-нибудь вялой, абстрактной теории. Его спасает отсутствие слепой уверенности, спасительного утешения в духе «всечеловечности» Достоевского, «непротivления злу» Толстого, веры в патриархальный уклад славянофилов и народников.

Правда, Толстой и Достоевский оказали известное влияние на Крамского. В письмах художника можно найти и «христианский социализм», и «религиозный атеизм». Иногда Крамской полусерьезно называет себя славянофилом. Но все это остается у него на поверхности, даже тогда, когда ему не дает покоя желание выразить эти идеи в искусстве. Настоящее содержание его внутренней жизни другое (с. 150).

*Франко-русские культурные связи (1956) // Мифология, с. 401–406 (Опубликовано в журнале «News. A Soviet Review of World Events», 1956, № 11):*

Удивительную способность перевоплощения, поэтической симпатии к образу жизни других народов, которая с такой наглядностью прояви-

лась в истории русской поэзии, Достоевский назвал «всечеловечностью». Устами одного из героев романа «Подросток», Версилова, он говорит об отношении образованных русских людей прошлого века к памятникам западной культуры: «О, русским дороги эти старые камни, эти чудеса старого мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!»

Формула всечеловечности не была личным созданием Достоевского. С некоторой кривизной, присущей этому гениальному писателю, она выражает общую мысль русской литературы девятнадцатого века, ясно выраженную уже наставником и антиподом его — В.Г. Белинским. Большая или меньшая широта национального склада является следствием исторической судьбы народа. Так или иначе, эта черта облегчила подъем братского интернационализма, охватившего широкие массы бывшей царской империи в годы Октябрьской революции. Она получила научное выражение в идеях Ленина. Любой добросовестный наблюдатель должен будет признать, что «всечеловечность» живет в рядовом советском гражданине как не стираемое ничем предчувствие грядущего братства. Ее легко узнать в той теплоте, с которой наша публика встречает каждого доброго вестника чужой культуры. Политика, направленная в сторону сближения народов, развития культурных связей между ними, популярна в Советском Союзе (с. 401–402).

*Письмо Г. М. Фридендеру (1960) // Почему я не модернист? С. 307–328:*

...Вы достаточно благополучный товарищ и могли бы безупречно и безопасно прожить хорошую жизнь — никто бы не упрекнул Вас за это. Так нет же, тянет человека в болото какая-то достоевщина. Что же Вы думаете, зря Вас гладят по шерстке? Вы нужны этой клике литературных чиновников и хриstopродавцев, нужны не только потому, что Вы образованны и кое-чему научились у старых друзей, а еще потому, что Вы сговорчивы и оказываете себя готовым на приспособленчество. Стало быть, из Вас можно сделать орудие против такого аутсайдера, как я. И действительно — сделали. Избавьте меня от необходимости доискиваться, сознательно или «объективно» Вы стали картой в их игре... (с. 313).

...И это Вы говорите в такое время, когда все свиное стадо устремилось против марксизма, когда главная опасность состоит в безыдейности, беспринципности, явном и прикрытом крикливой ортодоксией ревизионизме! (с. 323).

...Я понимаю, что Вы можете еще апеллировать к науке. Совпадение Вашей новой позиции с потребностями свиного стада — чистая случайность. Вы добросовестно занимались собственными исследованиями

и в ходе этих исследований пришли к существенным разногласиям с Вашими предшественниками. Разве этого не бывает? Зачем непременно подозревать Вас в дурных намерениях? (с. 324).

*Ветер истории (1960) // Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, с. 387–441 (см. также: Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, 2; Собр. соч., т. I):*

...Не менее трагичен другой случай. Тот, кто хочет достигнуть необходимого слишком поспешно, полагаясь на закон «исторической попутности», по выражению Герцена, или желая присвоить себе плоды прогресса «на шаромыжку» (как сказал черт в беседе с Иваном Карамзовым), также работает в пользу фатальных сил. Перехитрить судьбу нельзя, форсировать и приневолить успех в известном смысле можно — однако тем хуже будет реакция событий на следующем этапе. Историческая попутность — коварная вещь, она также может перейти в свою противоположность. В иных случаях судьба «тянет» людей в нужную ей сторону с большей пользой для них, чем для тех, кого она мягко «влечет». История обманывает своих фаворитов, когда они слишком полагаются на благоприятный ветер, ибо привычка сидеть у нее за спиной приводит к большим неожиданностям и может стоить моря крови... (с. 419–420).

*Что такое классика? (1961) // Что такое классика?:*

Жизнь вне истины (то, что «нужно человеку») — (1961 год) (с. 333–339):

[...]

Цель оправдывает средства. Иезуитизм, бланкизм, нечаевщина, великий инквизитор = разрыв между средством и целью, прогресс и революция сверху. При этом *всякая мелодрама* и «грязные руки» возможны, но *корень зла* не в средствах, а в *отрыве действия от массы*. Этот *отрыв действия, сознательной агенции* от темной массы находит себе отражение в теории утилитаризма просветителей и английских радикалов етс. В просветительском «эгоизме» и «взаимной эксплуатации» бездна разобщенности с объектом наших действий. (На полях: Драма нравственности: разрыв *субъекта и объекта* в этике — включая революцию (коммунизм), которая хотя и является великим протестом, но зависит от своего времени, тоже противоречива. Этот разрыв в двух формах: а. Благодетели, б. Демоны. Либеральный и нечаевский элемент. «Бесы».)

Это переходит в *социализм уже в древности*, уже в Азии, вероятно! Благодетели должны *обманывать и действовать сверхсредствами* на пассивную массу, ведя ее к благой цели. Достоевский верно ухватил эту сторону в старом социализме, по существу буржуазном или собственно-

ческом (древность), но *сам остается в этом мире*, только приходит к религиозному сокрушению.

А. Абстрактность в честности, чистоте, бескорыстии («честное сознание», вся мировая литература, Достоевский) переходит в *противоположное*, в бесконечность, в обман («Викарий?») ... (с. 337).

*Разговор с чертом (начало 1960-х гг.) // Советская Россия, 5 сентября 2002 г., с. 3–4; Свободная мысль, 2012, № 3–4. — См. в наст. изд.*

*Капитализм и буржуазная культура (1962) // Философская энциклопедия, 1962, т. 2, с. 447–455:*

Великие писатели бурж. эпохи — Стендаль и Диккенс, Достоевский и Толстой, посвятили критике бурж. отношений замечат. страницы (с. 448).

*Немезида (1963) // Экономические науки, 1990, № 10, с. 61–77 (см. также: Надоело, с. 496–525):*

Обычные аргументы, выдвигаемые против коммунистов в настоящее время, — это обвинения в том, что, исходя из анализа чисто экономических интересов, марксизм рассматривает сознательную деятельность вообще под углом зрения целесообразности, а потому будто бы неизбежно приходит к формуле, связанной с правилом ордена иезуитов: «Цель оправдывает средства». На этом обвинении построена громадная антикоммунистическая литература, включая сюда и реакционные утопии, образцом которых является книга Д. Оруэлла «1984», в которой изображена будущая Англия, превратившаяся в тоталитарное государство во главе со «Старшим братом», где люди подавлены, а жизнь их лишена всякого смысла, где общество превращено в шигалевское стадо, пасомое посредством современных технических средств. Ясно, что для этой карикатуры Оруэлл воспользовался некоторыми чертами культа личности, но ясно и то, что при помощи таких романов осуществляется защита буржуазной лжедемократии. Ради этой цели коммунизм отождествлен с идеями «Великого Инквизитора» из Достоевского, т. е. с карикатурной стилизацией общественной целесообразности, во имя которой будто бы следует пойти на любые жестокости. Есть большая литература о том, что настоящим предком коммунизма является не кто иной, как Нечаев (с. 65).

Наши противники говорят, что история последних десятилетий доказала, будто марксизм — не выход и не спасение от общественных бедствий и противоречий, ибо в нем самом проявилось действие вечных законов — законов добра и зла. Когда человек берется за оружие, за любое техническое средство, он уже потенциальный преступник, и толь-



ко глубокое осознание духовной катастрофы может его спасти. Так утверждает современная буржуазная философия, обвиняя марксизм в том, что он будто бы отрицает значение нравственных проблем, увлекает человека «техническим эросом» и делает его безответственным орудием определенной социальной группы, ради успеха которой все дозволено.

Эти господа утверждают, что Фрейд или Ясперс, не говоря уже о Достоевском, глубже Маркса и Ленина. Ведь история революций, говорят они, доказывает, что любая классовая борьба не спасет от вечных проблем, от преступлений демонической личности, от трагедий добра и зла.

Но дело не только в людях чужого лагеря. Попробуйте сказать, что вы никогда не встречались с такими взглядами в обывательских разговорах у нас. Может быть, вам повезло, а мне приходилось слышать нечто подобное, и притом от людей, в которых я не подозревал ничего худого, которых я даже уважаю за их полезную практическую деятельность. Если не экзистенциализм, не фрейдизм, то какие-то отвлеченно-гуманные речи у нас тоже не редкость: «Вы нам все говорили о классовой борьбе, а есть общечеловеческие проблемы, и они — главное. Надо быть хорошим, добрым, порядочным — вот ключ ко всему».

Разумеется, надо быть порядочным, хорошо быть добрым, но в больших исторических масштабах такими плоскостями не проживешь. В них слышится голос пошловатого сомнения в общественном содержании марксизма, той великой идеи, которая двигала массами в период Октябрьской революции и ведет нас к коммунистическому обществу. Мне кажется, что такие сомнения, как и различные карикатуры на марксизм, — это две стороны одной и той же медали. Одно питает другое.

Да, мы всегда говорили о классовой борьбе и не отказываемся от этого. Но верно ли, что наше учение — вне нравственности, вне добра и зла, что с нашей точки зрения, как говорит одно известное лицо у великого поэта, «нет правды на Земле»?

А что же есть? По-видимому, только сила, «острие против острия», как говорят китайские теоретики. Они говорят также: пусть погибнет в атомной войне большая часть человечества, зато оставшиеся создадут цивилизацию еще более прекрасную, чем та, которая существовала.

Может быть, и суждены человечеству большие утраты, но люди, которые основывают свою идею общественной пользы на такой арифметике, не могут создать никакой цивилизации. Они могут только укрепить в массах боязнь подобных экспериментов, зависящих от людей, действительно похожих на Инквизитора из Достоевского, не знаю только, сохранить ли за ним в настоящее время титул «Великого».

Попробую показать на нескольких примерах, что с точки зрения марксизма нравственный закон в истории существует. Больше того, только марксизм и есть та философия, которая может по-настоящему обосновать существование этого закона (с. 66–67).

*В. Досталу, 26 ноября 1963 г. // Письма, с. 39–45:*

О книге Бахтина<sup>1</sup> много слышал, но сам не читал ее, а только просматривал. Думаю, что это модная формалистика, старье двадцатых годов, снова увлекающее сердца, не имеющие никакой другой начинки. Основная идея — полифония романов Достоевского. Хотел бы я видеть такого романиста XIX века, который не писал бы в полифоническом стиле. А впрочем, может быть, в конкретном анализе, там и есть что-нибудь хорошее, не знаю (с. 43).

*Проблемы эстетического воспитания в философии русских революционеров-демократов (Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов) (1958–1963) // Поэтическая справедливость, с. 257–317:*

Белинский особенно ценит в Пушкине его способность отзываться на все оттенки мировой культуры (то, что впоследствии Достоевский, на своем языке, назвал «всечеловечностью» Пушкина). Эта черта является, по мнению Белинского, не специальной принадлежностью образованных русских, а свойством, присущим самому народу: брошенный волей истории в поток великих испытаний, русский народ не может остановиться на половине дороги. Он не может придать окончательной формы своему национальному характеру, не преодолев тех односторонностей, которые приобрели консервативное значение в жизни других наций Европы, рано погасивших в себе пламя революционного движения или на время отставших от этого движения ради чечевичной похлебki мещанского благополучия (с. 272–273).

*Лекция на тему «Добро и зло» (1964) // Архив М.А. Лифшица, папка № 447, машинописная стенограмма:*

...Свою первую марксистскую книжку я получил из рук одного молодого человека, постарше меня, такого смышленного, хорошего говоруна, может быть, немножко карьериста, но карьериста не такого, как мы сейчас представляем себе карьериста, такого сидящего угрюмо, такого «заугольного», как у Щедрина говорится, наращивающего техническое сало и ждущего свой черед, когда, наконец, он сможет занять какое-то место, а такого, который вокруг себя много пены подымает. Такой вам совершенно не известен, такой тип карьериста, потому что такие провинциальные Дантоны, вроде этого моего знакомого, они закончили в большинстве свой жизненный путь в 30-х годах. А в настоящее время такой тип карьериста потерпел бы, я уверен, фиаско уже сразу же, на старте, никакого успеха он не имел бы.

<sup>1</sup> (Сноска 70 из цит. изд., примеч. — с. 230.) См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.

Шли мы однажды с ним, рассуждая, и где-то в пыли южного базара заметили нищего лирика с его заунывной песней: «Ой дайте мне, дайте, ни минайте». И тут я услышал от моего ментора, наставника по марксизму одну формулу, которая, должно быть, крепко запечатлелась в моем молодом мозгу, если я ее до сих пор не забыл. Он мне сказал: «Я марксист и нищим не подаю». (Смех.) Формула чрезвычайно емкая, товарищи, чрезвычайно емкая формула, и прежде всего я хочу в его пользу сказать, что он, собственно говоря, выразил то, что он сам прочитал в хороших источниках и выразил какую-то умную мысль. Он что хотел сказать? Что филантропической гомеопатией социальных несчастий не устранишь, наоборот, человек, который вынимает из кармана 5 копеек и дает их нищему, этот человек — лицемер, он затемняет истинное положение вещей, ту социальную борьбу, которую надо вести для того, чтобы устранить корни всякого нищенства, всяких бедствий на Земле. Разве против филантропии не писал еще Лессинг в XVIII веке? Разве Фурье в его критике моралистов не доказал, что человек, делающий мелкое добро своему ближнему, откупается от него, что он — лицемер, который освобождает себя от подлинной ответственности тем, что дает ему какую-то мелочь из того неоплаченного долга, в котором он перед ним? Но, как вы помните, кстати, в «Бесах» Достоевского генеральша Варвара Петровна, дама эмансипе, которая одно время вращалась где-то в кружках в Петербурге и которая была в курсе всех тогдашних идей, она ведь тоже объясняла, что она понимает, что благотворительность — это зло, не в благотворительности решение социальных вопросов. Ее весьма сатирически представил в этом пункте Достоевский. А ведь в самом деле, вместе с тем, есть и другая сторона в этом рассуждении, есть сторона, которую вы сразу заметили, когда стали смеяться, которая делает нашего марксиста, не подающего нищим, своего рода аморалистом. Ведь что такое нравственность? Начнем с положительной стороны этого пункта. Нравственность — это близкодействие общественных отношений...

*О рукописи А.И. Солженицына «В кругу первом» (1964?) // Вопросы литературы. Июль 1990. С. 75–83 (см. также: Почему я не модернист? С. 567–580):*

Конечно, дело не только в литературной технике. Здесь есть более глубокий вопрос. Прав ли против нас, при всех наших худших ошибках и более чем ошибках, прав ли против нас тот старый сытый, благополучный мир, которому и сейчас труднее достигнуть царствия небесного, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко? Правы ли кадеты и «веховцы», которые еще до революции шумели о грядущем хаме, о неизбежном торжестве формулы «цель оправдывает средства», о революционном цезаризме? Прав ли тот обыватель, который ни в чем не участвовал, коллективизацию не проводил, не делал и многое другое, в чем добро смешивалось со злом иногда в очень невыгодных пропорциях? Мне кажется, если

воскресить Толстого и Достоевского, эти великие нравственные авторитеты русской литературы скажут, что не прав.

Возьмем в качестве примера роман Анатоля Франса «Боги жаждут». Конечно, масштабы жертв, связанных с эпохой террора во Франции, не те. Но и ставка другая, и широта (темнота) массы, принимающей участие в историческом движении, — все это другое. Значит, в известном смысле сравнение возможно. Анатолий Франс не щадит якобинцев, и честных и бесчестных, ибо людей бесчестных, карьеристов и убийц среди якобинцев было достаточно. Но из его романа вовсе не следует, что Эварист Гамлен, погубивший больше людей, чем жалкий Рубин, — это нравственный урод или дурак. Историческое дело — скользкая вещь, но его нельзя судить с точки зрения домашней нравственности. Человечество скажет: они сделали плохо и нужно делать снова — до тех пор, пока не сделается лучше. Печальный опыт лежит в основе трагического очищения.

Да, но в таком случае все оправдано? Во все нет. Ибо есть разница между людоедом и волкодавом, как сказал Нержину Спиридон. И хотя трудно бывает провести эту грань — в ней единственная истина жизни.

У Солженицына есть и другая формула: «лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой». Она тоже хороша, но не так безусловна, как первая. Если эта формула означает уход от всякого исторического дела в неделание, если она ограничивает нравственную жизнь частными отношениями добра и зла, тесным кругом немногих верных товарищей, сильных людей, закаленных тяжестью обстоятельств, то в ней нет полной истины, и пригодна она только в качестве временного якоря спасения. Нечто подобное говорили мудрецы древней Азии и римско-эллинистической эпохи. Нечто подобное говорят нам современные западные писатели — Хемингуэй, Грин и др., люди талантливые и умные. Но для русской литературы, имеющей уже за плечами Толстого и Достоевского, опыт народовольцев и мысль Ленина, такая позиция не подходит. Она не подходит для А.И. Солженицына.

Сильной стороной его творчества является нравственный анализ, но в таком деле нужно идти до конца. Внутреннее благоустройство личности, купленное даже ценой великого мужества и отказа от пирога, еще далеко не все. Нравственное чувство не может удовлетвориться спасением души — в спасении души несть спасения. Здесь мы еще не расстались с проекцией нашей собственной малости, внутренней позой. Да, «лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой», но еще лучше быть с волкодавами против людоедов. Ради этого можно душу не только положить за други своя, но и погубить. Более высокая (или революционная) нравственность не оглядывается на эту опасность (с. 78–80).

*В. Досталу, 18 июля 1965 г. // Письма, с. 61–62:*

Чувствую себя в настоящее время сносно, даже сон — тьфу! тьфу! чтоб не сглазить! — похож немного на сон среднего человека.

Этот человек является вообще моим идеалом, я вижу, что он живет и в ус не дует и потому его, в сущности говоря, следует назвать вполне совершенным человеком, или, как говорил покойный Анатолий Васильевич, — «всечеловеком»<sup>1</sup> (с. 61–62).

*В. Досталу, 26 июля 1965 г. // Письма, с. 63–64:*

Не ради этого, я истратил несколько месяцев на забавную статейку, а еще у меня есть в запасе «Разговор с чертом» в стиле Достоевского<sup>2</sup> (с. 64).

*На деревню дедушке. В мире эстетики (1965) // Лифшиц Мих. На деревню дедушке. В мире эстетики. М., 1990 (см. также: Либерализм и демократия, с. 197–288):*

Если ваши идеи хороши и вы, насколько это возможно в человеческой шкуре, не боитесь для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропу — это одно, а если эти идеи хороши только потому, что они подвергались гонениям, то выходит, что добро живет на шаромыжку, как сказал черт Ивану Карамазову. Однако наша добродетель не хочет жить на шаромыжку. В этике Аристотеля есть даже специальный порок — аоргесия, т. е. равнодушие к тому, что нужно преследовать. «У тебя нет желчи, сжигающей печень», — сказал великий греческий лирик Алкей, и это были слова презрения. Конечно, из общественного гнева тоже может вырасти безобразия, как из всего на свете, но почему и когда — это уже нужно отдельно разбирать (с. 27).

С моей устаревшей точки зрения, истина, единая и неделимая, при всех ее исторических противоречиях, возбуждает своим безусловным, святым энтузиазмом духовную энергию личности. Гнев рождает поэтов, лихая година будит могучие характеры, бескорыстная преданность «всеобщему» дает людям направление, делает их людьми партии, как Милтон, бесконечно своеобразными личностями, как Достоевский.

Куда вы денете эти маратовские индивидуальности? Не нужен им ваш отдельный мир с личным видением. Нет, этим людям подай все, им нужна площадь, они хотят всех обратить в свою веру, они тем и велики, что не пойдут мириться с либеральной посредственностью. Даже их глубокие заблуждения (как я старался показать лет тридцать назад) не только минус. Это отрицательная величина, но величина. Так, в исступленной вере Достоевского виден весь человек, и даже его темные идеи — не прос-

<sup>1</sup> (Сноска 96 из цит. изд., примеч. — с. 235.) Слово «всечеловек» впервые ввел Ф.М. Достоевский, употребив его в речи, посвященной открытию памятника А.С. Пушкину (1880). А.В. Луначарский, в свою очередь, использовал это слово в речи в честь 100-летия со дня рождения Достоевского (1921)<sup>[288]</sup>.

<sup>2</sup> (Сноска 103 из цит. изд., примеч. — с. 236.) Pamфлет опубликован в 2002 г. А.К. Фроловым с его же предисловием в газете «Советская Россия» (от 5 сентября, с. 3–4). Заключительная фраза памфлета «Конец: приходит черт в образе черносотенца» не была опубликована.

то «особый голос» писателя, а борьба разума против самого себя, обращенная сила демократии. «Если у большого человека есть темный угол, то он особенно темен!» — сказал Гёте (с. 106–107).

Итак, на твой вопрос, интересуется ли меня индивидуальность художника в его произведении, я отвечу: смотря какая индивидуальность! Если она наполнена действительным, важным для всех содержанием, я готов перед ней на колени стать, ну, а если внутри труха, что тогда? Ясно, что дело здесь не в отдельном лице, а в той полноте, которая действует, как электрический заряд. Она-то и создает настоящую индивидуальность, способную подняться над уровнем статистической средней величины. И тогда все это мне интересно, очень интересно, потому что умно, глубоко, прекрасно, характерно — ну, словом, что-то есть. А если вам нужна личность с а м а п о с е б е, в своей совершенной отдельности, — так это будет Голядкин, мелкий чиновник из «человеческого присутствия». Маленький, скверный прыщ, а глядит в Наполеоны. Еще спрашивает, откуда культ личности взялся! Помнишь, у Генриха Манна один собачий мещанин выведен, как две капли воды похожий на Вильгельма II с усищами? (с. 117–118).

По-моему, никакое копирование не страшно при отсутствии базарных соображений. Вот у братьев Ван Эйк самое тщательное копирование медной лампы — это высокая поэзия. Достоевский говорит о процентах, по гривне в месяц с рубля, и вы чувствуете себя на краю страшной бездны. А ложь мне хоть сахаром обсыпь, назови ее хоть видением, или романтикой, или другим еще более дерзостным словом — все равно это будет вздор, соска для либеральных младенцев, нас возвышающий обман.

Да возвышающий ли? По-моему, возвышает только честное знание действительности, а ложь во спасение не сочиняйте, напрасно будете портить бумагу. Не хочу я такого спасения, у нас от него до сих пор бока болят. Дайте мне достоверные факты и считайте меня неспособным к пониманию искусства. Мне все равно (с. 120–121).

Нужно искать во всем объективно хорошего, а не нового или старого. И вот с этой точки зрения я согласен, Константин Макарыч, что старое требует ломки, — по крайней мере многое в нем, как бы оно ни рядилось в новые одежды. Так что прошу вас, не верьте, дедушка, если вам скажут, что я хочу Волгу толоком замесить и блоху на цепь приковать. По мне, так пусть ее прыгает. Но в каждом серьезном деле нужно разбирать, что хорошо и что плохо, а не шуметь, как писатель Ратазиев у Достоевского: «Все это старое!» Вы помните, он писал отрывисто и с фигурами, а «Станционного смотрителя» не одобрял. Устарело, говорит, хотя Пушкин, конечно, великий талант и прославил свое отечество. Кто же у нас классиков не признает?

Сказать откровенно, я Ратазиевых не люблю и ничего в них нового не нахожу, особенно когда они начинают указания делать. Однако не

кажется ли вам, милейший Константин Макарыч, что Ратазьев становится заметной фигурой? «Все это старое! — говорит. — Это был “догматический сон”».

Ну, правильно! Только зачем в этом деле такие высокие показатели давать? Не будет ли это новый сон? Ведь самое главное, милый дедушка, остается — самое главное, т. е. чрезмерное и каждодневное усердие в применении чувства нового до полного безобразия. Вот это «новое–старое» очень меня беспокоит, чреватое глубокими последствиями (с. 166–168).

Мораль есть сплочение всех трудящихся против паразитов — быть может, самый важный и безусловный вывод из всей истории человечества. Моральный фактор — это обаяние всеобщего, его превосходство над всяким узким интересом в масштабе одной страны или в отношениях между народами. Словом, это «Обнимитесь, миллионы!» в могучем порыве бетховенской симфонии, это смертельная, до кровавого пота, жажда золотого века у Достоевского, это известное каждому забвение себя в труде или в бою, неуловимое и вместе сильное движение всякой жизни к единому центру. С великой болью начинается это движение и нелегко его удерживать от упадка внутренней силы, от засилья других, беспорядочных, мелких движений отдельных частиц. Недаром классики марксизма называли революцию чудом, праздником народов, локомотивом истории (с. 189).

*В. Досталу, 23 апреля 1967 г. // Письма, с. 68–70:*

Книга Бахтина о Достоевском — тоже голая схема, не имеющая близкого соприкосновения с тем, что написано в романах самого писателя. Все это сейчас модно, иногда до смешного (с. 70).

*Интеллигенция и народ (1967) // Мифология, с. 408–417 (Выступление на конференции, посвященной памяти А. Грамши, в Институте международного рабочего движения Академии наук в апреле 1967 года. — В кн.: Проблемы рабочего движения. М., 1968):*

Единственная альтернатива к обычному циклу старой культуры с ее драмой авангарда и обратными движениями есть именно то сплочение нации на демократической основе, которое предвидел Грамши. Он говорит об устранении «бреша» между интеллигенцией и массой «простых душ», чтобы никакая реакционная сила не могла воспользоваться этим конфликтом в стремлении подчинить передовые силы своей «дисциплине» и сохранить единство общества на консервативной основе. Нужно сделать политически возможным прогресс всей массы, а не только узких группок интеллигенции, писал Грамши.

С этой точки зрения, он не принимает обычное среди образованных людей презрение к мещанству «массовой культуры». Достоевский, по словам Грамши, поднял доступную широкому читателю традицию романов Сю

до уровня великого искусства. Грамши хотел бы не антитезы современной развлекательной литературы «приложений», не отрицания ее абстрактным новаторством какой-нибудь авангардистской школы. Он мечтает о таком «отряде литераторов», который мог бы возвысить то, что уже существует. [...] Здесь у Грамши удивительная близость к идеям Ленина, как они были выражены, например, в его известной беседе с Кларой Цеткин (с. 415–416).

*Марксизм и эстетическое воспитание (1967) // Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, с. 332–386 (см. также: Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, 2; Собр. соч., т. I):*

Не следует забывать, что нравственное сплочение угнетенного большинства под властью старых господ было источником всего великого в истории прежней культуры. Это была народная почва, с которой невидимой нитью связаны все чудеса искусства и поэзии. Вот почему Савельич в «Капитанской дочке» Пушкина, несмотря на свое рабское положение и свои забавные черты, — привлекательная личность, сохранившая народный тип. Напротив, Смердяков, несмотря на свое бунтарство и французские вокабулы, отравленный завистью к равным ему по природе законным детям Федора Карамазова, — только лакей и хам. Но смердяковщина, это разложение человеческого образа, не является следствием равенства — она является следствием *неосуществленного, недостаточно реализованного на деле равенства*. Таков наш ответ тем, кто пытается найти доказательство слабости коммунистического идеала, пользуясь аргументами в духе «Грядущего Хама» Мережковского. Все эти выпады против демократии — также новая мерзость смердяковщины, но верно то, что история, с ее способностью разыгрывать всякие шутки, с ее трагикомической иронией, не ждет — «что делаешь, делай скорее» (с. 353–354).

*Нравственное значение Октябрьской революции (1967) // Собр. соч., т. III, с. 230–258 (Более полный текст статьи, опубликованной в журнале «Коммунист» (1985, № 4). Статья была написана к 50-летию Великой Октябрьской революции, но в те времена в печати не появилась. — Примеч. ред.):*

Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не побежденного обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу другого без посредников, земных и небесных. Даже в семье, первой ячейке собственности, нужен бог, чтобы предотвратить столкновение мужчины и женщины, старших и младших. Всякий компромисс, заключенный между неравными силами, нуждается в охране. Вот почему религиозная мораль при всем своем обращении к душе содержит изрядную дозу казенщины, не согретой ничем. Все усилия раз-



личных сект и вольных религиозных обществ разбились об это препятствие, описанное в поэме о великом инквизиторе Достоевского.

Только на почве демократического подъема и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнего действия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь. «Обнимитесь, миллионы!» — писал под влиянием революционных событий конца XVIII века Шиллер (с. 242).

Мы только в начале понимания тех философских и социологических оттенков мысли, которые вкладывал Ленин в свои выступления, вызванные всегда острой практической необходимостью. Эта практическая оболочка часто пугает своей простотой слабую мысль, умеющую ценить только дешевые побрякушки профессорской науки. Между тем после Герцена и Достоевского именно Ленин, и притом в явлениях громадного масштаба, раскрыл удивительные изломы психологии взбесившегося обывателя, больного манией величия ничтожного Фомы Опискина и вообще маленького чумазого, имя ему миллион.

Но, указав на то, что Октябрьская революция имеет своего опаснейшего врага, очень похожего на дьявола *in persona*, Ленин должен был также указать верный путь к победе над этим злом.

Любое богатство, любые успехи науки и техники и все, что может отсюда произойти, — телевизоры, холодильники, автомобили, сияние рекламы и лучшая организация обслуживания, ничто не спасет человечество от страшных бедствий, от неожиданных падений в море крови и грязи, если люди не сумеют устроить свои внутренние, общественные дела, т. е. заменить казенную дисциплину старого мира товарищеским сплочением всех трудящихся, открыть дорогу скрытой энергии миллионных масс. На вершине личного благополучия, среди временного сытого счастья каждое избранное меньшинство подстерегает жестокий вопрос — прочно ли это благополучие и покоится ли оно на справедливой основе? Не имея желания впасть в библейский тон, мы все же можем сказать о тех, кто слепо гордится своим копеечным раем, словами одного из героев Достоевского: «О, им суждены страшные муки, прежде чем достигнут царствия божия» (с. 252–253).

**«Мастер и Маргарита». Заметки к толкованию романа Булгакова. 1967 [г.] // Почему я не модернист? С. 562–564:**

В конце концов Великий инквизитор тоже получает после своей исповеди поцелуй Христа<sup>1</sup>. Это, конечно, не означает примирения его с

<sup>1</sup> (Сноска II из цит. изд.) В «Легенде о Великом инквизиторе» из романа Достоевского «Братья Карамазовы». — *Сост.*

системой власти и демагогии, но все же этот поцелуй не означает и полного отречения. Не так ли? (с. 564).

*Либерализм и демократия (1968) // Искусство и современный мир, с. 55–84 (Опубликовано в журнале «Вопросы философии», 1968, № 1) (см. также: Искусство и современный мир, 2; Либерализм и демократия):*

Конечно, нельзя отказать бурсакам Помяловского в своего рода эстетическом чувстве. Помните этот поход в баню, наводивший ужас на все окрест? «Шествие их, — рассказывает летописец бурсы, — знаменуется порчей разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить». Действительно, есть особое эстетическое наслаждение не только «бездны мрачной на краю», но и в разрушении, отрицании, оскорблении красоты, творимых из мести окружающему миру. Эту психологию с глубокой тревогой исследовали такие знатоки человеческой души, как Достоевский, о «бескрыстном зле», с другим настроением, писали Ницше, Андре Жид и многие другие. То же явление имеют в виду социологи и юристы, говоря о немотивированных преступлениях, столь частых в нашем веке (с. 69).

Однако слова Швиттерса имеют не более кретинический характер, чем приведенные мною в статье для журнала «Коммунист», одобренной моими уважаемыми противниками, рассуждения французского поэта Аполлинера, теоретика кубизма (см. статью «Феноменология консервной банки» — «Коммунист», 1966, № 12; сб. «Кризис безобразия», М., 1968, с. 184). Они не более кретинические, чем сбрасывание с Парохода Современности устаревшей классики в лице Пушкина, Достоевского и Толстого, что авторы коллективного письма хотят представить случайной выходкой, не характерной для модернизма как мирового явления. Должно быть, особенные причины заставили уважаемых историков прибегнуть к такому дипломатическому мифотворчеству (с. 73).

*Миф и действительность (1968?) // Лифшиц Мих., Рейнгардт Л. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт. М.: Искусство, 1968, с. 11–105 (Статья написана совместно с Л. Рейнгардт):*

*Г.В. Плеханов и кубизм (с. 40–64):*

Во второй половине девятнадцатого столетия самоотречение новейшей субъективности в пользу «достоверных истин», твердого «знания» (вместо колеблющегося зрительного «видения»), строгой архитектоники и дисциплины чувствуется уже во многих эстетических течениях, предвещающих кризис буржуазной культуры. Одним словом, это явление широкое, разнообразное и несомненно заключающее в себе обманчивую

привлекательность — счастливый мираж растворения личности с ее «надрывом», по известному выражению Достоевского, в бездумном единстве с объективным началом и слепой коллективной волей. Что касается нашего времени, то для него такие переломы, повороты, сдвиги буржуазного мышления особенно характерны и тем более лишены теперь всякого исторического оправдания и всякой духовной ценности по сравнению с прежними, более наивными формами подобной мифологии (с. 47).

В изображении этой райской картины «нового прекрасного мира» Эренбург (в «превосходном» романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито». — А. Б.) опередил Олдоса Хаксли, хотя апостол всеобщей организации Карл Шмидт в свою очередь имеет немало предшественников. Достаточно вспомнить Шигалева в «Бесах» Достоевского. Все горе состоит в том, что эти карикатуры могут иметь и временами имеют реальную модель. Опасные фантазеры типа Карла Шмидта встречались в начале Октябрьской революции. А.В. Луначарский назвал их однажды «фугуро-коммунистами».

Преувеличение идеи плана и насильственно осуществляемой целесообразности есть детская болезнь всякой социальной революции. Опасность этой болезни тем более велика, чем глубже эта революция, — чем более широкие массы людей она затрагивает, чем сильнее становится ее собственный аппарат управления и чем продолжительнее эта болезнь. Однако сама по себе идея Карла Шмидта не является ни социалистической, ни революционной.

Здесь перед нами, скорее, одна из сторон старого общественного порядка, воплощенная в государственно-капиталистической, чуждой народу, насильственной организации сверху (с. 50).

*Pro domo sua (Записи разных лет) // Новое литературное обозрение, № 88 (6' 2007), с. 80–114 (см. также: Varia, с. 84–141):*

#### 4. XI. 68. Переделкино.

[...]

Гриб<sup>1</sup> и Верцман<sup>2</sup> оба «психи», но они чрезвычайно рассудительны и скупы. Гриб сам называл себя моим Санчо. Его скупость была анекдотом среди друзей. Между тем он был не совсем нормален, в юности стоял во главе клуба самоубийц, любил Достоевского (с. 83).

*Как можно и как нельзя дифференцировать современных художников. К статье «Либерализм и демократия» (1966–1969) // Искусст-*

<sup>1</sup> (Сноска 17 из цит. изд., примеч. — с. 106.) Гриб Владимир Романович (1908–1940) — один из самых известных представителей «течения» [30-х годов, ученик Мих. Лифшица]...

<sup>2</sup> (Сноска 20 из цит. изд., примеч. — с. 107.) Верцман Израиль Ефимович (1906–?) — литературовед и историк философии, выпускник ВХУТЕМАСа, автор ряда работ о Руссо, Шекспире, Рембрандте и т. д. — *Примеч. ред.* [289]

во и современный мир, с. 109–155 (см. также: *Искусство и современный мир*, 2):

Одно дело наивная религиозность средневекового мастера из Флемаля или темные черты в мировоззрении Достоевского, и совсем другое — реакционная тенденция экспрессионизма, играющая в нем главную роль, несмотря на все авангардистские позы участников этого движения и несмотря на действительные революционные связи некоторых литераторов, принадлежавших к нему. Само собой разумеется, что, говоря о главной тенденции экспрессионизма, я имею в виду его идейно-художественную программу. Сравнить реакционные черты подобных программ с ограниченной рамкой старого искусства, даже если принять во внимание все противоречия истории реализма, самые кричащие, нельзя. Это было бы нарушением исторической перспективы (с. 147).

*Абстрактные формы старого искусства и современная «абстракция». К статье «Модернизм как явление современной буржуазной идеологии» (1966–1969) // Искусство и современный мир, с. 156–163 (см. также: Искусство и современный мир, 2):*

По всем этим признакам современное абстрактное искусство является прямой противоположностью той абстракции, которая была великим открытием древнего гончара, создавшего сосуд правильной формы и окружившего эту форму простым орнаментом из следов веревки, вдавленной в свежую глину. Если же современное абстрактное искусство обращается иногда к правильным формам, эти формы должны быть настолько правильны, чтобы убить всякое дыхание жизни, вызвать ощущение бессмыслицы и пустоты. «Черный квадрат» Малевича и другие иконоборческие фантазии этого типа (пуризм, конструктивизм) при всей своей безумной рациональности абсолютно иррациональны. Их правильные геометрические иероглифы нужно читать наоборот. Это искусство обратных сил, открывшее новое сомнительное наслаждение в смердяковском издевательстве над аристократией художественных форм и человеческого духа вообще, в уравнении всего, что растет и дышит, под гладкую плоскость. Не приведи бог попасть в это мертвое царство современной угрюм-бурчеевщины! (с. 157–158).

*Заключение. О полемике (1969) // Искусство и современный мир, 2, с. 373–381:*

Конечно, нет такой карикатуры, которая не нашла бы себе добровольных исполнителей. Люди старших поколений, может быть, помнят, как в давние времена многие слишком последовательные марксисты доказывали, что в будущем обществе не будет больше такого литературного жанра, как трагедия, ибо при отсутствии противоречий между людьми

ми и всеобщем счастье реальный материал для трагических сюжетов должен, как говорится, сойти на нет. Не будет и комедии, ибо после исчезновения пережитков капитализма некого будет осмеивать. Искусство сольется с техникой, красота — с жизнью, теория — с практикой, различие мужского и женского пола отомрет (в двадцатых годах всех поражали опыты превращения курицы в петуха и обратно). Словом, наступит тысячелетнее царство и будет полный Абсолют, в котором, наконец, мы уснем.

Если так, то существенные различия между острой и тупой полемикой тоже, разумеется, должны отмереть. Но пусть меня четвертуют, если я поверю в такой коммунизм. Я не верю в него, как не верю и в ту футурологию, которая превращает будущий технический рай в отвратительное, абстрактное повторение скучного идеала юнкеров, чиновников и попов. Нужно верить в коммунистическое общество, населенное веселыми богатырями, настоящими *bold devils*. (Мы были дерзки как черти [*bold devils*], рассказывал Энгельс Лауре, вспоминая свои совместные с Марксом критические походы сороковых годов. — Ф. Энгельс — Лауре Лафарг, 2 июня 1883 г. Соч., т. 36, с. 29.) Будет ли это? Не сомневайтесь. «Буди, буди!», как говорил старец Зосима (с. 379–380).

*Искусство и фашизм в Германии (1969–1971) // Искусство и современный мир, с. 245–304 (см. также: Искусство и современный мир, 2):*

Часто говорят, что фашизм — это идеология «средних слоев», мелкой буржуазии. В масштабе решающего столкновения классовых сил это, конечно, не так. Но во всяком фашизме есть нечто привлекательное для маленького «чумазого», который до смерти хочет выбраться на поверхность, чтобы топтать других, освободив себя от всяких обязанностей и культурных связей. В этом отношении конформизм послушного обывателя вовсе не противоречит восстанию «авторитарной личности» против стесняющих ее норм. Чтобы сковать людей, нужно убедить их в том, что они по самой своей природе, например вследствие своего расового происхождения, выше других, а между тем их держат в черном теле. Этот нечистый путь личного возвышения внушает добровольное рабство перед тоталитарной государственностью, обещающей перевернуть все отношения в пользу нищих духом. Авторитарный вождь становится для мещанина спасителем, воплощением его собственной претензии. Подчинение общему властелину есть для него дело престижа. Вот почему реакционный обыватель, подобно Смердякову у Достоевского, заранее ненавидит все, что возвышается над его собственным уровнем, как покушение на самого себя и готов защищать свою позу серого сверхчеловека со всей свирепостью.

Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы, не может быть свободен человек, который «для себя лишь хочет воли». Многие бунтари-романтики начала прошлого века перешли от самого крайнего

индивидуализма к добровольному рабству перед учением средневековой церкви. Многие протестанты приняли католичество. Люди тонкого ума и большого образования утверждали непогрешимость папы. Так и в наши дни самоотрицание сознательной личности, заложенное во всяком модернистском новаторстве, ведет к добровольному конформизму, который принимается с радостью (с. 279–280).

*Вульгарная социология (1971) // Собр. соч., т. II, с. 233–244 (Более полный вариант статьи, опубликованной в БСЭ. М., 1971, т. 5):*

Очень может быть, что книга В. Переверзева о Достоевском — одно из лучших исследований творчества этого писателя, хотя действительного марксизма, в духе Маркса и Ленина, в ней не больше, чем в книге В. Розанова, резко враждебной марксизму и также не лишенной интереса (с. 242).

*В. Досталу, 14 февраля 1971 г. // Письма, с. 93–99:*

«Халат, офицер, писец, поп...» Это старинное словоупотребление, а может быть, даже и нечто придуманное Герценом, который любил создавать термины. Возможно, имеется в виду маленький человек, живущий на ничтожный доход и прикрывающий наготу свою домашним халатом, вроде типов Достоевского. Но словарь Даля дает и другое значение — «Крестьянский кафтан без перехвата, зипун, армяк». Можно перевести как «мелкая бестия» (с. 98).

*Современное искусство и фашизм (1971?) // Почему я не модернист? С. 276–306 (Эта незавершенная статья впервые была опубликована составителем настоящего сборника в журнале «Изм». М., № 1 (5), 1994):*

А. Нуйкин пишет, что организаторы жалкой культуры полуучек (лишенных даже диплома и аттестата) «чаще всего — продукт ее, они сами мыслят теми же категориями, исповедуют те же идеалы». Словом, в конечном счете именно массовое сознание рождает фашизм. Никакого особенного «человека войны» не было, был только человек «массовой культуры», был и есть. «И пока он есть, любой мелкий филер имеет все основания мечтать о мире, лежащем у его ефрейторских сапог, любая гнусная идея может собрать легионы ревностных крестоносцев» («Новый мир», 1971, № 1, с. 195–207).

Трудно подозревать Андрея Нуйкина в том, что он является отпрыском благородного древа графов Сумароковых-Эльстон. По всей вероятности, деды его честно пахали землю. Откуда же этот достойный пера Достоевского пафос дистанции по отношению к народной инфантильности и вообще нижестоящим недоучкам? Автор не знает,

что крестовый поход против человека «массовой культуры» является ходячей банальностью современной буржуазной аристократии на Западе, что ее можно найти у кого угодно — от Ханны Арендт до Отто Штрассера, бывшего соперника Гитлера, который не так давно издал книгу о происхождении фашизма и тоже возлагает ответственность на «массовое общество» (Otto Strasser. *Der Faschismus, Geschichte und Gefahr*. 1965. Фашизм, по Отто Штрассеру, есть «современная форма выражения глубочайшего недовольства массового человека», с. 82. Ср. особенно: с. 92–93 и др.).

Он не знает, что сам Гитлер и его мамелюки вели войну против «человека с улицы» («Asphaltmensch»).

Именно выражением духа массы был для них марксизм. «Еврейское учение марксизма отвергает аристократический принцип природы и ставит на место вечной привилегии могущества и силы численность массы, ее мертвый вес». Это слова самого Гитлера. В другом месте его нацистского катехизиса сказано: «Марксизм представляется химически чистой попыткой еврея изгнать из всех областей человеческой жизни преобладающее значение личности и заменить ее численным весом массы» (Adolf Hitler. *Mein Kampf*. Munchen, 1932. 10 Aufl. Ср.: S. 39–40, 64–70, 498–499 и др.).

Как же быть? Что скажут на это странные марксисты, открывшие корни фашизма в стадном сознании большинства? Не следует ли причислить к числу борцов против фашизма и самого Гитлера, поскольку он так яростно выражает протест личности против тупого конформизма масс? (с. 281–282).

*В. Досталу, 4 апреля 1972 г. // Письма, с. 113–115:*

Большое спасибо за статью из Актов Чешской академии наук, я с интересом ее прочел и вижу, что при всей глупости конечного вывода («Бахтин все-таки лучше») автор не мог уклониться от признания, что в тридцатых годах было течение, лишенное малейшего оттенка приспособленчества, тогда как даже его уважаемый Бахтин вынужден был задним числом убрать из своей книги о Достоевском вульгарную социологию (с. 114).

*Античный мир, мифология, эстетическое воспитание (1973) // Мифология, с. 10–140 (Впервые опубликовано в антологии «Идеи эстетического воспитания», т. 1. М., 1973; см. также: Собр. соч., т. III):*

Нет полного безразличия к добру и злу даже в самых жестоких и страшных, самых чудовищных или смешных и глупых созданиях мифологической фантазии, а то, что современные авторы называют «амбивалентностью» мифа, можно понять как присутствие в нем объективного

противоречия. Здесь — бессознательное начало трагических и комических сюжетов мировой литературы.

Действительно, разве цивилизованный человек, по крайней мере в своей фантазии, сводит концы с концами посредством моральной таблицы умножения? Кто ближе нашему сердцу — озорник и сорвиголова Том Джонс или скромный мещанин Блайфил? Как быть с Каином, Манфредом, Корсаром Байрона, что делать с героями Достоевского — положительные они или отрицательные? Разве не пишет Дидро, великий энтузиаст добродетели, о странном сочувствии, которое мы испытываем, следя за дерзкой отвагой злодея, нарушающего законы человеческого общежития?

Здесь перед нами как бы два масштаба (с. 64).

Полинезийцы, говорит Элиаде, обращаются к истории сотворения мира во всех случаях, когда они находятся в тупике. Несчастливая война, бесплодие женщины, отсутствие вдохновения у поэта, сокрушенное сердце — словом, каждая «экзистенциально критическая ситуация» требует повторения мифа. «И все эти положения, негативные и приводящие к отчаянию, как будто лишены выхода, опрокидываются рецитацией космогонического мифа, а именно повторением тех слов, посредством которых Ио вызвал к жизни вселенную и возжег свет во тьме».

Прекрасное описание сути дела — не хватает только выводов. Везде, где человек детского мира встречается перед собою «стену» (говоря словами Достоевского), он обращается к мифу как *царству свободы*, рассказу о свободной основе всех вещей, опутанных в его положении сетью необходимости. Миф есть именно царство свободы, которое люди находят только в своей фантазии и не находят в сером свете будничного существования. Жизнь человека становится более запутанной и напряженной с каждым шагом его развития — это так, но еще более ясно, что истребить в нем жажду свободы как соответствующего ему состояния нельзя. Сам идеал свободы растет вместе с его отрицанием в реальной действительности. И чем теснее она, тем более фантастический, дикий, а иногда и дьявольский характер принимает эта обратная сила жизни (с. 119–120).

*Модернизм (1974?) // Мифология, с. 475–484 (Более полный текст статьи для БСЭ, т. 16. М., 1974, с. 402):*

Если в известных случаях модернистские программы «революции в искусстве» также могут способствовать взаимному пониманию людей, то на самом низком и в последнем счете — реакционном уровне. Бунт против классической традиции, против всего высокого и прекрасного содержит в себе заразительную, но страшную силу. Это — бунт Смердякова, «авторитарной личности», бунт ничтожества, которому весь образ жизни современного капитализма внушает мысль, что при надлежащем



напоре можно без труда и таланта достигнуть любых вершин, ибо все условно, все создаваемо в этом мире. Консервная банка так же прекрасна, как Венера Милосская, если за ней стоит реальная машина внушения. «Это может сделать каждый», — гласит один из лозунгов американского «поп-арт» (с. 482).

*«Сейчас вам кажется, что истины нет...» (1974?) // Varia, с. 54–83 (впервые опубликовано: Свободная мысль, 1992, № 6, с. 99–112):*

Начало мая 1974 года, статья в «Форчун»: «Кто будет делать черную работу?». Естественное уравнение зарплат — никто не хочет делать черную работу, поэтому зарплата за эти функции и все блага получаемые увеличиваются.

Скорее к обществу, в котором нет распределяющей справедливости Аристотеля! Иначе естественно нарастающее равенство людей приведет, и уже приводит, к темным последствиям. Послушайте, с каким презрением не худо живущие пролетарии неквалифицированных работ, включая уборщиц, дежурных, сиделок, дворников, продавщиц, толкуют об «ученых» и «училках».

Демократия, но демократия смердяковская, плебисцитная и грозящая миру некоторым понижением жажды образования. Впрочем, и жажда образования как стремление к одной лишь «квалификации», *манья дипломов* стоит той же смердяковщины (с. 73–74).

*Из автобиографии идей. Беседы М. А. Лифшица (1970-е гг.) // Из автобиографии идей, с. 264–319 (см. также: Надоело, с. 18–236):*

### *Вульгарная социология (с. 282–288):*

Основная мысль сводилась к тому, что старая литература была социально-историческим выражением классового общества. То же самое относилось к изобразительному искусству: если, например, русский художник дворянской эпохи Венецианов изображает крестьянскую девушку на пашне, он представляет ее в символическом образе примаверы. На ней красивый сарафан, и вся она проста и прекрасна как некое воплощение труда, радости и поэзии. Конечно, нетрудно доказать (с большей или меньшей убедительностью), что подобный взгляд на крестьянский труд, на положение крестьян в царской России носит дворянско-идиллический характер, что он выгоден господствующему классу, что это идеализация жизни, дворянская условность и ограниченность, которые принять нельзя. Что же в таком случае остается от всей прежней мировой культуры? Мой пример носит случайный характер, но его можно распространить решительно на все, ведь то же самое относится к Софоклу, Шекспиру, Гёте, Пушкину, не говоря уже о Достоевском или Толстом с их консервативным общественным идеалом. Что же остается в наследство социа-

листической культуре, народу? Формальные, технические средства, мастерство — формальная сторона? (с. 283).

### *Новые вопросы теории (с. 288–295)*

Вопрос о том, как понимать эти демократические элементы, стал почвой, на которой произошло размежевание сил после падения вульгарной социологии в собственном смысле слова, когда развернулась в печати вторая литературная дискуссия 30-х годов, относившаяся уже к 1939–1940 гг. Ясно выраженные элементы демократии и социализма в истории прежней культуры не так велики, а между тем ее духовное значение для демократии и социализма громадно. Но даже ясно выраженные элементы демократии и социализма в прежней истории культуры всегда имели свои классовые черты. С другой стороны, величайшие представители культуры — от Эсхила до Гёте и Гегеля — нередко занимали консервативную позицию, и я в одной лекции даже назвал их «великими консерваторами человечества». Трудность заключается в том, чтобы понять демократическое и гуманное содержание творчества таких людей, как Достоевский или Толстой, в том парадоксальном и даже обратном виде, какой являет нам истина в их великом зеркале. Можно, конечно, разоблачать все это как выражение классовой ограниченности. Так и поступали по отношению ко всем полным сложных противоречий фигурам прошлого. Многим из них тогда досталось, начиная с Платона (с. 290).

В созданиях Толстого и Достоевского гораздо больше исторически ограниченных сторон и даже реакционных идей, чем художественных недостатков. Ходячая арифметика, согласно которой сумма достоинств соответствует демократическим и социалистическим идеям художника, а сумма недостатков — его классовым представлениям и предрассудкам, — несостоятельна, хотя до сих пор и пользуется молчаливым распространением. Нет, диалектика не сводится к абстрактному противопоставлению добра и зла, света и тени. У таких людей, как Достоевский или Толстой, даже заблуждения грандиозны, возвышенны и где-то переходят в достоинства, как великий грешник ближе к спасению, чем умеренный и аккуратный праведник (с. 291).

### *Отрицание отрицания (с. 298–301):*

Имя Достоевского не упоминалось в полемиках прошлых дней, но оно неизбежно стояло за всеми спорами о предметах, которых я касаюсь. Если в России есть писатель, одновременно являющийся глубоким демократом и реакционным мыслителем, то это именно Достоевский. Его позиция парадоксальна. Это демократически мыслящий художник, так сказать, в «обращенном» виде. Он посылает проклятия тому, что для него наиболее ценно, наиболее дорого. В сущности, отрицает он не прогресс, не демо-

кратию, не подлинные достижения поступательного развития человечества. Он отрицает лицемерные либеральные, розоватые формы прогресса и, с другой стороны, анархическую, декадентскую накипь, которая неизбежно окружала и окружает по сие время поступательное движение.

Великая заслуга Достоевского в том, что он раскрыл значение смердяковщины как ложного бунта снизу. Он верно понимал, что если подлинно художественным может быть только народное, то не все, что исходит от народа, истинно, т. е. действительно народно. Мировоззрение марксизма как истинная форма социалистического сознания, действительно социалистического сознания, требует в высшей степени недоверчивого, критического отношения ко всяким претензиям на выражение народных интересов, если это выражение абстрактно направлено против мира культуры, мира научного и художественного развития, если оно приобретает характер какого-то лакейского бунта против высокого и прекрасного, против истинных ценностей культуры. Не знаю, могу ли я в устном изложении кратко и достаточно конкретно осветить весь этот сложный вопрос... (с. 300–301).

*Беседы Мих. Лифшица (1974) // Надоело, с. 18–236:*

...Наряду с практическим интересом к искусству, я чувствовал склонность к самопознанию и теоретическому анализу явлений жизни, проще говоря, я рано начал мое знакомство с мировоззрением, которое является самой большой драгоценностью Октябрьской революции, мировоззрением марксизма. С этой точки зрения для меня также является величайшим благом тот факт, что я мог сознательно пережить величайший подъем революционной эпохи. Может быть, если бы я сформировался чуть позже, в период новой экономической политики и тех противоречий, некоторой даже растерянности, которую часто испытывала молодежь середины 20-х годов, я был бы уже не тем, что я есть. Мне в этом смысле очень повезло, я это живо ощущал в моих отношениях с близкими мне людьми, немного более молодыми, чем я, как мой ближайший ученик Владимир Гриб. Я был чем-то счастливее их, более вооружен, спокоен, менее чувствителен к противоречиям жизни, начисто лишен «комплекса Достоевского». Читайте это моим недостатком, но это так. Я вошел в жизнь на гребне революционной волны и приобрел основы марксистского образования не на школьной скамье, не через учебники, которых тогда еще вовсе не было, а в годы гражданской войны, когда мне попали в руки марксистские книги, произведения лучших авторов, классиков марксистской литературы... (с. 23).

...Вот, скажем, существует теперь большая литература о Достоевском, литература хвалебная. Как человека реакционных взглядов, его оправдывают, выливая на голову великого писателя большой ушат розовой воды, словом, так сказать, его представляют не тем, кто он есть. А так как

из Достоевского нельзя сделать революционного демократа, то делают из него более или менее умеренного, почти либерального представителя в общедемократическом и абстрактно гуманном вкусе. Конечно, это ровно ничего не поясняет и очень далеко от диалектического анализа... (с. 142–143).

... «Вы утверждаете, что реакционные идеи могут быть полезны, следовательно, вы проповедуете мракобесие и чуть ли не фашизм. Следовательно, вы отвергаете идеи гуманизма и демократии!» Такова была удобная, но совершенно демагогическая и ложная позиция наших противников. И вот в наши дни забыты литературные битвы 30-х годов, «а воз и ныне там», как писал русский баснописец Крылов. Читая, например, книги о Достоевском, видишь, что он уже не тот махровый реакционер, каким изображали его лет сорок назад. Но кто же он? Демократ и социалист? Этот тезис довольно трудно доказать, по крайней мере, если говорить о сознательном мировоззрении писателя. Остается, таким образом, розовый Достоевский, скорее либерал, напоминающий более всего те явления идейной жизни, ту гуманную филантропию, которую он больше всего презирал. Нет, придется однажды вернуться к той ступени развития марксистской диалектики в области истории культуры, которая была, так сказать, заморожена на исходе 30-х годов... (с. 157–158).

*Партийность и реализм (1975) // Собр. соч., т. III, с. 286–302 (Доклад, прочитанный 24 декабря 1975 года на XXXII сессии Академии художеств СССР, проведенной совместно с ИМА при ЦК КПСС и посвященной 70-летию публикации статьи В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». — Примеч. ред.):*

Современная буржуазная культура насквозь пропитана так называемым авангардизмом, который состоит в том, что наука является отсталой, если она не переплетается с религией, искусство не может быть современным, если оно не отвергает собственные завоевания, возвращаясь к нарочитой беспомощности, и человек вообще не является достаточно культурным, если он не толкует об «антикультуре» и «раскультивании». Все высокое, прекрасное и разумное ощущается как тяжкое бремя. Нужно ли удивляться тому, что под влиянием этой мировой смердяковщины кто-нибудь наконец переходит от слов к делу и подкладывает взрывчатку под статую эпохи Возрождения? (с. 287).

Тенденциозные и демагогические выпады против реалистической живописи второй половины прошлого века несправедливы. Но давно известно, что историческая форма изображения чувственно-предметного мира, присущая этому времени как в живописи, так и в литературе, является только одной, хотя и важной, страницей реализма, а не его абсолютным воплощением, единственным и всеобщим мерилom истины в

искусстве. Романы Толстого и Достоевского при всей глубине их анализа не исключают из области реализма более идеальный мир Пушкина. При всей заботе о точности понятий никто не может изгнать из литературного реализма фантастические образы Свифта или Вольтера (с. 296–297).

*«Позитивная эстетика» А.В. Луначарского (1975) // Собр. соч., т. III, с. 213–228 (Выступление на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.В. Луначарского, в Академии художеств СССР 24 ноября 1975 года. — Примеч. ред.):*

Вы помните, как в «Братьях Карамазовых» во время свидетельских показаний прогрессивного молодого Ракитина, изобразившего карамазовщину продуктом застарелых нравов крепостного права, обвиняемый Митя неожиданно для всех воскликнул: «Бернар!» Клод Бернар — великий ученый, неутомимый исследователь, применивший к психофизиологии человека метод строгой причинности. Как попало это имя в темный ум опустившегося офицера, мы не знаем. Но для Мити оно сделалось символом всякой попытки свести свободное, бесконечное в своем содержании, вменяемое и ответственное человеческое сознание к слепому продукту исторических и природных условий, с которого, собственно, и спрашивать уже нечего.

Клод Бернар делал свое полезное научное дело, однако нельзя не признать, что в некоторых отношениях и Митя Карамазов был прав. Както в застольной беседе с братьями Гонкур знаменитый физиолог выразил мнение, что через сто лет можно будет управлять биологической жизнью людей. Спустя сто лет императивы науки (согласно возбужденной фантазии ее фанатиков) диктуют уже управление общественной психикой посредством химии, кибернетики и социологии. Сегодня эта возможность кажется если не фактом ближайших дней, то, во всяком случае, близкой перспективой, она увлекает одних, внушает ужас другим. Действительно, есть над чем задуматься. Такое превращение человека в подопытного кролика омерзительно, оно безусловно чуждо интересам демократии, большинства людей. Но к счастью человеческого рода, эта идея применима лишь в самых узких, клинических, а не в общественных масштабах. Теоретически она несостоятельна. В самом деле, кто будет управлять сознанием тех, которые будут управлять сознанием других? Вот вопрос. Здесь очевидный логический круг, прогресс в бесконечность. Практически идея управления общественным разумом без обращения к нему, т. е. без убеждения людей, основана на плохих расчетах. В целом это утопия, разумеется, характерная для своего времени, ибо век науки также имеет свои причуды.

Чем же прав Митя Карамазов? Он прав тем, что изучение человеческого сознания при помощи медицинских, кибернетических и других подобных методов часто превращается в простое *сведение* высокого к

низкому, бесконечного к конечному. В этом глубокое заблуждение многих философских и эстетических систем, подчиняющих человеческий дух, дух целого, какому-нибудь особенному, частному разрезу бытия или даже только специальной терминологии, заимствованной из определенной науки, процветающей в данное время. Приобретения, сделанные на этом пути, всегда незначительны, зато односторонность подобных систем часто доходит до маниакальных масштабов.

Можно рассматривать, например, художественное произведение с медицинской точки зрения, как патологический продукт сексуальной энергии автора, отзвук воспоминаний детства, отношения к матери и отцу. Это будет фрейдистская редукция сознания, особый способ детронизации духа, сохранившийся и в так называемой новой критике, и в структурализме.

Можно вывести художественное произведение из определенного исторического стиля, из художественной воли, слепо стремящейся к своему выражению в данное время или при данных условиях расы и почвы. И это тоже будет евангелие от Бернара по косноязычной, но выразительной символике Мити Карамазова, т. е. редукция высокого духа искусства, в котором, как в зеркале, отражается бесконечность реального мира, к слепому действию фактических сил по ту сторону истины и заблуждения, добра и зла. Есть также возможность редуцировать феномен сознания к техническим знакам, жестам, приемам или информации, заменяющей понятие мышления. Бернары бывают даже в марксизме или, скорее, около него. Словом, это обычное сведение истории духа к длинному ряду стихийных продуктов определенной среды, общественных условий и классовых черт, принятое самим Луначарским, но заставившее его склониться в другую сторону (с. 219–221).

Возникшая из внутреннего протеста против релятивизма, против растворения философии искусства в исторической относительности психоидеологии и стиля, позитивная эстетика сама возвращается к методу редукции и сводит бесконечное содержание художественной формы, отражающей законы мироздания, к физиологическим потребностям организма. Здесь Митя может сказать свое осуждающее слово, вложенное в его уста противником всякого позитивизма Достоевским (с. 225).

*Маркс и Энгельс об искусстве (1966, 1975) // Собр. соч., т. I, с. 316–384 (см. также: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957, т. I (частично); то же, 1967, 1976, 1983; Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, с. 293–331; Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, 2; К спорам о реализме // Мифология, с. 498–545):*

В первом наброске «Капитала» есть замечательное место, заключающее в себе сравнительный анализ античной и буржуазной культуры с

точки зрения их способности создать законченные формы определенно-го содержания или, наоборот, открывать дорогу безграничному развитию этого содержания. В первом случае преимущество принадлежит античному миру, во втором — современному капиталистическому. [...]

«...В буржуазной экономике — и в ту эпоху производства, которой она соответствует — это полное выявление внутренней сущности человека выступает как полнейшее опустошение, этот универсальный процесс овеществления [Vergegenständlichung] — как полное отчуждение, а ниспровержение всех определенных односторонних целей — как принесение самоцели в жертву некоторой совершенно внешней цели. Поэтому младенческий древний мир представляется, с одной стороны, чем-то более возвышенным, нежели современный. С другой же стороны, древний мир, действительно, возвышеннее современного во всем том, в чем стремятся найти законченный образ, законченную форму и заранее установленное ограничение. Он дает удовлетворение с ограниченной точки зрения, тогда как современное состояние мира не дает удовлетворения; там же, где оно выступает самоудовлетворенным, оно — *пбш-ло*» (46, ч. 1, 475–476).

Если необходимо экономическое обоснование глубокой общественной и психологической разницы между культурой эпохи Бальзака и Достоевского и другой культурой, которая вызвала к жизни совершенные формы греческой пластики, приведенных слов Маркса достаточно. Но, разумеется, его точка зрения не исчерпывается этой характеристикой двух ступеней. Возможна и необходима также *третья ступень* культуры. В ней устраняется негативная форма, форма «полнейшего опустошения», в которой проявляет себя универсальное богатство «человеческой сущности» при капитализме (с. 341).

В полемике с Добролюбовым о рассказах Марко Вовчка Ф.М. Достоевский подчеркивал, что он оспаривает не направление рассказов писательницы, а только пользу, которую может принести этому направлению недостоверность изображения определенной жизненной ситуации, далеко от того, что реально бывает в ней при указанных самим автором условиях места и времени. По поводу рассказа «Маша» Достоевский писал: «Скажите: читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, чем этот рассказ? Что это за люди? Люди ли это, наконец? Где это происходит: в Швеции, в Индии, на Сандвичевых островах, в Шотландии, на Луне? Говорят и действуют сначала как будто в России: героиня — крестьянская девушка; есть тетка, есть барыня, есть брат Федя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, — ведь это какой-то Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку. Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног. Нелюбовь к крепостному состоянию, конечно, может развиваться в крестьянской девушке, да разве так она проявится? Ведь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная кабинетная строка, а не женщи-

на? » В этих суждениях, вполне оправданных, Достоевский не так далек от своего учителя — Белинского.

Впрочем, и Добролюбов вовсе не был защитником голой идеи в ущерб чувственной достоверности изображения. Так же как Достоевский, он не стремится «помыкать» художественностью во имя дела и вполне допускает, что художник, подобный Шекспиру, сам знает, и знает не хуже любого мыслителя, чего от него требует жизнь, а следовательно, и дело. Но когда речь идет о писателе более скромных масштабов или о произведении литературы более прикладного характера, возможен, с точки зрения Добролюбова, известный компромисс ради целей более широких, чем цели самого искусства. И в этих пределах отвлеченная мысль может если не «помыкать» художником, то вести его за собой. Такой компромисс был обоснован еще Белинским в его последних статьях, и едва ли можно против него возражать, если только отсюда не делается вывод, что произведение литературного творчества есть только зашифрованное сообщение.

Собственно говоря, и сам Достоевский допускал некоторые более свободные версии правила совершенной художественности. Так, например, о своем романе-памфлете «Бесы» он говорит в письме к Н. Страхову (24 марта 1870): «На вещь, которую я теперь пишу в “Русский вестник”, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность». Великий писатель был не вполне справедлив к своему детищу — при всей своей грубой тенденциозности, оно не так безнадежно и с художественной стороны. Ведь переходы из одной противоположности в другую бывают везде, и сильная мысль, овладевшая художником (даже неправильно им понятая), может своим путем вернуться в то состояние чувственной достоверности, которое она покинула ради своей особой цели.

Нам скажут, пожалуй, что со времен Достоевского и Добролюбова много воды утекло; теперь художественная литература придает больше значения самой материи слова, в котором ценится не простое средство для изложения мысли или передачи внешних фактов, а причастность к условной системе поэтического языка. На этой основе в течение уже полувека, если не больше, растут всевозможные мини-теории, единственным оправданием которых является тот факт, что нет на свете глупости без крупицы ума (с. 365–366).

Тенденциозные выпады против реалистической живописи второй половины прошлого века, отвергаемой *précieuses ridicules*, смешными жеманницами обоего пола, несправедливы. Но давно известно, что историческая форма изображения чувственно-предметного мира, присущая этому времени как в живописи, так и в литературе, является только одной из ступеней истории реализма, а не его единственным воплощением. Романы Толстого и Достоевского при всей глубине их анализа не исключают



ют из области реализма более идеальный мир Гёте и Пушкина. Деятнадцатое столетие — золотой век литературы, хотя Данте, Шекспир и Сервантес не имели тех слабостей, которые заметны в «Саламбо» Флобера. При всей заботе о точности понятий никто не может выслать из реализма фантастические образы Свифта и Вольтера, в которых больше жизни, чем в самых подробных описаниях мещанского быта у таких романистов, как Фрейтаг или Шпильгаген. Как давно это было сказано! (с. 377–378).

*М. Михайлову, 14 февраля 1976 г. // Письма, с. 181–182:*

Ну, будьте мудры, дорогой Михаил Григорьевич, примите мои обязательские наставления как должное, весь грех беру на себя, а возражений, надеюсь, у Вас нет, да если бы и были, то не будем спорить. С таким спорщиком, как я, Вам все равно не справиться. «Смирись, гордый человек!»<sup>1</sup> Ваш моральный долг — прежде всего обратить внимание на то, что возле Вас, т. е. позаботиться о Зое, которая Вам так предана (с. 182).

*Читая Герцена\* (1962–1976) // Собр. соч., т. III, с. 59–106 (\* Статья была заказана редакцией «Литературной газеты» к 150-летию со дня рождения А.И. Герцена весной 1962 г., но не увидела света. Напечатана в журнале «Вопросы философии» (1967, № 1). Для настоящего издания мною сделаны небольшие поправки (вопрос о том, кто был автором «Катехизиса революционера», выглядит сегодня иначе, хотя существо дела не изменилось). Прибавлены также комментарии):*

Другая сторона вопроса о насилии связана с отношением революционеров к широкой массе в ходе строительства новой жизни. Здесь Герцен еще более прав. То, чего он не хочет принять в учении Бакунина, — это шигалевщина (из «Бесов» Достоевского), превращение большинства в стадо, управляемое посредством палки и собачьего лая. Бакунинский взгляд, согласно которому все вопросы можно решить приказом, администрацией, был неожиданным возрождением аракевских методов под знаком революционной фразы (с. 63).

Тема нечаевщины имеет не только историческое, но также вполне современное и, можно даже сказать, слишком актуальное значение. Пользуясь злоупотреблениями, известными под именем культа личности, защитники так называемого свободного мира делают все, чтобы смешать в сознании масс ленинское знамя с нечаевщиной и шигалевщиной. Нет ничего опаснее такого сдвига для победы коммунистических идеалов над предубеждениями, над недоверием большой массы людей, подвижимых в сторону коммунизма их реальными интересами. К этому средству часто прибегают те, кто стремится усилить в общественной психологии мотивы

<sup>1</sup> (Сноска 348 из цит. изд., примеч. — с. 267.) Из речи Ф.М. Достоевского о А.С. Пушкине (1880).

вы отталкивания от всего передового и лучшего, раздуть ретроградное движение в современном мире (с. 68).

Есть много общего у Герцена с Марксом и в критике казарменного коммунизма — бакунинской утопии, напоминающей содержание толстой тетради длинноухого Шигалева.

Критики ленинизма в реакционной литературе Запада часто обращаются к «Бесам» Достоевского. Этот роман, задуманный как памфлет против революционной России, содержит некоторые портретные черты нечаевщины. Достоевский не только изучал эту среду по судебным отчетам, он хорошо знал ее изнутри, ибо следует верить признаниям великого писателя: он сам мог бы стать нечаевцем. Но критика Герцена глубже критики Достоевского, она очищает и углубляет мысль, не толкая ее в старое болото.

Автор «Бесов» с искренней яростью казнил своеволие своих героев, переходящее в деспотизм по отношению к большинству. Но здесь его анализ останавливается, уступая наплыву реакционных идей. Даже второе крещение в уме гениального человека не может избавить такие идеи от полного ничтожества. О деспотизме революции шумели аристократы и либералы еще со времен Конвента. Все, что задевало их интересы, они называли деспотизмом, и принять участие в этом хоре было падением для такого писателя, как Достоевский. Ошибка его не в том, что он по-своему хотел отречься от нечаевщины, — портрет, написанный им, отчасти соответствует оригиналу, местами он сбивается на лихорадочно набросанную карикатуру, а в других местах сатира уступает самой реальности. Нельзя также ставить в вину писателю то, что является его громадной заслугой, а именно самую постановку вопроса, так глубоко задевающую мысль человечества и полную серьезного смысла. Ошибка Достоевского — в попытке отождествить уродливую тень старого общества, упавшую на революционное движение, с этим движением. За это великий писатель наказан: все продажные шкуры ретроградных направлений, толкующие о тоталитарности Октябрьской революции (не говоря о дураках, которых не сеют, не жнут), ныне держатся за фалды его старомодного сютука.

В борьбе с мещанином бунтующим, пришедшим к бакунинской идее всеобщего разрушения, Достоевский вступает в союз с рутиной мещанства старого, казенного и церковного. Критика Герцена глубже, ибо он видит, что серьезной разницы между двумя видами мещанства нет. От крикливой революционной фразы до лампадного масла расстояние не так велико. Это два крайних пункта колебания одного и того же маятника. В своих критических замечаниях против всеобщего разрушения Герцен не забывает отметить родство этой идеи с психологией царской казенщины. Бакунинское «казенно-бюрократическое устройство уничтожения вещей» кажется ему какой-то белой горячкой (30, кн. 1, 144–145, письмо к Огареву от 2 июля 1869 года). Не подкупает Герцена и хвостовство уничтожением государства. Он предвидит другое — ведь проведение

в жизнь широких планов Бакунина, не вытекающих из сознания масс, нужно обеспечить армией фискалов и палачей. «Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?» Вспоминает Герцен в письмах «К старому товарищу» и экономические утопии Аракчеева (20, кн. 2, 585). Все это близко к гениальному образу угрюм-бурчеевщины, нарисованному пером Щедрина.

Герцен, так же как Достоевский, мог бы написать «Житие великого грешника». Он сам говорит о «грешных мечтах слишком старых и слишком молодых». Слишком старые — это Бакунин. От старины, которая связывала его с Бакуниным в прошлом, Герцен постепенно отказался в 60-х годах. Слишком молодые — ? Это вопрос сложный. В пользу Герцена говорит то обстоятельство, что, несмотря на свои колебания, он сумел в конце концов оценить Чернышевского и молодых штурманов будущей бури, понял важную роль нового социального элемента — разночинцев. Есть что-то серьезное и в попытках Герцена дать более глубокий анализ движения «новой России», чтобы отделить верный демократический тон от фальшивого. В одном письме 1867 года он говорит: «Это не нигилизм; *нигилизм* явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте — халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в *нигилистическом* костюме» (29, кн. 1, 110).

По отношению к А.А. Серно-Соловьевичу, который вызвал раздражение Герцена своими личными выпадами против него, эти слова по крайней мере несправедливы. Но совсем не раздражение, а глубокая мысль звучит в общей характеристике, которую Герцен нашел для выражения своей антипатии. Конечно, и писец, и чиновник, «недослужившийся даже до начальника отделения», были подавлены уродливым строем, сломаны и кипели искренней ненавистью. Плебейского в них было много, гораздо больше, чем в Герцене. Но не все, что выходит из народа, возвращается к нему.

В груди нашего разночинца, как и в груди крестьянина — мелкого собственника, — были две души. Одна душа нашла себе выражение в том более последовательном и боевом демократизме 60–70-х годов, который, насколько это возможно, оставил Герцена позади, т. е. в деятельности таких людей, как Чернышевский, Михайлов, герои «Народной воли». Великим художником *второй* души был Достоевский. Все метастазы душевной болезни мелкого человека старого общества, брошенного в адский котел современной цивилизации, от поприщинской мании величия какого-нибудь Голядкина до нечаевщины, он открыл в этом аду. Халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик были ему хорошо знакомы. Как великий художник, он стал выше этой среды, сделав из насекомых, подобных Голядкину, символические фигуры мирового значения.

Но сам он дышал тем же воздухом, и, по всей вероятности, это было необходимо, чтобы увидеть *такой мир* изнутри. В его искусстве также отразилось восстание против традиционного рабства и лицемерной свободы, восстание не менее сильное, но гораздо более двойственное, чем крестьян-

ская революция. И какая густая тень старого мира на этом восстании! Достоевский ближе всего к своим бесам именно там, где он обращается против революции, ищет спасения в церкви, в казенном патриотизме, в ненависти к революционной интеллигенции и вообще в ретроградном движении.

Непонятно только одно — почему люди, взывающие к тени Достоевского, чтобы смешать ленинизм с нечаевщиной и шигалевщиной, не узнают в образе бесов самих себя? Все демоническое так ценится на том берегу, в современном буржуазном мире. Рациональная мораль просветителей давно низвергнута, красота зла и насилия доказана в тысяче философских исследований. Все исторические примеры цезаризма вытаснены на свет божий и закурены фимиамом. Почему же многие буржуазные авторы, пишущие о русской революции, так сердятся на нечаевщину? Ведь при всех ее отношениях к революционной мысли 60-х годов она заключает в себе некоторые черты еще не родившегося в эти годы утробного нищестанства (с. 69–71).

Громадное расстояние между двумя мирами — народной жизнью, сохранившей прадедовские обычаи, и выкроенным по немецкому или французскому образцу образованным обществом — было впервые обрисовано сильными чертами Белинским в его «Литературных мечтаниях». Это противоречие проходит через все развитие русской общественной мысли и художественной литературы прошлого века. Толстой и Достоевский в такой же мере должны были решать его, каждый по-своему, как и революционный мир, лондонская и женевская эмиграции, круг «Современника» и «Русского слова». Революционный примитивизм Огарева, при всем его высшем благородстве, был все же не свободен от черт барского самоотречения, жертвенности, а жертва, как известно из Чернышевского, есть сапоги всмятку. Это черта романтическая, проистекающая из характерной для романтизма критики цивилизации, не совпадающая с точкой зрения просветителя, чуждого преклонению перед патриархальной народной простотой и благодаря этому более преданного интересам народа. Трудно изложить в кратких словах историю этого вопроса и просто невозможно затронуть ее более глубоко, не сказав что-нибудь слишком одностороннее в силу самой краткости. Замечу только, что именно Герцен оказал громадное влияние на движение русской общественной мысли сверху вниз, к народным истокам, включая сюда и Толстого, и Достоевского, и народников. До отречения от западной науки и культуры он, разумеется, нигде не доходит, даже в таких статьях, как «Император Александр I и В.Н. Каразин» (1862) (с. 79–80).

Маркс и Энгельс видели опасность планов крестьянской монархии как в России, так и во Франции, этот новый, плебисцитарный элемент, возрождающий единовластие на почве правого радикализма, будущей «революции справа». К чести Герцена нужно сказать, что он также вос-

стал против нового цезаризма, растущего из мещанства, «случайного семейства» Достоевского, из мелкого люда, стертого в порошок развитием цивилизации, казенной и буржуазной. Проникновенные анализы, меткие удары его гениальной кисти заслуживают внимания и труда будущих исследователей. Это богатство почти не тронуто (с. 86).

Та или другая трактовка темы *слово и дело* проходит через всю русскую литературу второй половины прошлого века. Есть она и у Достоевского («Слово, слово — великое дело!»), есть и у Щедрина, Глеба Успенского. Исследование этого мотива в его всестороннем развитии было бы не пустой тратой сил (с. 95).

«Да, в статуе Фидия и в картине Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно составляло одно из условий их создания». Если бы раб понял, сколько оскорбления ему и несправедливости кроется «в каждом изгибе тела прекрасной статуи», он тут же покончил бы со всей античной скульптурой. Придя к столь радикальному выводу, Михайловский продолжает: «Божественный лик Сикстинской мадонны вонючий и развратный раб изрежет ножом, с негодованием говорит один из героев “Бесов” г. Достоевского. Я понимаю это негодование, но понимаю и раба, хотя, конечно, не этим путем достигнется его нравственная и физическая чистота» (*Михайловский Н.К. Соч. СПб., 1896, т. 2, стлб. 610*) (с. 97).

Вместо того чтобы подчеркивать в противовес Достоевскому, что вонючий раб, способный изрезать ножом божественный лик мадонны Рафаэля, — не новый человек, а лакей и хам, опора старого порядка и надежда его реставраторов, Михайловский принимает постановку вопроса автора «Бесов», хотя и считает, что «нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом» (*Михайловский Н.К. Соч. СПб., 1896, т. 1, стлб. 851*). Однако Достоевский показал, что нечаевщина может служить темой для романа с очень широким захватом. Правда, гениальный автор «Бесов» доказал одновременно, что нечаевщина — действительно монстр, возникший и всегда возникающий на перекрестке двух миров, но всем своим существом принадлежащий именно старому обществу как его собственная дьявольщина, его негативная анархическая сторона. В истории часто бывает, что та или иная карикатурная выдумка неожиданно «моделируется» реальными фактами. Судебные отчеты по делу какой-нибудь Патриции Херст (да и многое другое) показывают, что «Бесы» — не простая выдумка, а, скорее, туманное предвидение одной из возможностей массового производства монстров, в XIX веке еще невозможного (с. 100).

Положение осложнялось тем, что реформа 1861 года в сильнейшей степени запутала все социальные отношения. Народные массы должны

были переварить новую экономическую обстановку, и понадобилось несколько десятилетий болезненной ломки, прежде чем стала возможна прямая связь между революционной агитацией и стихийными движениями в недрах самого народа. Казалось, что расстояние, отделяющее передовую мысль времени от мужика, даже выросло, и эта трагическая даль нашла себе отражение в противоречиях творчества Толстого и Достоевского. Бывают такие исторические ситуации, когда никакая удачно найденная формула не может дать благополучного выхода (с. 100).

*В мире эстетики (1976) // В мире эстетики, с. 5–36:*

Одна дама имела молодого поклонника. Желая выглядеть перед ним в лучшем свете, она стала рассказывать ему о своих встречах с Маяковским. Молодой человек слушал-слушал, потом пригорюнился как-то и спросил:

— Вы, наверное, и Достоевского знали?

Тут моя дама поняла, что шансы ее невелики (с. 6).

В давно прошедшие времена формула «не только вопреки, но отчасти и благодаря» вызвала бурный поток печатных заявлений, в которых пишущему эти строки со товарищи было предъявлено обвинение в отказе от прогрессивного мировоззрения и защите реакционного. Памятные следы этой битвы сохранились на пожелтевших страницах «Литературной газеты» и других органов печати за 1940 год. Но вот пришло другое время. В пустозвонстве наших дней роль «благодаря» выросла, как больная клетка, и притом в таких масштабах, что исчезает всякая разница между прогрессивным и реакционным. Бывает ли она вообще, или уже сама мысль о существовании такого различия догматична? Недавно в одной новаторской книжке о Достоевском я прочел, что идея воскрешения мертвых — не мистика, а гуманизм. Другой автор в книге под многообещающим заглавием «Теоретические проблемы современного изобразительного искусства» утверждает, что реализм ХХ века, реализм страдающий и борющийся, есть именно музей отпечатков пальца, реализм травмы душевной (с. 20).

*Воспоминания о мыслях (1976) // Мифология, с. 142–166 (см. также: Надоело, с. 467–495):*

Во время оно, т. е. на исходе тридцатых годов, поводом для столкновения в печати стала оценка тех громадных массивов культурного наследия, которые не могут быть непосредственно приведены к сумме так называемых передовых идей — исторического оптимизма, веры в науку, общей программы демократии и социального прогресса. Встречая нечто близкое к этим идеям в более или менее отдаленном прошлом, историк, творящий свой суд от имени революционной современности, может спо-

койно вздохнуть. Его задача выглядит более просто — он, разумеется, горой стоит за все прогрессивное и против всего реакционного, где бы это ни возникало от сотворения мира до научно-технической революции. Но если наш историк не совершенно оглох от шума своей ученой мельницы, он скоро заметит, что область кажущейся простоты не охватывает, по крайней мере, самые глубокие фигуры прошлого. Ни Бальзак или Шекспир, ни великие испанцы, ни Данте, Аристофан или Эсхил не подходят под эту мерку. Трудно отрицать их причастность к высшей культуре старого мира, столь необходимой массам именно в эпоху социализма, и разве какой-нибудь фанатик китайской «культурной революции» (то есть революции против культуры) может отбрасывать это наследство как выражение интересов паразитического меньшинства, способное оказывать скорее вредное, чем полезное влияние в наши дни. Но трудно отрицать и то обстоятельство, что корифеи мировой литературы не выдержат самого легкого экзамена на присутствие в их мировоззрении передовых идей в тесном смысле этого слова. Вот почему у слишком левых иконоборцев современности возникает искушение отвести им место в музее древностей рядом с рыцарскими доспехами и конторкой ростовщика.

Снисходительная, гуманная ссылка на исторические условия былых времен ставит нас в более благородное положение, не всегда заслуженное, но не решает вопрос до конца. Можно, конечно, сделать из Достоевского умеренного либерала или даже розового социалиста, однако, по правде сказать, такая подделка предмета исследования лежит за пределами научного мышления. По сравнению с автором «Бесов» каждый либеральный присяжный поверенный прошлого века — передовой человек своего времени. И все же общественное безумие Достоевского, сделавшее великого писателя другом Победоносцева, таит в себе столько демократической энергии, что эту духовную силу можно измерить только мерою самых больших и далеких целей всего революционного процесса. Сам Достоевский понимал это противоречие, называя свое положение «почти феноменальным», ибо при всей ненависти, которую революционная молодежь питала к его «Бесам», он был признан ею, и признан, конечно, не за формальный дар писать увлекательные романы. Недостатки таких писателей неотделимы от их достоинств, и только в определенных масштабах эти противоположности расходятся между собой так далеко, что одно исключает другое, и тогда — либо искусство торжествует над ложным убеждением писателя, либо эта общественная ложь разлагает силу художественного впечатления и наносит ему непоправимый вред.

Более резко такое противоречие выступает там, где перед нами причудливый слиток гениальных прозрений художника и реакционности его тенденции, как у Достоевского, но так или иначе оно напоминает о себе в любом углу великого пантеона мировой литературы. Нельзя исключить из этой закономерности и те особенные случаи, когда сознательные идеи писателя, передовые в прямом смысле этого слова, например, идеи бур-

жуазной демократии XVIII века, совпадают с более общим содержанием его творческой деятельности и в целом способствуют, а не мешают ее успеху. Глубокие тени буржуазного кругозора кажутся здесь не отрицательной величиной, а простым недостатком более высокого развития, и «реакционное мировоззрение» превращается в мирную «историческую ограниченность». Однако видимая простота решения вопроса и здесь обманчива. Так, Вольтер, признанный вождь движения просветителей, до сих пор остается фигурой загадочной. Сколько пошlostей о его реакционных или, по крайней мере, барских поползновениях и его несовершенной личной этике было написано либеральным мещанином былых времен! В наши дни читать мораль Вольтеру уже не принято, но и сегодня в ходу различные приемы научной дипломатии, применяемой для того, чтобы сгладить слишком острые углы его жизни и творчества.

Перед лицом таких противоречий каждый честный эклектик чувствует себя, по меткому выражению Энгельса, как пехотинец, посаженный на кавалерийскую лошадь. Социальный «инвариант» людей, подобных Вольтеру, не укладывается в рамки наших абстрактных представлений о том, что было бы прогрессивно в данной исторической ситуации; он требует диалектического понимания того, что на деле было возможно в ней. И такое понимание нельзя заменить ни обывательской версией объективности, т. е. копанием в грязном белье великого человека, ни целым ведром розовой краски, которой его обливают, прежде чем представить читателю. Абстрактные схемы и эклектические поправки к ним бессильны даже там, где преемственность между наследием прежних культур и требованиями социалистической эпохи кажется геометрически ясной. «Модель» Некрасова, например, менее бросается в глаза резким контрастом светотени, чем «модель» Достоевского, но достоинства и недостатки нельзя разделить прямой линией и здесь.

Что же сказать о тех явлениях истории мировой культуры, которые вовсе не поддаются оправданию посредством общей схемы передовых идей? Исторически эта схема связана с буржуазным миропорядком и является отражением его прогрессивной роли в развитии общественно-равенства, науки и техники. Но определенные черты, которые принимает в этом обществе все передовое и лучшее, настолько плоски, одно-сторонни, рассудочны, что в противовес им более широкое содержание передового развития часто является в обратной и даже реакционной форме. Так, например, историческая конкретность мышления чаще присутствует в мировоззрении более консервативно мыслящих деятелей старой культуры. Не случайно убежденные сторонники материалистической философии Маркс и Ленин с особым вниманием обращались к таким мыслителям противоположного лагеря, как абсолютный идеалист Гегель. И как немилостивы они были к «своим», ко всякому понижению уровня революционной теории, ко всякой подделке, заменяющей ум и талант, строгость научного анализа и преданность истине благонамеренной тенденцией!



Было ли это простым осуждением обыкновенных человеческих слабостей? Едва ли. Похоже на то, что корифеи революционного марксизма видели в таких явлениях черту переходной эпохи — месть буржуазного строя жизни за слишком краткий срок его исторической службы. Так или иначе, не было более строгих судей по отношению к любой прогрессивной вывеске или словесному обещанию, чем Маркс и Ленин (с. 145–148).

Пехотинец, посаженный на кавалерийскую лошадь, теряется при первых толчках вступающих в действие противоречий. Между тем без этих противоречий нет ничего живого в истории, нет и самого ценного в ней, имеющего влияние на длинный ряд поколений. Так, без романтической струи, сочетающей отвращение к узости буржуазной демократии с патриархальной или дьявольской, inferнальной фантастикой былых времен, трудно понять могучий поток идей и образов в творчестве таких океанических натур, классиков высшего порядка, как Гёте, Пушкин, Бальзак. Без романтической струи, враждебной капитализму и всей прогрессивной, но отравленной неравенством цивилизации, невозможно понять и мудрую глубину Толстого, и драматический мир Достоевского, этих странных, но несомненных спутников русской революции (с. 156–157).

**Г.В. Плеханов. Очерк общественной деятельности и эстетических взглядов (1977)** // *Собр. соч., т. III, с. 107–187* (Статья была написана к 60-й годовщине со дня смерти Плеханова и впервые опубликована в кн.: Плеханов Г.В. *Эстетика и социология искусства*. М., 1978, т. 1. — *Примеч. ред.*; см. также: Лифшиц Мих. Г.В. *Плеханов. Очерк общественной деятельности и эстетических взглядов*. М.: *Искусство*, 1983):

Элемент *опрошения*, или, научно выражаясь, революционного примитивизма был важной составной частью той попытки приладиться к «народным потребностям», которая выросла из сознания громадной пропасти между революционной теорией как выводом из передового просвещения и самобытным сознанием народа, его привычками, условиями его жизни на земле. Народничество было именно попыткой заполнить эту пропасть путем самоотречения классовой цивилизации. Вот почему само понятие «народ» не только у Бакунина и Огарева, но даже у Герцена ближе к немецкой романтике, чем к французской традиции Марата и якобинцев.

Это понимание народности, более социальное, чем политическое, даже намеренно безразличное к борьбе за политические свободы, поскольку они не меняют положение бедного люда, многое говорило сердцу Толстого, оно не осталось бесследным и для Достоевского (с. 114).

Молва приписывала Бакунину совет, поданный им будто революционному штабу обороны Дрездена в 1848 году, — выставить на баррикады

«Сикстинскую мадонну», чтобы помешать обстрелу восставших королевской армией. Спрошенный о том, верен ли слух, приписывающий ему такое оскорбление вечных ценностей искусства, Бакунин ответил уклончиво. Не этот ли слух внушил одному из героев Достоевского мысль о «вонючем рабе», готовом изрезать «мадонну Рафаэля»? Или, быть может, придуманная им мелодрама возникла сама собой в атмосфере отчасти реального, отчасти воображаемого конфликта между искусством и демократией? Так или иначе, сам Михайловский, выражая сочувствие разnochинцу, страдающему от милостей русской жизни (как Ф.М. Решетников), писал: «В великих созданиях человеческого ума он чуял то самое оскорбление народу, из-за которого греческий раб разбил бы статую Фидия, если бы понял ее значение» (*Михайловский Н.К. Соч.*, т. 2. М., 1896, стлб. 639) (с. 142).

Если все явления художественной культуры — это общественные иллюзии, растущие на базе определенной социальной психологии, условные и относительные символы ее, то истина вытесняется из эстетического мира и становится достоянием одной лишь науки, понимающего сознания, беспощадного в своем анализе. Ученый социолог — справедливый следователь, как Порфирий у Достоевского, но все же только следователь (с. 183).

*Да будет выслушана и противоположная сторона (1978?) // Искусство и современный мир, 2, с. 137–145 (Выступление на XXXIV сессии Академии художеств СССР):*

К.М. Симонов — заслуженный советский писатель, по заслугам уважаемый и награжденный. Вместе с другими современниками пишущий эти строки имел возможность проследить весь его литературный путь, начиная с больших поэм о Фридрихе Энгельсе и Александре Невском в газетах тридцатых годов и кончая монументальной военной прозой следующих десятилетий. Никто не может упрекнуть Константина Симонова в недостатке советского патриотизма или в других идеологических изъянах. С точки зрения формы он — убежденный реалист, т. е. никакого «потока сознания» и прочих рискованных формальных экспериментов не допускает. Сравнить К. Симонова с Толстым или Достоевским было бы явной лезть, но и без всяких сравнений видно, что он твердо держится реалистической традиции. [...]

Другое дело К. Симонов как автор статей об искусстве. Здесь образ его начинает двоиться. Будучи реалистом в литературе, он защищает прямо противоположные позиции в живописи. Полна чудес великая природа! Одним из таких чудес являются хвалебные статьи К. Симонова о двух всемирно известных лидерах модернистского искусства начала века — К. Малевиче и В. Татлине, опубликованные в недавнее время (с. 137).

*Плоды просвещения (1979) // В мире эстетики, с. 37–96:*

Теория А. Гульги льстит «соавторам» (а их большинство) и весьма упрощает труд «авторов». От художника здесь требуется только «провоцировать фантазию» воспринимающего субъекта, возбуждать его вялую активность. Здесь празднует свой триумф диктатура потребителя. А. Гульге, с его декламацией против «потребительского мифа», будет неприятно узнать, что такой поворот модернистской эстетики является отзвуком той же идеологии потребления ради потребления. Теория «соавторства» нравится воинствующему обывателю — в ней оправдание его высокого мнения о своем кустарном умничанье, его склонности к легкой жизни и смердяковской жажде равенства без внутренней дисциплины и преклонения перед высоким. Долой его! (с. 53).

Мы знаем теперь, почему так много крови вокруг добра. Я не берусь разбирать пьесу Э. Радзинского, постановку А. Гончарова и его сценическую конструкцию — нечто среднее между огромной лестницей и амфитеатром — «символ всемирной истории, по ступеням которой проходит бессмертный Сократ». Замечу только, что созданный А. Гульгой (в качестве «соавтора») зловещий образ Первого ученика может соперничать с фигурой Великого Инквизитора. Но преимущество все же на стороне Достоевского.

Дело в том, что у последнего именно Инквизитор, а не Христос, является носителем житейского принципа условности истины, приспособления к тому, что обстоятельства меняются и верное вчера сегодня ошибочно, что слово, логос — ничто перед фактом. У Достоевского этот человек — циник, термидорианец христианской революции, жаждущий авторитарной власти, словом, образ, имеющий некоторую реальность в истории. Что же касается А. Гульги, то он, кажется, хочет толкнуть на сцену старую обывательскую идею, согласно которой кровь вокруг добра происходит от слишком большой убежденности в истине. Поэтому трагедия идеи, которой грозит опасность попасть в грязные руки, превращается у него в нравоучительную историю о том, что не следует увлекаться идеей, потому что сегодня верно одно, а завтра — другое. Придерживаясь какой-нибудь одной последовательной теории, легко стать «рационалистом», догматиком, откуда и пролитие крови. Важнее любовь как «сопричастность близким» и другие добродетели частной жизни (с. 88).

Не знаю, начитался ли А. Гульга новейших теоретиков научного знания типа Фаейрабенда или просто уловил модные веяния, но в развитии науки он видит тот же конфликт между догмой и творческой дерзостью разрушителей систем. Авангардизм имеет свою пятую колонну в науке. «Испокон веку, — пишет А. Гульга, — ее представители делятся на две категории: ученые-творцы, разрушители старых систем, и ученые-

«эрудиты», вобравшие в себя школьную премудрость, подчас просто оболтусы, бдительно стоящие на страже устоев и авторитетов» (*Гулыга А. В. Искусство в век науки. Академия наук СССР. Серия «Философия, экономика, право». М., 1978, с. 158).*

Соблазнительная, лстящая графomanам, изобретателям *perpetuum mobile* и всем невежественным Смердяковым науки, но совсем не доказанная обратная теорема! Бывает, конечно, что оболтусы стоят на страже устоев, но гораздо чаще сами они «тащат наразохват» идейное добро, накопленное предшествующими поколениями. Так, в середине прошлого века оболтусы топтали старые классические системы философии во имя вульгарного материализма и позитивизма, а в конце того же столетия другие оболтусы занялись активным разрушением материалистической основы естествознания. Что касается «ученых-творцов», то считать их принципиальными «разрушителями» по меньшей мере односторонне (с. 90).

*Бессистемный подход (1976, 1981) // В мире эстетики, с. 97–188:*

Отражение, которое не отражает объективную реальность, а ходит, как Голядкин, само по себе, есть бессмыслица, игра слов (с. 149).

Примером общения может служить переписка Макара Девушкина с его Варенькой. Вот уж действительно подлинное общение двух несчастных людей, раздавленных колесом жизни и в то же время полных сознания своей субъективности, своего человеческого достоинства, переходящего даже в чрезмерную придирчивость, избыток гордости, капризность бедных людей. Во всем этом столько верных оттенков, делающих порыв общения между двумя страдающими субъектами таким искренним, мучительным и безусловным.

Но возьмите любую обывательскую переписку, в которой люди рисуются друг перед другом, фальшивят, задают тон, по выражению того же Макара Девушкина. Общение это тем менее ценно, чем меньше в нем правды — и как простой искренности, и как реального содержания (с. 169).

Бывает и так, что истинное содержание выступает в ложной, даже реакционной форме, и тем не менее оно имеет ценность, и притом гораздо большую, чем иное формально правильное и прогрессивное содержание, если это содержание по существу ничтожно и только представляется нам с парадной стороны. Так, при всех возможных оговорках «познавательное содержание» произведений Достоевского реакционно, что не мешает этому содержанию быть очень глубоким или, вернее, в общем не мешает, хотя иногда и мешает, потому что в художественных произведениях, как и в жизни, бывают недостатки, как бы неотделимые от достоинств, но бывают и такие недостатки, которые вполне отделимы от

них. Это знал В.Г. Белинский, это неплохо объяснила наша марксистская литература 30-х годов. К ней обязательно вернется каждый мыслящий человек, когда ему окончательно надоест бессистемный подход (с. 171).

Для Маркса бытие, включая сюда и бытие общественное, не лишено предикатов ценности и не лежит по ту сторону добра и зла, в царстве нейтральных, безразличных к человеку законов необходимости. Допуская, что на почве необходимости может расти свобода, Маркс выдвигает свой идеал научного коммунизма, не менее реальный, чем закон физики, и не менее нравственный, чем идеал старца Зосимы, — нет, более нравственный, чем любой религиозный идеал (с. 186).

*Человек тридцатых годов (1969, 1981) // В мире эстетики, 1985, с. 189–312:*

Все в мире развивается через противоречия, но всякое развитие предполагает то, что развивается. Глубокая мысль, скрытая в кипящих страстью драмах Шекспира, предполагает мир настолько богатый красками и пластически-определенный, что даже образы его распада, созданные реальной историей этой эпохи, могут соперничать с художественной фантазией. В рамках итальянского Ренессанса личность больше чувствовала свое торжество, чем свое поражение, пишет Ильин. Это верно, но отсюда еще не следует, что в прекрасных формах, выражающих светлую радость этой минуты, перед нами только иллюзия времени. Нет, тысячу раз нет! Великая историческая правда сияет в таких подъемах жизни. При всем трагизме эпохи Возрождения эта правда пережила ее и долго еще своими идеальными образами внушала людям уверенность в том, что прекрасный мир возможен, что он впереди нас. Вспомните Достоевского с его мечтой о золотом веке, найденной им в Дрезденской галерее. И вот вам место пластической гармонии в системе истины.

Но, боже мой, как это не популярно! Дэвид Рисмэн писал о «толпе одиноких лиц». С таким же правом можно сказать, что в наши дни бушует «толпа оригинальных личностей». С однообразным рвением доказывают они в стихах и прозе свое вольномыслие за счет Венеры Милосской или царственных итальянцев, висящих в тиши музея, пока самолеты сбрасывают напалм на детей и женщин. Как будто несчастные дети страдают от красоты и гармонии, а не от общественного навоза, который также может быть освещен лучами солнца, но все же только навоз! Как будто, испакостив все вокруг и оскорбив невинную гармонию (как человек из подполья, мудро придуманный Достоевским), мы поможем кому-нибудь, откроем глубокие тайны, разоблачим чье-то лицемерие. Отвратительная стадная пошлость, без конца повторяющая себя уже много десятилетий с неизменным видом оригинальности и новизны! Чем хуже воскресный хулиган, желающий выразить свой протест на первой попавшейся чистой стене?

А помните одно из действующих лиц «Братьев Карамазовых», выражающее хамский бунт ни с чем не соразмерного и оскорбленного самолюбия? Что хотел сказать сам Достоевский, определяя это лицо словами «передовое мясо», не так существенно. Более важно то, что сказалось в этом страшном образе лакейской лжедемократии.

Чтобы выразить все до конца перед лицом опасности, растущей на этой почве в нашем передовом XX веке, нужно прибавить, что при самых плебейских чертах, которые вызывают наше сочувствие, бунт раба, ненавидящего все духовно-высшее, артистически-развитое, не имеет ничего общего ни с коммунизмом вообще, ни с большевизмом Ленина. Это идея буржуазная, а не социалистическая, глубоко связанная с теми движениями мысли, которые привели человечество к созерцанию «призрака безобразного», чреватыми и буржуазной уравнительностью, и не менее буржуазным культом исключительной личности.

Разумеется, наш автор (И. Ильин. — А. Б.) здесь ни при чем. Его глубоко задела роль трагического начала в истории, особенно в древнем мире, который он изучал глазами историка искусства, но ему никогда не приходило в голову преувеличивать свою мысль до отвращения к высокой норме истины, добра и красоты, родственного всякой смердяковщине. Проникая в изнанку жизни, трагический поэт возможен до тех пор, пока возможна поэзия жизни вообще (с. 286).

Судьбы марксизма неразрывно связаны с определенной исторической перспективой — в этом не может быть никакого сомнения. Нельзя быть марксистом, заслоня многообразие самобытных исторических форм художественной культуры вершины общего развития ее — Грецию, Возрождение, классический реализм Нового времени. Это все равно что отречься от философии истории Маркса и Энгельса, не имеющей ничего общего с релятивизмом современной теории множества разобщенных цивилизаций. Опасен «европоцентризм», не принимающий во внимание самобытность народов мира, но трижды опасен «европонигилизм», сочетающий современную духовную реакцию, обвешную слишком тонкой пищей и бредящую новым варварством, с действительным отсутствием культуры, азиатчиной и смердяковским бунтом (с. 288–289).

Только обращенной силой истины, ищущей себе верный путь в темноте, можно объяснить гениальные творения Достоевского, религиозное искусство средних веков и все, что формально противоречит нашим представлениям о передовых идеях, но тем не менее является нашей драгоценной собственностью. Часто бывает, что именно там, где исторические условия далеки от прозрачности, глубокое, хотя и темное впечатление жизни так богато истинным, демократическим содержанием, что мы готовы простить самые грубые отступления от него и отчасти даже не замечаем их.

Одного немецкого романтика начала прошлого века называли «демагогом наизнанку». В самом деле, было что-то якобинское в его критике морального падения французской революции, в его яростной защите средневековых идеалов. Это был плебей, попавший в парадоксальное положение защитника католической реакции. Не надо смешивать такую реакционность с обыкновенной защитой своекорыстных интересов какого-нибудь класса или сословия, хотя *в конечном счете* и та особенная реакционность, которую мы видим, например, у Достоевского, оставила свой темный след.

Я не буду здесь развивать эту мысль, имеющую много разных оттенков, диалектических поворотов и ограничений. Скажу только, что иные грешники демократии ближе к спасению, чем праведники ее. История вообще не любит первых учеников. Она слишком пронизательна, чтобы верить их аккуратной морали, их склонности быть всегда на гребне волны, их слишком передовым рассуждениям. Не были первыми учениками прогресса ни Дидро, ни Гейне, ни Чернышевский (с. 291).

При виде тех удивительных фигур, которые часто описывает современная мысль вокруг таких явлений, как Достоевский и даже Пушкин, невольно приходит на ум опыт 30-х годов. А все-таки было же сказано разумное слово, зачем вы его не послушали? Затем, что старый догматизм, не выдуманный, а действительный, и современные восьмерки мнимого творчества не так далеки друг от друга. Друзья-враги помирятся. Но то, что им не показано и даже противопоказано, — это и есть действительное содержание взглядов «гносеологического» направления 30-х годов (с. 292).

Если современное слово «демократия» древнего происхождения, то древнего происхождения и тот великий урок, который заложен во всяком опыте паразитизма во имя демократии. В подобных случаях, отнюдь не редких в истории и образующих сложную цепь ее противоречий, мы не можем судить с точки зрения абстракции прогресса, но, как сказано выше, обязаны стремиться к более высокой позиции, с которой видны обе стороны исторического движения. И не прав будет тот, кто хотел бы представить эту позицию как отказ от определенной точки зрения в борьбе. Нет, это подлинная борьба, но «борьба на два фронта», которую можно вести лишь поднявшись над относительной противоположностью двух взглядов — «романтического» и «буржуазного». Это и будет точка зрения научного коммунизма, независимая, партийная, стоящая за народные интересы в самом широком смысле слова и представляющая не *малое* человечество, в любом его количественном расширении до Смердякова включительно, а *большое*, в бесконечной перспективе его развития (с. 294–295).

Сократ, действительно, был близок к противникам афинской демократии, как Алкивиад, Ксенофонт, Платон. Мы уже знаем, что даже

крайний деятель партии «тридцати тиранов» — Критий принадлежал отчасти к его кружку. Как же это могло случиться? Такие странные прикосновения — не редкость в истории, но здравый ум, свободный от новой инфекции, не станет смешивать, например, Достоевского с Победоносцевым. При любом совпадении в словах между ними неустранимая объективная разница, если не пропасть. Так и в истории Сократа (с. 298).

*Ленинизм и проблема наследства (1982) // Собр. соч., т. III, с. 259–285 (см. также: Проблема наследия в теории искусства. М., 1984):*

Раб, сознавший свое рабство, наполовину уже не раб, сказал однажды Маркс. Напротив, раб, культивирующий свое рабство в особой рабской идеологии, — это лакей и хам. Смердяков ненавидел духовную аристократию и все, что стояло выше него. Он, правда, тоже был озабочен проблемой наследства и даже зубрил французские вокабулы, т. е. хотел овладеть формальной техникой культуры, но революционный мир никогда не признает за Смердяковым малейшего родства с демократией и социализмом (с. 261–262).

По словам Бакунина, участники берлинского кружка «Свободных» пошли в своем нигилизме гораздо дальше самых крайних русских нигилистов. Вернее было бы сказать, что они предвосхитили психологию многих типов Достоевского. Так, рядом с идеальным «Человеком» старого немецкого гуманизма Макс Штирнер ставит эгоистического «Нечеловека», Unmensch, действующего во имя дьявола. Но этот обыкновенный эгоист еще слишком связан реальным интересом, и самого себя Штирнер считает пророком истинного эгоиста будущего, сверхчеловека, бунтующего против бога во имя чистой акции своего самосознания. Учение Ницше, его идея бескорыстного зла, проглядывает здесь уже достаточно ясно (с. 275).

*Вольтер — мыслитель и художник (1953–1983?) // Собр. соч., т. II, с. 349–445 (Расширенный вариант статьи, опубликованной к 175-летию со дня смерти Вольтера (Новый мир, 1953, № 6). В дальнейшем автор вернулся к ней, осветив новые грани творчества великого французского писателя. Работа над последними разделами (14, 15 и 16) завершена не была. — Примеч. ред.):*

Некоторые замечания Вольтера напоминают позднейшие пушкинские слова о русском бунте, которые с таким же основанием могут быть отнесены и к французскому, немецкому и любому другому. Иногда кажется, что Вольтер имеет в виду что-то похожее на образ Смердякова, созданный великим русским писателем. Капля вольтерова меда есть, разумеется, во всем многообразном развитии этой мысли.

Однако народная революция и смердяковский бунт против всего высокого и прекрасного — не одно и то же. И, говоря прямо, может быть



слишком прямо, историческая ограниченность Вольтера заключалась именно в том, что он не сумел провести необходимый водораздел между этими двумя явлениями (с. 400).

*«Горе от ума» Грибоедова (1967–1980-е годы) // Очерки русской культуры, с. 102–161:*

*Часть вторая (с. 118–161)*

*«Горе уму» и «горе от умничания» (с. 129–161):*

Чванство своей прогрессивной позицией вообще противно, ибо подлинно глубокому, не обезьяняемому прогрессу чуждо всякое, в том числе и самое прогрессивное, убеждение в собственной святости. Ум отвечает не только за самого себя, он отвечает и за глупость, если она присутствует в этом мире, и отвечает даже в том случае, если он не в силах ее устранить. «Нет в мире виноватых!» — сказал король Лир. К сожалению, это не так, и хотя бы в историческом смысле они есть. Но нет в мире и совершенно правых, поэтому более всего правы те, кто это понимает. В комедии Грибоедова «Горе от ума» такое понимание жизни открыто каждому, умшенно или «безумышленно» — все равно.

Фабула комедии «Горе от ума», несущая в себе этот совсем не дидактический урок, имела свое сильное время. Пушкин и Белинский ошибались в оценке роли Чацкого, но они хорошо понимали проблему, о которой идет речь в комедии Грибоедова. Ибо жили они в такое время, когда умному и честному человеку не только трудно было что-нибудь сделать — трудно было даже узнать, что он должен делать в окружающей среде и чем можно заполнить пропасть, отделявшую эту среду от более широкой жизни страны, жизни народа. Впоследствии это стало яснее, и делать уже было что или по крайней мере казалось, что сделать что-нибудь можно. Меняющаяся историческая обстановка привела к новой оценке роли Чацкого. Переоценка ценностей началась уже у Белинского сороковых годов. Однако новое понимание пришло с собой и новое непонимание, сложившееся в устойчивую схему, которая господствует с тех пор *mutatis mutandis* уже целое столетие. По мере развития возможностей для практического дела формула «горе от ума» теряет свое реальное значение и превращается в «горе уму» — т. е. абстрактную схему противоположности между умом и глупостью, интеллигенцией и мещанством, прогрессом и отсталостью. Разумеется, эту иллюзию также нельзя считать простой иллюзией заносчивого ума, как думал Достоевский, а нужно видеть в ней своего рода объективное идеологическое представление, в котором отражается эволюция самой исторической фабулы.

Апология Чацкого началась в шестидесятых–семидесятых годах прошлого века. Сначала Огарев, потом Герцен в Лондоне связали Чацкого с поколением революционеров-декабристов, не сомневаясь в том, что он протянул бы им руку через головы торжествующих фамусовых и скало-

зубов двух императорских царствований. В легальной печати связь Чацкого с декабристами была прозрачно намечена в статье Аполлона Григорьева (1862). Статья эта написана с христианско-народнической точки зрения, но ее объединяет с выступлениями корифеев лондонской эмиграции высокая оценка деятельного начала, представленного Чацким, в отличие от Онегина. По словам Н.П. Огарева, в Онегине преобладает «сломленность». Что касается А. Григорьева, то он вообще относит Онегина и Печорина к светским «львам и фешенеблям». Чацкий, напротив, является, с его точки зрения, единственным героическим лицом в русской литературе.

Хотя статья Аполлона Григорьева была напечатана в журнале «Время», сам издатель журнала Ф.М. Достоевский занял другую позицию. Конечно, эта позиция была ретроградной, но удивительным образом критики Чацкого всегда смотрели на дело более глубоко, чем его поклонники. Достоевского интересует не благородный порыв, не беспредметная активность Чацкого как представителя деятельного начала вообще, а содержание его возможной деятельности. Он не отвергает связи Чацкого с декабристами, но берет октавой ниже, сомневаясь в серьезности всякого дворянского протеста против господствующих нравов. Устами своего «коренника» Шапошникова (позднее превратившегося в Шатова) Достоевский читает будущему Степану Тимофеевичу Верховенскому настоящую лекцию о борьбе классов. Подобно нашим вульгарным социологам двадцатых годов, Шатов, самое симпатичное автору действующее лицо романа «Бесы», подчеркивает ограниченность дворянской критики общества. Кто такой был Чацкий? «Он был барин и помещик, и для него, кроме своего кружка, ничего и не существовало». Вот почему он так кричит: «Карету мне, карету!» Но к народу он не поедет, туда в карете не ездят, а поедет, вероятно, за границу, чтобы оттуда тянуть оброк, жить в Париже, слушать Кузена и кончить чаадаевским или гагаринским католицизмом (здесь Шатов, без сомнения, следует за Герценом, который допускал, что Чацкий ударится в какую-нибудь крайность, подобно Чаадаеву).

«Точно так, — продолжает свою историческую лекцию Шатов, — думали и декабристы, и поэты, и профессора, и либералы, и все реформаторы до царя-освободителя». Интересы дворян и крепостных были настолько противоположны, что освобождение крестьян могло прийти только сверху. «Эта мысль у царей родилась, а декабристу Чацкому в голову не приходила. Господи, а ведь они и не понимали, что цари не только их либеральнее и передовее, потому что цари всегда вместе с народом шли, даже при Бироне». Недаром цари брали дворян под опеку за жестокое обращение с крестьянами. Декабристы совсем не знали народа, и их московское общество было для них вся Россия, да и Россию вообще они ненавидели. «Бьюсь об заклад, что декабристы непременно бы освободили тотчас русский народ, но непременно без земли — за что им непременно сейчас же народ свернул бы головы и тем бы доказал, что не

одно их московское общество составляет Россию, — к величайшему их удивлению. Но что? Они и без голов ничего бы не поняли, несмотря на то, что головы их всего больше и мешали им понимать».

Вот оригинальная версия темы «горя от ума»! Именно головы лучших людей дворянской эпохи мешали им понимать народную жизнь. Поэтому все их критические выпады ничего не стоят, с точки зрения Шатова. «Чацкий и не понимал, как ограниченный дурак, до какой степени он сам глуп, говоря это», т. е. осуждая свой круг. Правда, доказав, что Чацкий был не только помещик, но и дурак, Шатов вспоминает, может быть, другого «коренника» — Ап. Григорьева, с его высокой оценкой героической активности грибоедовского героя. «Но пусть он глуп — зато у него сердце доброе. Пусть он недалекий — зато мысль его все-таки оригинальна. Тогда все эти тирады против Москвы все-таки были оригинальны». Но теперь взгляды Чацкого уже безнадежно устарели. «Кто въезжает в казенные формы либерализма — тот отстал». Либерализм требует для каждого поколения чего-нибудь оригинального.

Нетрудно, конечно, доказать, что мнение Шатова и, по крайней мере отчасти, самого Достоевского несправедливо. Дети помещиков были способны на самую большую самоотверженность, и они доказали это. Не было у них и никакой ненависти к России, которую пытается приписать им Шатов, а была именно горячая преданность ее национальным интересам. Но что касается содержания дела, классовых противоречий и безвыходности положения декабристов, то нужно признать, что в лекции Шатова много верного. Верно то, что умный Чацкий был в глупом положении, может быть, даже не понимая этого в такой степени, как понимал сам автор комедии.

Более всего заблуждался Достоевский, или его анти-Чацкий Шатов, в своей теории единства интересов монархии и народа. Впрочем, такие мысли встречались даже у самых серьезных людей декабристской эпохи. Так, в известной записке Н.И. Тургенева (1819) власть самодержавия рассматривается как якорь спасения. «От нее — и от нее одной мы можем надеяться на освобождение наших братьев от рабства, столь же несправедливого, сколь и бесполезного. Грешно помышлять о политической свободе там, где миллионы не знают даже свободы естественной». С этой точки зрения Тургенев возражал против расширения политических прав своего собственного класса — дворянства.

Быть может, именно это внутреннее противоречие стало моральным оправданием для Грибоедова и Пушкина после 1825 года в их вынужденном примирении с «разумной действительностью» империи Николая. Ведь сравнивал Пушкин однажды династию Романовых с якобинцами. Единовластие — самая отвратительная вещь на свете, кроме аристократии, которая еще хуже. Вот почему великие умы, начиная с гуманистов эпохи Возрождения, часто видели в централизованном единовластии единственный, хотя и скверный якорь спасения. Конечно, в эпоху Достоевского мысль о единстве интересов монархии и народа уже превратилась

в реакционный парадокс, отражавший предрассудки темной народной массы и связанный у великого писателя с его яростной ненавистью к либерализму. С этой точки зрения интересно, что в своем скептическом анализе отношения Чацкого к народу Достоевский сходится с Добролюбовым, стоявшим на прямо противоположном фланге общественной жизни. Сходится его насмешка и с иронией Щедрина (с. 145–148).

Как видно, все же «благородное сумасбродство» само по себе не может служить критерием истины. Каков ум этого сумасбродства, во имя чего оно нарушает спокойствие, имеет ли смысл поднявшаяся кутерьма, словом, те вопросы, которые интересовали Пушкина и Белинского, Добролюбова и Достоевского в их оценках главной фигуры грибоедовской комедии, остаются в силе и не снимаются широким обобщением, сделанным в статье «Милion терзаний» (И.А. Гончарова. — А. Б.). Только там, где спокойствие обеспечено слишком массивными средствами, формальный принцип нарушения установленных норм как искупительный жест, отдушина, символ приобретает особую привлекательность. Во второй половине XIX века, когда возможности влияния отдельного индивида на общественную жизнь при всей их растущей вместе с буржуазной цивилизацией формальной широте становились на деле все более тесными, эта новая историческая фабула, менее значительная по содержанию, но более доступная, уже подчиняла умы людей (с. 150).

Совершенно очевидно, что в течение трех страннических лет, предшествовавших поднятию занавеса, в Чацком произошел большой перелом. Как и Фонвизина в конце XVIII века, его, видимо, оттолкнули чем-то западная цивилизация и некоторые черты главных национальностей Европы, как это, может быть, видно из его замечаний о немцах и французах, внушенных автором комедии. Вернулся Чацкий потому, что почувствовал ностальгию, почувствовал себя любящим родное и готовым покориться до некоторой степени его недостаткам, не закрывая глаза на все смешные, отвратительные ему черты русского барства. Он вернулся в отчий дом и хочет найти уголок своему оскорбленному сердцу именно в Москве. Таков Чацкий, каким он вступает на театральные подмостки. Как видно, ошибся Федор Михайлович Достоевский, и вышло, что своя своих не познаша.

Зачем же вопреки очевидности считать его воплощением какого-то «рационального» ума, как это делают с двух разных сторон и апологеты его, видящие в нем только борца за просвещение против невежества, и критики, возрождающие традицию Достоевского или даже Василия Розанова? (К последним, кажется, следует отнести С.И. Даниеля, который в своей любопытной, но далекой от истины книжке «О философии Грибоедова» (вышедшей двумя изданиями в 1931 и 1940 годах) считает ум Чацкого порождением «интеллектуалистического воззрения просветителей XVIII века») (с. 160–161).

*Устный отзыв Лифшица о Достоевском (1973–1983) // Запись М.Г. Михайлова, приложенная к его воспоминаниям о М.А. Лифшице (см. их: Письма, с. 175–178):*

Л И Ф Ш И Ц.

— Написанное Достоевским все же написано психически-больным человеком.

— По каким признакам его прозы Вы это улавливаете?

— Признакам? Прежде всего нестерпимая сентиментальность. Мудрейшая душа — это душа сухая, говорили греки. У Достоевского очень много мест, где сентиментальность его вызывает чувство гадливости.

*Эстетика Гегеля (1980-е годы?) // Эстетика Гегеля и современность. М.: Изобразительное искусство, 1984, с. 22–51:*

Вы помните, может быть, как у Достоевского князь Мышкин говорит о себе, что у него «жест всегда противоположный», т. е. нет гармонического соответствия между идеей, которую он хочет выразить, и тем, как она выражена. У самого Достоевского, впрочем, был «противоположный жест», и его долго судили по этой внешней форме. Без понимания логики «противоположного жеста» трудно понять историю духовной культуры. Но и реальная история, творимая в процессе общественного труда и на полях сражений, подчиняется тому же закону. Эпоха Гегеля открыла людям тот факт, что всеобщие силы истории прокладывают себе дорогу обратным путем (с. 32).

Закон «противоположного жеста» он (Гегель. — А. Б.) называет хитростью разума, или хитростью понятия, понятие же в его системе — это, так сказать, конкретная программа идеи, которая переходит в свое другое, в инобытие духа, плоть и кровь, природу, материю (с. 33).

Мы видим таким образом, что «противоположный жест» играет громадную роль в диалектической жизни духа, или идеи, которую Гегель считал основой всего существующего (с. 36).

Растущий демократизм сюжетов искусства прошлого века есть именно «противоположный жест» гегелевской идеи, подъем низшего, неловкого, подавленного на эстетическую высоту. Недаром эстетика Гегеля сыграла большую роль в духовном развитии русской революционной демократии (с. 40).

Так странно все идет в подлунном мире, что его не поймешь без «противоположного жеста» князя Мышкина (с. 48).

Идеал прекрасной жизни говорит нам, что не всегда крепости берутся большой кровью — в каждом деле возможен и лучший путь.

Чем хуже был бы твой удел;  
Когда б ты менее терпел? —

вот надпись над воротами всего мирового искусства, мечта «золотого века», увиденного Достоевским в картине Клода Лоррена, и вывод из всех трагических и комических ситуаций мира (с. 49).

*Архивная запись (1983?) // Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков (Книга-диалог). М., 1997:*

...Есть и плебейский модернизм, есть и смердяковская ненависть ко всему лучшему, выражающаяся, например, в вандализме. Но здесь модернизм сходится с тем, что идет снизу, в самом дурном — в интегральной преступности. А большая часть массы все же консервативна. И задача состоит в том, чтобы революционным образом обеспечить эту здоровую тенденцию к сохранению консервативности (с. 40–41).

*Философия культуры Дидро. Фрагменты (не датировано) // Эстетика Дидро и современность. М.: Изобразительное искусство, 1989, с. 295–329:*

*Идея Дидро — бескорыстно-положительное действие, непосредственно-общественный акт как основа морали.* Вернее было бы сказать, что Дидро переходит от *морали* к *нравственности* и тем прокладывает дорогу немецкой философии и поэзии.

Его забота — это *нравы*, те общественные нравы, которые заставляют человека добровольно и безрасчетно совершать общественные, полезные для других поступки. Проблема Дидро есть проблема материалистическая, чуждая религиозному надрыву Достоевского (с. 308–309).

Нет ли излишней рефлексии и в самой позе мудреца, пренебрегающего успехом и рациональными последствиями своих трудов? Быть может, быть «безумцем» — значит продолжить свою мудрость до того, чтобы не всегда сохранять золотое правило — ни о чем не жалеть? Но продолжать это рассуждение — это значит попасть в перпетуум-мобиле. Нельзя поднять самого себя за волосы. Задача Дидро была неразрешима в границах личности.

Остается за ним предшествующее Достоевскому и нравственному чувству следующих столетий отвращение к административно-рассудочному, самодовольному моральному жуированию, смакованию собственной «хорошести», моральной эксплуатации других путем покровительства, благодеяний, унижения злых и несчастных.

Наиболее глубокое повторение идей Дидро — в морали Чернышевского, которая не сводится к разумному эгоизму, допускаемому лишь для большинства людей (с. 313).

*Что такое классика? (Записи разных лет, недатированные) // Что такое классика?:*

Проблема моральной чистоты и отвращение к чистоплюйству у Лукача. Его рассказ мне о вилле под Гейдельбергом и его самоотречение. Mittenzwei об «этич(еском) ригоризме», Достоевском etc. Это *двойственная вещь — личная ответственность*. (Неразб.) Елена и ее рассказ о том, что следователь д(олжен) б(ыл) *присутствовать* (с. 116).

Мечтатель Достоевского отчасти прав — мы живем реальностью. Но ведь каждая реальная вещь окружена идеальной атмосферой, «ожидания (-ния?)» часто важнее факта, обладания. Вещь сама = 0. Все (NB) *отношение, движение*, и в этом *идеальность бытия, материи*. Особенно в человеческом обществе.

Скептицизм (и руссоистско-толстовско-сократовский) совлекает *иллюзии*, но то, что остается — *иллюзорная природность, духовное царство животных*. Раскрытие «иллюзорности», «суетности» наших стремлений — только шаг к пониманию *идеальности отношений*. Ибо ведь истина, которую ставят на место суетности, также не голая вещь, а гармоническое *отношение (rapport Дидро)* (с. 236).

Чем плох абстрактный гуманизм? Тем, что он абстрактен, а это — холод, не нравственность. Но сначала их правота? Сначала, пожалуй, общая *преамбула насчет абстрактного*. Этому противопоставить марксиста «я нищим подаю» как *более конкретное, не абстрактное*.

Толстой и Достоевский не правы — у них тоже *теоретизм, тоже дальноедействие*.

Толстой и Достоевский правы отчасти, пока они критикуют слабости демократии и социализма. Но они абстрактные гуманисты, и потому это *не нравственность*.

Близкоедействие = материализм = материальное благо, природа, раз (умный) эгоизм, а не отвлеченность. Но, разумеется, здесь обычное *qui pro quo* (один вместо другого, смешение понятий. — *Лат.*), ибо близкоедействие — идеальная форма, а дальноедействие — механический материализм (с. 347).

Два полюса в жизни и в искусстве

Связь двух полюсов реализма с проблемой *прекрасного* в безобразном, возвышенном, ужасном (второй полюс).

Два полюса реализма и удовольствие от неприятного, страдания. Это (уже до изображения, подражания) есть — и по отношению ко мне и по

отношению к другому — здесь удовольствие не просто удовольствие, но радость от *знания истины*. И можно показать анализом противоречивых удовольствий (например, при чтении Достоевского), что здесь мы стремимся к неприятному и оно доставляет род скрытой радости, поскольку мы узнаем тем самым, что мы *по-настоящему* должны делать в *подобной* ситуации. Мы рады, что делаем это или, по крайней мере, знаем, что надо было делать (с. 391).

Цикл, фатальное искажение общественной воли (с. 458–459):  
[...]

Впервые в истории чисто преступное начало, без покрова какой-нибудь патриархальности, становится одной из сторон общественной драмы, правда измельчавшей. Отсюда тот факт, что найденная литературой сначала как остаток былой вольной сферы преступность и весь окружающий ее мир становится существенной темой двадцатого века. Жалкая, но объективная черта! Мы осуждены на детективный жанр.

Из этого видно также, что бунт может быть рациональной стороной и, напротив, рациональная цивилизация есть что-то иррациональное.

Где же силы, способные здесь разорвать цепь циклического хода вещей? Стоящие по ту сторону сытой и алчущей буржуазии Смердяковых и К°. Это рабочий класс и его революционный авангард, но увы...

Наша цивилизация слишком далеко зашла, она нависла над пропастью, силы отделились от массового базиса... (это очень отражается в искусстве). Но это значит, что она недостаточно далеко ушла. «Заскочила». Как централизация опережает конкретизацию (?) (с. 459).

Закон обратного действия (ср. марксистская теория черта). И марксизм как единственный выход из чертова контура (с. 459–464):

Абсолютная проблема, поставленная Октябрьской революцией, — преодоление мировой казенщины. Живущей в недрах современной цивилизации и не желающей отсюда уйти.

В чем мы сходимся с Толстым и Достоевским? Никакой позой, никакой проповедью благодеяния этого не решишь. Или — или. Это были мастера внутренней непримиримости, их подкупить каким-нибудь моральным вывертом было нелегко. И все же. Поскольку из страха перед казенщиной ложной демократии и мнимого социализма они вернулись к религиозной морали, они сами остались в рамках спасения души. А этика спасения души, собственной души, безнравственна, эгоистична. Истинная нравственность не остановится даже перед тем, чтобы собственную душу загубить, не говоря уже о ее нежелании принять награду за добродетель на том свете, да и на этом. В этом мы расходимся с Толстым и Достоевским. Нравственная сила Октябрьской революции соприкасается с их миром и отдает ему должное, но идет неизбежно дальше их. И это не потому, что наша революционная нравственность просто отвер-



гает их поиски как выражение идеологии прежних классов, а потому, что абсолютный вопрос, ими поставленный, решается лучше с точки зрения Октябрьской революции.

Ужасная сила нашей задрюги — цивилизации, ее дурацкая спесь, ее футурология в стиле Босха. Нужна альтернатива всей этой неопатии. Мудрость марксизма и почва для сближения и с католиками, и с православными на почве «познай самого себя», умерь самого себя, найди истинный смысл существования — это и Толстой, и Достоевский — они наши друзья и союзники против всех носителей футурологии и неопатии. Умные люди аристократы (?) и умные люди мужики, а все, что посредине, — дрянь. См. между прочим интервью Чаплина в «Лайф», 1967, IV (?) (с. 461).

*Pro domo sua (Записи разных лет, недатированные) // Новое литературное обозрение, № 88 (6'2007), с. 80–114 (см. также: Varia, с. 84–141):*

О переходе от 20-х гг. к тридцатым, о падении «меньшевицкой идеологии», о новом поколении [нрзб.], о любви без «лица» даже при зловонном дыхании, о 40–45 % бедноты в деревне, о журнале «Огонек». Об *уравнительной революции Сталина*, проделанной крестьянскими сынами, хотя это дорого досталось самому крестьянину. И о том, какие гадости впоследствии вышли из идеи любви «без лица», «так надо». Дух Достоевского (с. 91).

Расширение той ленинской схемы, которую систематизировал Луначарский по Ленину, — два пути<sup>1</sup>. Вопрос шире противоположности либерализма и демократии. Доказательство — великие консерваторы человечества. Но анализ должен быть тем же, продолжением его. И этот охват более ранних явлений дает возможность понять и некоторые запоздалые формы времен распада на «два пути» по Луначарскому, запоздалые или возродившиеся в их запутанности (в связи с поворотом истории — Толстой, Достоевский, отчасти даже Тургенев, Фет).

Необходимо связать *теорию цикла* с моей старой теорией 30-х годов о *великих консерваторах человечества* (→ максимум «свободного духовного творчества»). Они представляют собой единственно возможный выход из круга в их время. Как представители «свободного духовного творчества» они принадлежат будущему. Но вместе с тем, это одно-

<sup>1</sup> (Сноска 62 из цит. изд., примеч. — с. 111–112.) Вероятно, Лифшиц отсылает к статье Луначарского «Ленин и литературоведение» (1932), впервые опубликованной в 6-м томе «Литературной энциклопедии». Эти размышления касаются «узкого» прогрессивного развития самых передовых общественных или художественных сил в столкновении с «широким» низовым стремлением масс к свободе и всеобщему счастью в равенстве (см.: Лифшиц Мих. А.В. Луначарский [1967] // Лифшиц Мих. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 190–193). — Примеч. ред.

временно и *бунтари*, с элементом фатального сверхчеловечества, в большей или меньшей степени (таковы люди эпохи Возрождения, таковы мудрецы греческой философии) и неизбежно — представители определенного *господствующего класса*, в рамках которого они действуют (опять же — в большей или меньшей степени), ибо они должны и *отделить себя* от «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», и не только русского: тайпины и жаки — не лучше. Одним словом, это Tertium datur [третье данное (*лат.*)] по отношению к прот[иворечию] <?> *верхов и низов* (с. 92).

## КОММЕНТАРИИ

### И. А.Н. Столович: Документальный комментарий к фрагменту М.А. Лифшица «Разговор с чертом»

Текст, который публикуется под наименованием «Разговор с чертом», автор этих строк слышал в чтении самого Михаила Александровича в 1964 г. Он его читал у себя дома Нине Николаевне Козюре и мне. Притом, могу сказать с полной определенностью, то, что читалось М.А., было не фрагментом, а законченным эссе.

Наряду с ним он прочел нам еще и другое эссе. Я не помню сейчас его названия, но запомнил некоторые включенные в него элементы. Там вначале речь шла о статье, кажется, в «Литературной газете», писателя Николая Матвеевича Грибачева, имевшего одиозную репутацию глашатая официальной идеологии, статье, неожиданно направленной против не менее одиозной фигуры борца с «враждебными взглядами» («космополитов», «субъективистов», «формалистов» и пр.) Ивана Борисовича Астахова. Статья Грибачева называлась «Коза на привязи». Михаил Александрович, видимо, руководствуясь словами Ленина: «когда один идеалист критикует другого, от этого выигрывает материализм», совершенно обдуманно (он мне говорил об этом) Грибачевым бьет по Астахову — известному погромщику во время всех идеологических кампаний. Помню язвительную фразу из эссе Лифшица: «Проверим сигналы товарища Астахова!». Эссе подытоживала перефразировка статьи Грибачева: «Коза совсем не на привязи».

Я сделал отступление от прямой задачи комментирования фрагмента «Разговор с чертом» для высказывания предположения о том, что, вероятно, полные тексты обоих эссе все же существуют, хотя в личном архиве М.А. Лифшица имеется лишь фрагмент одного из них. Это предположение основано также на том, что Михаил Александрович, закончив чтение этих эссе, рассказал Н.Н. Козюре и мне, что буквально накануне дал их тексты А.Т. Твардовскому, которому они очень понравились. Он даже сказал, что эти эссе исправили Александру Трифоновичу очень плохое настроение. Как известно, в «Новом мире» ни одно, ни другое эссе опубликованы не были. Может быть, они находятся в архиве журнала или в личном архиве автора «Теркина»?

Вторая причина того, что вначале речь шла у нас об эссе Михаила Александровича, связанном с именем Астахова, заключается в уверенности комментатора в том, что эти два эссе не случайно были прочитаны вместе. Как мне представляется, они сопрягаются по смыслу: Астахов — один из прототипов образа Гвоздила из «Разговора с чертом».

Но вернемся к этому «Разговору». Он начинается со сцены в букинистическом магазине, в которой, роясь в пыли книжного магазина, автор услышал за спиной чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева?

«Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы едва пробиваются над верхней губой», — читаем мы в публикуемом фрагменте. Дальше следовало: «Я постарался вспомнить физиономию молодого человека. Лицо как лицо. Ничего демонического в нем не замечалось — ни черных пронзительных глаз, ни крючковатого носа. Глаза, наоборот, голубые, волосы светлые». Во время чтения этих слов Михаил Александрович лукаво посмотрел на меня и подмигнул, подчеркивая тем самым, что у меня полное алиби, ибо реально у еще молодого человека, который слушал эссе, были, не знаю, насколько пронзительные, но черные глаза и волосы отнюдь не светлые. Да и сам молодой еще тогда человек был старше того, которого вспоминал Михаил Александрович в своем эссе, лет на 10.

Дело происходило, как помнится, в Ленинграде поздней осенью 1944 г. Мне было 15 лет. Я писал стихи. Моим литературным наставником был крупнейший специалист по творчеству Александра Блока Дмитрий Евгеньевич Максимов. По его совету я посещал литературную студию при Ленинградском Доме учителя, которую вел крупный специалист по лермонтоведению и поэзии вообще Виктор Андроникович Мануйлов. Переживший самые тяжелые месяцы ленинградской блокады, я рано повзрослел и, имея хорошую литературную школу, хотя учился только в 8-м классе, писал довольно серьезные не по возрасту стихи (среди них были и сонет с обращением к Данте, и стихотворение «Завещание Екклесиаста», и т. п.). И вот однажды Дмитрий Евгеньевич Максимов, послушав мои стихи, сказал, что мне нужно обязательно прочесть «Закат Европы» Шпенглера. Серьезно восприняв этот совет, я, входя в каждый букинистический магазин (а их было много в послеблокадном Ленинграде), задавал вопрос: «Нет ли у Вас книги Шпенглера “Закат Европы”?» Книга была очень редкая, 1923 года издания на русском языке. Продавцы констатировали факт отсутствия этой книги, не очень удивляясь экзотическому интересу юноши, т. к. сами вряд ли знали, кто такой Шпенглер. Но как-то в небольшом полуподвальном магазинчике на Невском, когда я задал вопрос о «Закате Европы», один мужчина спросил меня: «А зачем нужна Вам эта дрянь?» Я ему ничего не ответил, но посмотрел на него так, что он хорошо запомнил этот взгляд. В «Разговоре с чертом» мы читаем: «Вместо ответа молодой человек отбросил меня на исходные позиции ледяным взглядом, полным глубокого презрения». Так оно и было. Как смел какой-то незнакомец назвать дрянью то, что мне рекомендовал сам Дмитрий Евгеньевич<sup>[290]</sup> для развития моего поэтического дарования! Потом, смутно помню, как этот незнакомец (кажется, он был в военно-морской форме) о чем-то меня вполне приветливо спрашивал... Через три года, когда я учился в 1947–1952 гг. на философском факультете Ленинградского университета, носившего имя Жданова, мне пять лет внушали, что Шпенглер — это дрянь. Правда, я уже тогда читал «Вопросы искусства и философии» Мих. Лифшица.

С первого курса увлеченный тогда еще мало кому известной «эстетикой» (с 1937 по 1953 г. в СССР не вышло ни одной книги по эстетике), я начал серьезно интересоваться трудами М.А. Лифшица, впервые наиболее полно представившего по первоисточникам эстетические воззрения основоположников марксизма, опубликовавшего важнейшие фрагменты из тогда в Советском Союзе неизвестных экономических и философских рукописей Маркса, на основе которых я пытался разработать так называемую «общественную» концепцию эстетического, вызвавшую с середины 50-х гг. широкую дискуссию и разоблачительные статьи И. Астахова, Я. Эльсберга, В. Разумного и т. п.<sup>[291]</sup> Все это вызывало у меня желание лично познакомиться с Михаилом Александровичем. Я не помню сейчас конкретных обстоятельств нашего знакомства в конце 50-х гг. Возможно, это было на каком-то заседании сектора эстетики Института философии. Мы встречались в Москве, и не только на разных собраниях, но и в его квартире, а также переписывались (в моем архиве хранится около 30 его писем и открыток<sup>[292]</sup>).

К моей концепции эстетического, инспирированной также и его трудами, показавшими связь «отношения Маркса к вопросу об эстетической ценности» с критикой «грубого натурализма, принимающего человеческое за вещественное и обратно»<sup>[293]</sup>, Михаил Александрович отнесся благосклонно, тем более что ее оголтелые критики были ему глубоко неприятны своим теоретическим невежеством в сочетании с идеологически-доносительной воинственностью. В. Разумному он воздал по заслугам в своей известной статье «В мире эстетики» (Новый мир, 1964, № 2). И. Астахов стал «героем» его эссе, о котором шла речь вначале. Я. Эльсберг, профессиональный доносчик и провокатор, услужливый и инициативный исполнитель указаний идеологического начальства, был ему особенно противен. Когда Эльсберг набросился на меня своей статьей «Схоластические концепции» (Вопросы философии, 1961, № 1), я получил возможность ему ответить. Свою ответную статью перед публикацией я дал прочитать Михаилу Александровичу. Он написал в письме ко мне от 15 марта 1961 г. подробный отзыв о моей полемической статье против Эльсберга, которая под названием «О двух концепциях эстетического» затем появилась в «Вопросах философии» (1962, № 2, с. 110–120). Это большое письмо Михаила Александровича (6 плотных страниц!) — прекрасный мастер-класс полемического искусства.

В 1960 г. он приезжал в Эстонию и был моим гостем. На своей книге «Вопросы искусства и философии», изданной в 1935 г., он надписал: «Дорогому Леониду Наумовичу Столовичу от некогда молодого автора». Я был преисполнен огромного уважения к Михаилу Александровичу, который обладал громадными знаниями, необычайным остроумием и был блестящим стилистом. Я, стремившийся в те годы освоить марксистскую методологию, очень ценил независимость марксистского миропонимания Лифшица от власти имущей «марксистско-ленинской идеологии», хотя

и Ленина он высоко ценил как марксиста. Ему принадлежит ныне малоизвестная и ставшая большой библиографической редкостью книга-антология «Ленин о культуре и искусстве» (М., 1938). Лифшиц не жаловал начальство, как и оно его.

Во время пребывания Михаила Александровича в Тарту мы оба вспомнили тот четырнадцатилетней давности эпизод нашей случайной встречи в ленинградском книжном магазине<sup>[294]</sup>. Теперь я понял, почему он назвал книгу Шпенглера, вызвавшую настоящий интеллектуальный шок в свое время, «дрянью». В отличие от других полуграмотных «марксистов-ленинцев», которых Лифшиц презирал, он-то читал Шпенглера. Читал и принципиально не принял, как отвергал и так называемое «модернистское искусство», хотя сам Шпенглер не жаловал современное ему искусство, которое он, кстати, называл модернистским.

Но в «Разговоре с чертом» Бердяев, заменивший Шпенглера, дрянью не назван, хотя его характеристику тоже нельзя назвать лестной: «Бердяев — старый недруг русской революции, участник реакционного сборника “Вехи”, один из основателей религиозного экзистенциализма и прочая и прочая»; «Нетрудно доказать, что увлечение Бердяевым — дело несостоящее, что мысли, развитые этим изысканным поклонником Средневековья, это даже не мысли, а, скорее, умные или просто умственные позы...». Автор эссе, как он пишет, «позволил себе нескромность спросить об этом», т. е. об интересе молодого человека к такому реакционному мыслителю, как Бердяев, вызвав своим вопросом праведный гнев. И содержанием всего эссе является проблема: что же следует ответить на этот гнев новоявленному поклоннику Бердяева и почему он дошел до жизни такой? Обратим внимание на то, что проблема Бердяева была поставлена Лифшицем, когда книги русского философа-эмигранта еще были в заточении спецхранов советских библиотек и только редкие экземпляры дореволюционных изданий прорывались к букинистам и из-под полы тайно продавались эмигрантские издания его трудов. Лишь с конца 80-х гг. уже прошлого века книги Бердяева стали массово издаваться и переиздаваться на его родине, а ссылки на них заменили ссылки на классиков марксизма-ленинизма.

М.А. Лифшиц мучительно ищет ответ на вопрос, что нужно было сказать молодому человеку, и этот поиск, отражающий мучительные сомнения и переживания его в тот период, — самое интересное, на мой взгляд, в «Разговоре с чертом». Кажется, что автор находит решение этой загадки: кто так искривил и замутил сознание юного человека? Это Гвоздилин (отчетливо помню, что этот персонаж при чтении эссе самим автором назывался «товарищем Молотковым»). Разница, наверно, в том, что Молотков «забывает» Гвоздилина, а Гвоздилин «забывается» Молотковым. Значит, Гвоздилин предполагает Молоткова). «Если по радио льется пошлость на самых высоких тонах и в таком количестве, что ее хватило бы для целой галактики, если все это может вызвать отвращение к любым идеям, ищите Гвоздилина», — читаем мы

в эссе. Гвоздилину и лекции читает, и книги пишет. «Уж если Гвоздилину за что возьмется — никто не устоит. Бердяеву лучшего помощника не надо». Но что же делать, если Гвоздилину своими разоблачениями Бердяева только вербует ему сторонников? Более того, дело может дойти до того, что молодой человек, испорченный Гвоздилиным, страшно сказать, «расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо».

Как же поступать автору эссе, который тоже не жалуется Бердяева, но понимает «объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину»? Однако «молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, долго разбираться не будет. Он тотчас же смешает меня с Гвоздилиным». Выход в данном случае только один: «Мне надобно, прежде всего, отмежеваться от Гвоздилина. Другого пути нет». Но как сделать так, чтобы не возникло впечатления, что ты не «хочешь сесть между двух стульев»? «Ведь все положения в механизме современности уже заранее определены и, скажи ты хоть слово, тебя немедленно отнесет или к Гвоздилину, или к его антиподам».

Могу свидетельствовать, что эта проблема для М.А. Лифшица в это время была далеко не абстрактной. Он буквально страдал от того, что его честная и искренняя борьба с модернизмом вызывала симпатии у тех, кому он не желал и руки подать. В его архиве находится открытка, полученная им в 1964 г. от... Астахова: «Уважаемый Михаил Александрович! В дни великого Октября желаю Вам крепко пожать эстетическую руку и пожелать от всей души новых творческих успехов. Большой привет! Астахов». Михаил Александрович приписал: «Это сукин сын, который в 1949 году говорил с трибуны, что я “вырос в троцкистском подполье”, “проповедовал мутную, грязную, подлую философию” и являюсь “идеологом декадентства”» ([http://www.gutov.ru/video/lifshitz\\_inst\\_rus.htm](http://www.gutov.ru/video/lifshitz_inst_rus.htm)). Мне лично Михаил Александрович показывал эту открытку и говорил подобные слова.

Вот почему он в свое эссе ввел образ Гвоздилина, от которого необходимо было отмежеваться! Вот почему другое, не дошедшее до нас эссе было посвящено Астахову, который продолжал ушкуйничать и позорить марксизм своей приверженностью к нему!

В задачу этого документального комментария не входит детальный анализ публикуемого фрагмента. Он очень не прост. Черт — это не только Гвоздилину, пригрезившийся в дремоте человеку, утомленному попыткой решения кантовских вопросов: «Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться?» и русского вопроса: «Что же все-таки делать?». Опыт мировой литературы показывает, что разговор с чертом — это в то же время в какой-то мере разговор и с самим собой, борьба со своим отчуждением. В этом отношении эссе М.А. Лифшица — ценный документ его духовного состояния в середине 60-х гг. прошлого века.

II. В.Г. Арсланов: «Достоевского на вас нет». Спор Мих. Лифшица с советской интеллигенцией в свете митингов 2011–2012 гг. «За честные выборы»

В 1966 г. Мих. Лифшиц обратился с прямой речью к интеллигенции, чтобы дать ей шанс, как тому молодому человеку, с которым ведет разговор в начале своего памфлета, избежать власти над собой всякой чертовщины. К сожалению, он проиграл, к сожалению не столько для Мих. Лифшица и его литературной судьбы, сколько для либеральной интеллигенции. Хотя на первый взгляд дело обстоит прямо противоположным образом: объекты его памфлетов, как всегда, только выиграли от критики, а сам Мих. Лифшиц был ввергнут в адскую тьму. Реакция на памфлет-эпатаж 1966 г. «Почему я не модернист?» была именно такой, какую ожидал встретить автор «Разговора с чертом», что и вызывало у него сомнения: а стоит ли ложиться под колеса машины, ведь она, как писал Лифшиц в набросках к автобиографическому роману (1957), скорее всего, от брошенных под колеса бревен только лучше пойдет<sup>[295]</sup>.

Знал ли Лифшиц, когда писал в начале 30-х гг. о ситуации, в которой оказался Гегель, что нечто подобное придется пережить и ему самому: «Его обвиняли в прислужничестве по отношению к прусскому правительству и вместе с тем в других страшных грехах, среди которых были такие подозрительные склонности, как якобинство, бонапартизм и даже сен-симонизм?»<sup>[296]</sup> Гейне, продолжает Лифшиц, «был тем замечательным человеком, который раньше других заметил, что в педантических темных словах и неуклюжих периодах гегелевской философии скрывалась революция»<sup>[297]</sup>.

Революция скрывалась и в блестящих литературных памфлетах Лифшица. Но какая революция? Явно не та, которая случилась в августе 1991 г., не та, среди идейных вдохновителей которой был и Ю.Ф. Карякин, подаривший Лифшицу свою статью о Достоевском — «с восхищением перед Вашим талантом».

За несколько месяцев до своей кончины, летом 1983 г., предчувствуя близкую перестройку, Мих. Лифшиц делал наброски статьи о Ленине и нэпе: «*Старое и новое* (капитализм и социализм), *смещение того и другого, конкретное слияние в разных формах*»<sup>[298]</sup>. Если союз с Западом неизбежен, то вопрос в том, будет ли заключен союз основного производительного населения страны с Западом против отечественного бандита и мародера или же состоится союз воров и бандитов с Западом против основного производительного населения страны? Такова была проблема, которую Лифшиц так или иначе ставил после кончины Сталина перед интеллигенцией, начиная со своей статьи о Мариэтте Шагинян, и даже еще раньше, с тридцатых годов, когда обозначилось, кто фактически оказался у власти — «мелкие лавочники, наряженные коммунистами»<sup>[299]</sup>.

Дилемма Мих. Лифшица проста, и ответ на нее после 1991-го очевиден. Почему же «власть воров, жуликов и кровопийц» сохраняется на



протяжении десятков лет? Обман и манипуляция играют в современной политике огромную роль, но, как заключил Т. Адорно в социологическом исследовании «Авторитарная личность», обманутые нередко сами хотят быть обманутыми. Споря с М. Бахтиным, Мих. Лифшиц замечает, что далеко не всем персонажам своих романов Достоевский дает право голоса. Такие господа, как Тоцкий или П. Верховенский, уклонившиеся от честного разговора, обманувшие себя, не являются участниками диалога. Но почему это право предоставлено черту, разговор с которым — один из главных эпизодов «Братьев Карамазовых»? А еще раньше — «человеку из подполья»?

Перед нами пошловатый заурядный господин пореформенного времени, которому место на страницах столь же заурядных бытописательских романов. Однако у Достоевского сама заурядность — сила демоническая. Да и глуп ли черт, по-французски цитирующий Декарта и выстраивающий свою аргументацию так, что в ней Лифшиц улавливает мотивы экзистенциализма и других современных философских течений? Их мысли сводятся к одному положению: вы мне хоть хрустальный дворец будущего постройте, а я буду «тиранствовать и нравственно превосходить»<sup>[300]</sup>.

Бывают периоды, когда необходимость уже сложилась и приняла, писал Лифшиц в тридцатых годах, фатальный характер. А бывает время выбора, когда, собственно, и рождается исторический разум, подобно тому как объективная красота бытия проявляется благодаря человеку (третья позиция, отличная и от «природников», и от «общественников» в споре о природе красоты, о котором упоминает в наст. изд. Л.Н. Столович). Такова одна из основных идей онтогносеологии Мих. Лифшица.

Почему Маркс и Ленин не писали книг о морали? По разным причинам, но в том числе и потому, что не хотели лезть без спроса в чужую душу и навязывать то, что является свободным выбором каждого. Был ли Христос моралистом? Он говорил, как надо действовать: не укради, не убий, чтти отца и мать свою, легче верблюду войти в игольное ушко... Но он не читает мораль коту Васье, не убеждает никого в том, что надо быть хорошим, а не плохим. Убеждать быть хорошим — значит уговаривать — ты умри за меня сегодня, а я — завтра. Откуда же берутся те, кто готов умереть за других? Это люди, объясняет фрейдизм, у которых сильно развито «сверх-я» (или, в марксистском варианте Плеханова, Луначарского, Лукача, — общечеловеческий интерес, вступающий в конфликт с индивидуальным). Но почему бы умному человеку не устроиться в этой жизни так: пусть закону подчиняются все (т. е. очень хорошо, когда у них побеждает «сверх-я»), кроме меня, к моей несомненной выгоде и пользе?

Религия обещает за хорошее поведение будущую бессмертную жизнь. Это делает героизм христианского мученика понятным: он просчитал лучше, чем тот, кто ради чечевичной похлебки теряет возможность вечного блаженства. А что обещает материализм Дидро и Маркса? Ничего.

Черт — это трезвый и умный расчет в ситуации, когда ни Бога, ни бессмертия нет. Но почему черт глуп у Достоевского? Он умный человек, но ум у него дурак (слова, приписываемые Ленину). Это о черте, без сомнения. По крайней мере, о черте Достоевского. Впрочем, даже гораздо более значительный черт Гёте (тот, что хочет зла, а творит добро) тоже оказывается в дураках. В своих расчетах он не принимает во внимание *imponderabilia*. Без этой невесомой величины, идеального измерения человеческое умирает в человеке. Других вариантов нет. Больше того, и «реальные политики», подчеркивает в своих заметках о нэпе Мих. Лифшиц, не учитывающие «невесомых величин» и сил, тоже нередко оказываются с носом. В чем же тогда секрет власти чертовщины?

«На злысть моей маты видрежу соби нос — нехай у моей маты буде дочка без носу». Что это такое? Это человеческая свобода как бунт. «Бескорыстно злое», по терминологии Канта. С таким бунтом трудно справиться потому, что он продиктован свободной человеческой природой, отталкивающейся от истины и добра. Вы будете добрыми, самоотверженными, а вам в ответ — бунт «человека из подполья». Для Достоевского выход — в Боге. То есть в гарантированной добродетели. Но своему создателю, Достоевскому, возражает Иван Карамазов — а наш гарант истины, добра и красоты (т. е. Бог) допускает садистское издевательство над ребенком! Зачем мне рай в компании с таким гарантом? Возвращаю вам билетик в это будущее царство блаженства, выбираю сатанинское зло, в нем меньше лицемерия и больше свободы — хотя бы терпеть муки в аду.

Но ваша абсолютная сатанинская свобода на самом деле — род современного рабства, продукт *«вторичного порабощения»*, вступает в диалог Лифшиц, который в полемике против вульгарного марксизма и других проявлений «пошлости веков» берет себе в союзники Достоевского. Нас приучили видеть писателя через призму изображенного им «подпольного сознания». Но поскольку Достоевский его действительно изобразил — рельефно, с шекспировской многомерностью, он дал и критику его: этому бунтарю, оказывается, «ничего не нужно, кроме спокойствия да чаю» (В. Розанов заголил, ернически повторяя эту максиму «человека из подполья» и с удовольствием присоединяясь к ней). Современное «социальное государство» — будь то «шведский» или брежневский социализм — не может создать условий для свободы, ибо оно свое добро вынуждено навязывать, навязанное же сверху добро, исключаящее самодеятельность людей, рождает сатанинский протест против истины, добра и красоты, обратной стороной которого оказывается обывательский жестокий эгоизм. Вот открытие Достоевского. Тогда как коммунизм Маркса и Ленина отличается от псевдосоциализма сталинско-брежневского типа тем, что это общество, где добро не вызывает отталкивания, доказывает Лифшиц. Но это же ваше идеальное царство всеобщей сытости, возражают Мережковский, Бердяев и Розанов, апеллируя к Достоевскому, основано на законах «дважды два — четыре».

Однако все «веховцы» прошлого и настоящего — люди «подпольного» сознания. В полемике с советским вариантом «подпольного сознания», поперечно-полосатыми идеями М. Храпченко, В. Ермилова, Я. Эльсберга Мих. Лифшиц восклицает: «Достоевского на вас нет!»

Религиозные философы русского Серебряного века сравнивали жизнь без религии и веры с существованием приговоренного к казни. Ведь материализм не обещает ничего после смерти! Но точнее было бы сказать, что он не дает гарантий личного бессмертия. Бессмертие для Лифшица, как и для Дидро, — не миф. Миф есть идея — плоская и скучная — о личном бессмертии, которая требует, чтобы ради меня были нарушены законы, на которых основано бытие: все бы изменялось, развивалось, а только я оставался бы неизменным и бессмертным. Нет уж, хотите бессмертия — тогда получайте мир, в котором нет жизни, движения, в том числе жизни вашей души, вашего «Я». Это понимали крупные теологи прошлого. Они говорили о бессмертии, которого мы знать не можем, в трансцендентном мире, о котором не имеем понятия, кроме того, что этот будущий мир есть преображенная материя. Между прочим, Маркс определял коммунизм как «воскресение природы»<sup>301</sup>.

Материализм может сказать о реальном бессмертии несколько больше, чем христианство. Оно дается не тому, кто расчетливо ради бессмертия выбрал добродетель, а тому, кто делает добро без гарантий: тут закон «дважды два — четыре» не действует. Но в чем же проявляется это бессмертие? И можно ли всерьез говорить о бессмертии, если моего «я» не будет?

Дело в том, что бессмертие, как и бесконечность, входит в конечное, определяет его. Точнее, может входить при определенных условиях. Одно дело эмпирический человек с трансцендентальным «я» — и совсем другое, если в нас нет измерения бесконечности. Не примкнувшие к истинному бытию — умерли здесь и сейчас. Гарантий нет, но определенную закономерность выявить можно. Материалисты Демокрит и Дидро не сгнили при жизни, равно как идеалисты Платон и Гегель. А кто сгнил? Вот вопрос, остро ставший в XIX в. и породивший «диалектику души» в романах Толстого и Достоевского, романа психологического. Ибо наша эпоха — время великого свободного выбора. Достоевский рассказывает о случаях, когда странным образом оказался возможен свободный выбор. Он возможен для Ивана Карамазова, но не для «подпольного» человека, ибо последний — воплощение бунта против того, что в нравственном и умственном отношении выше его. Материализм Дидро и Маркса — не для людей с лакейской душой, пишет Лифшиц, даже если они читают, скажем, Джойса. У Джойса (в отличие от Достоевского, заметим в скобках) и его последователей — внутренний мир без сферы, где возможна свобода: в этом потоке сознания не может родиться нравственное решение, а следовательно, нет и души.

Отталкивание от истины и добра — объект изображения Достоевского, яростный всплеск сознания и свободы, заканчивающийся смертью

и того и другого. Если у Смердякова и «человека из подполья» — бунт, который изображает Достоевский, то у Тоцкого и Петра Верховенского — результат лакейского бунта, когда души уже нет и, кроме «пошлости веков», сказать им нечего.

В иррациональном бунте человек ведется на поводу экономической необходимости мира несвободы. Это — «вторичное порабощение», доказывает Лифшиц. И оно, вроде бы чисто идеологическое, становится в современном мире главным звеном экономической зависимости и от «общества всеобщего благоденствия», и от псевдосоциализма.

Таков бунт российской интеллигенции во второй половине XX в. — как либеральной, так и почвеннической. Продукт этого бунта — власть «воров и кровопийц». Без осознания этого факта во всем его всемирно-историческом объеме клубок нашей истории не будет разматываться. В 1991 г. интеллигенция наступила не на те грабли, о которых предупреждал Ю. Карякин. Она, как и сам Ю. Карякин, поддалась искушению черта Достоевского: «*Черт — чистая рефлексия, все у него то же. Но в то же время дурное, негативное par excellence! Связь рефлексии с отрицанием голым, с дурным, со злом. → Ибо это не реально-новое. Не изменениe, а собственное отрицание, в пределах дряни*»<sup>[302]</sup>.

Именно так: чертово отрицание погрузило духовную элиту наших дней во всю ту ее собственную дрянь, в которой барахтался «подпольный человек» Достоевского. Истина, гласящая, что истины нет, а социальная справедливость — это байки для дураков, рынок все отрегулирует, быдло пусть подыхает, а дети воров и бандитов со временем станут спасителями Отечества, — вот идеология «демшизы», за наивными головами которой угадывается глумливая физиономия Гвоздила. Без него разве свершилось бы то, что и присниться не могло толпе, свергавшей памятник Дзержинскому: еще несколько лет «демократии» — и власть Лубянки над страной окажется абсолютной? Если «пахан» драконовскими методами еще как-то урезонивал «слуг народа», то ныне их власть ограничена разве только их собственными аппетитами. Вчерашнего сладкоречивого либерала сменил, как это и предсказывал Лифшиц, проповедник идеи «либерального империализма» (разумеется, предполагающего, как и всякий империализм, расстрелы «быдла», эхо которых — символический привет и предупреждение из «братского» Казахстана).

XX век показал, что первые попытки освобождения от экономического угнетения могут открыть шлюзы для порабощения «вторичного», и вот бывшая «ветوشка» Достоевского превращается в удавку, которая уничтожает все, что выше ее в нравственном и умственном отношении. Но поспешив с выводом — не надо революции, не надо было освобождать «быдло» в октябре 17-го, — страна оказалась под властью воровской шайки, т. е. быдла в прямом смысле, без кавычек. Это факт, который, как говорится, на козе не объедешь.

Вопрос «Кто виноват?» важен, чтобы верно ответить на другой — «Что делать?». Но справедлива и другая истина: кто старое помянет, тому

глаз вон. Если мы хотим действительной, а не показной свободы слова (справедливо именуемой «репрессивной терпимостью»), главное, чтобы Гвоздилин в его либеральном или черносотенном варианте утратил возможность подтасовки, возможность негласного управления сознанием и поведением. Что для этого нужно? Для начала — отделить гражданский вопрос от идейного. А это значит — создание гражданского единства всех, кто против подтасовок (на выборах ли или в идейном споре). Вот идея Мих. Лифшица, прозвучавшая в 1968 г.<sup>[303]</sup>, но отторгнутая либеральной интеллигенцией. Сегодня эта мысль звучит на митингах, собирающих многие десятки тысяч людей, а именно: мы разные, левые и правые, но давайте сначала создадим условия для честного диалога, сбросим власть манипуляторов и подтасовщиков, а затем будем в товарищеской дискуссии решать наши вопросы.

Не забывая о том, что черт — не на голой почве, его власть, власть зла, поддержана реальностью «превратного мира»: без бальзаковских турнебушей не было бы капитализма<sup>[304]</sup>. Действительно, есть эпохи, когда благодаря злу осуществляется прогресс. Вот почему капитализм в целом враждебен искусству и культуре. Как жить в такие эпохи людям с умом и талантом? Понять необходимость и простить оной? Или не понимать ее и не прощать? Тут щель, тут *distinguo*, а не «дважды два — четыре», тут возможность для свободного выбора и, может быть, самого драгоценного, подарившего миру и Пушкина, и Достоевского.

Мир устроен так, что случаются самые удивительные переворачивания, и истина, как бы нарушая все неизменные законы природы и общества, может просачиваться через незаметные щели. Бывает, что черт действует с соизволения бога (не только библейского, но и «марксистского бога» Лифшица). Оказывается, что иногда, спускаясь с высокой башни Гёте, открывающей вид на бесконечный прекрасный мир, в подвал, где не ощущается почти ничего, кроме тягостных состояний тела и души «мелкого и злого червяка», мы различаем в этой тьме нечто очень важное, чего с высокой башни не видно. Таков парадокс художественного мира Достоевского.

Сатанизм — абсолютное зло, но почему привлекателен Сатана Мильтона и почему Сатана у него бунтует? Потому что жить в мире, над которым возвышается господин его, который всегда прав и наслаждается своим абсолютным превосходством, требуя непрерывных славословий и любви к себе, человеку с чувством собственного достоинства невозможно. К тому же нравственность и христианства, и материализма гласит: нельзя быть невинным, когда другие виновны, когда есть падшие и погибающие. Это мысль Достоевского, уловленная Лифшицем. Из нее следует, что идея Бога (всемоущего существа, которое выше всех и своего превосходства не стыдится) изначально заключает в себе какой-то не вполне нравственный момент, вызывающий справедливый протест. Но и бунт Сатаны у Мильтона не лучше. Лучше оказаться в другом мире, мире Дидро и Маркса, где зло и ложь существуют тоже на известном основа-

нии, но не в силу механического детерминизма по принципу «дважды два — четыре», и обречены в конечном счете на поражение.

Природа вещей, какой она была до появления человека, равнодушна к добру и злу. Но в материи заложена возможность появления и самого человека с его разумом, и добра, и красоты. Маркс и Энгельс считали, что мышление (как и другие идеальные качества) является атрибутом материи, несмотря на то, что мир миллиарды лет существовал — и будет существовать — без человека и его идеальных свойств.

Тут суть спора Мих. Лифшица с его другом и единомышленником Э.В. Ильенковым. Если Ильенков (как и все «общественники») полагал, что идеальное — чисто общественное свойство, то для Лифшица эта еще не появившаяся возможность (идеальное) **вместе с тем** существует в мире и до человека (в качестве «максимума всех вещей»), причем преобразованная трудом человека природа избавляется от неизбежной искусственности цивилизации лишь в той мере, в какой деятельность человека возвращает природу *к себе*, делает ее более близкой своему понятию по сравнению с тем состоянием, в котором природа находилась до человека.

Идеальное начало мира воплощается в нечто конкретное и индивидуальное, когда свободный человек, как Лифшиц в 60-х гг. или Иван Карамазов, встает перед нравственным выбором. Поступок и того, и другого был самоубийственным — Иван погубил себя и Катерину Ивановну, подтолкнул ее к нечестному поступку. Дмитрия он не спас. Но поступил ли бы Иван иначе, даже зная все последствия? В том-то и дело, что нет. Когда Иван думал, что «все позволено», он действовал как типичный представитель своего социального слоя и своего семейства.

Но когда Иван, зная, что не получит ничего, выбирает истину, которая его уничтожит, как она уничтожила выбравшего ее Эдипа, тогда он преодолевает свой карамазовский лакейский «материализм». Между тем черт шепчет Ивану (а вместе с ним — розановы и бердяевы, а также весь экзистенциализм, включая религиозный): ты подчинился, и хуже всего, что ты подчинился не своему капризу, а «тоталитарной» истине, ведь нет ничего тоталитарнее, чем несомненный закон «дважды два — четыре».

Онтогносеология Лифшица предлагает иное понимание объективного закона бытия. Она не отменяет механического детерминизма, но уточняет и дополняет его, чем-то напоминая принцип дополнительности Н. Бора. Благодаря верному выбору человека объективная истина выходит на поверхность, более того, обретает статус действительности, но это не значит, что она только дремала до появления человека и ничего не решала. Пожалуй, она действовала с еще большей неукоснительностью, как те закономерности микромира, которые, кажется, могут стать реальностью только благодаря вмешательству человека (его приборов для наблюдения) в этот странный мир. Иначе говоря, истина — это такое общее, которое освобождает, а не замыкает нас в себе и наших «комплексах».

Для М. Бахтина «диалог» — в конечном счете беседа сознаний, непроницаемых друг для друга, не имеющих общей основы: «диалог глу-

хих». Это иная, «академическая» форма иррационального подпольного бунта. Не случайно он был востребован интеллигенцией во всем мире — той, чьи души были сломлены. Ведь не только «идеологическая обслуга» властей (об этой «обслуге» говорили участники митинга на Болотной площади 10 декабря 2011 г.) — поклонники Бахтина. Из архивных замечаний видно, что Лифшиц Бахтина уважает, ибо он человек, с которым можно спорить. Где же проходит водораздел, где возникает свобода?

Она там, где, вопреки идее Бахтина, чудесным образом рождается не навязанное сверху, а иное *единство*, которое сможет выстоять против насилия и объединенной власти лжи. Единство свободных людей — необходимое условие товарищеского диалога. Вот что доказывал Лифшиц на протяжении жизни, объясняя, какого единства не надо бояться<sup>[305]</sup>, к какому единству, наоборот, необходимо стремиться. Когда возникнет товарищеское единство, тогда, например, возникнут условия, при которых научная общественность сможет честно рассмотреть и обсудить спор Лифшица с Бахтиным (без подтасовок, клеветы и тому подобных приходящих обстоятельств). Я никого не хочу, так сказать, априори убедить, что победителем в этом споре окажется непременно Лифшиц. Нет, пусть в этом споре, который обещает быть и трудным, и захватывающе интересным, родится объективная истина. Что касается Лифшица, то он на роль самого лучшего фехтовальщика всех времен и народов не претендовал, понимая, насколько смешны подобные претензии. «Да и стыдно» «быть лучше всех»<sup>[306]</sup>.

Свободному и честному, серьезному диалогу препятствуют люди, о которых даже под угрозой смертной казни нельзя сказать, в чем состоят их убеждения — люди с «поперечно-полосатыми» идеями, объекты памфлетов Лифшица начиная с 1930-х гг. Вчера они говорили одно, завтра будут говорить прямо противоположное. Послушайте, как ловко и складно излагает черт мысли Ивана Карамазова о свободном человеке, который, мужественно приняв факт своей смертности, становится как бог! Это идеи Фурье и Сен-Симона, идеи самого Достоевского, не только раннего, но и позднего, автора «Подростка» (в котором сказаны слова о грядущем золотом веке — страстная, «до кровавого пота»<sup>[307]</sup>, мечта о человечестве, освободившемся от пошлости веков). Черт — прирожденный имитатор, он только чуть-чуть искажает идеи Ивана и самого Достоевского в духе Нечаева и Ткачева. Почитайте, что сегодня, бывает, пишут о Лифшице люди, идеал которых — строгая, академическая точность. Они утверждают, что Лифшиц и Лукач — создатели советской эстетики и теории соцреализма<sup>[308]</sup>. Не уточняя, о какой эстетике идет речь и о каком реализме — об идеях Лифшица и Маркса или об отвратительной бурде, полной противоположности этих идей (при некотором формальном сходстве), создании Эльсберга<sup>[309]</sup>, Храпченко и Ермилова. Прибавьте к этим неосторожным строкам еще чуть-чуть, и портрет, нарисованный чертом, будет готов.

Авторы солидной академической «Истории эстетики» без всяких оговорок заявляют, что журнал «Литературный критик», находившийся

под влиянием Мих. Лифшица, действовал в соответствии с духом «партийной политики, направленной на внедрение социалистического реализма во все сферы художественной жизни»<sup>[310]</sup>. И это о журнале, который «мужественно и безнадежно», по словам Ю. Буртина, написанным в 1987 г., противостоял иллюстративной литературе (в журнале высмеивались романы о доблестных сотрудниках НКВД и повести, учившие детей подглядывать за родителями в замочные скважины), защищавшем А. Платонова и репрессированного поэта П. Васильева, отказавшего в праве называться поэзией подделкам на политические темы А. Жарова, А. Безыменского, М. Голодного, Д. Алтаузена и Е. Долматовского. Ныне невозможно поверить, что вот такие строки могли быть написаны и опубликованы в 1938 г. о советской литературной критике: она, писал журнал, «рассматривает произведения искусства с точки зрения того, насколько естественно и искренне звучит у автора “ура”, провозглашаемое им советской властью. Мало кто задается вопросом о том, можно ли втиснуть все богатства народного духа в эти три буквы и исчерпываются ли ими, в частности, задачи искусства»<sup>[311]</sup>.

Сюжет серьезный, имеющий отношение к событиям и явлениям наших дней. В новой демократической России появилась особая то ли индустрия, то ли вид предпринимательства, когда людей грабят и убивают именно тогда, когда они имеют неосторожность проявить гуманные чувства. А как действовали В. Ермилов и М. Храпченко? Они ловили души на приманку, в которую превращали украденные ими идеи «течения» 30-х гг. о сущности высокого реализма, о Пушкине, Бальзаке и Достоевском, уничтожая и реализм (правду) в искусстве, и его создателей, таких как А. Платонов.

Гвоздили-Молотков может являться не только в образе тупого ортодокса, но и эстета в своем роде. Я.Е. Эльсберг посадил в лагерь, как рассказывает Л. Лунгина, одного востоковеда (а также И. Бабеля, ученика Лифшица Л. Пинского) и, будучи близким другом его семьи, отнесся с участием к горю жены посаженного по его доносу, помогал ей прятать документы и т. д. А затем, после освобождения востоковеда из лагеря, явился к ним с дорогим подарком (редкой книгой) и огромным букетом роз. Спущенный с лестницы, искренне удивлялся: «Все равно я вас люблю»<sup>[312]</sup>. Вот это — высший пилотаж, это артистизм, не доступный заурядным людям, как говорят о себе персонажи фильма Пазолини, распиливая на части еще живых молодых людей и девушек после сексуальных издевательств над ними. Нет, не оправдано самодовольство С. Дали, который твердил, что только он — современный художник и другого такого быть не может. Я. Эльсберг — непризнанный, но истинный духовный отец российского художественного садомазохизма перестроечного и постперестроечного времени, а также либерализма в литературоведении. Открытая им логика и технология поистине замечательна: сначала выжигали и вытравливали все следы правды в искусстве, а затем, когда



время потеплело, заявили, что во всем виноват реализм (т. е. правда в искусстве). Ну и, разумеется, Лифшиц.

Конечно, технология Гвоздилиных и современных «предприниматель»<sup>ей</sup>, о которых шла речь, не представляет собой специфически российское ноу-хау. Когда обворованные и униженные люди начинают, рискуя не только местом на работе, но иногда и жизнью, поднимать голос в защиту себя и всех нас, то, как правило, попадают в мышеловку «ложного протеста». Луддиты XIX века разрушали машины, которые из них выжимали пот. Участников современных протестных движений соблазняют «революционным» разрушением витрин супермаркетов, поджогами и переворачиванием автомобилей, внушая «культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости» и одновременно — жажду «бездумной жизни, слепого повиновения»<sup>[313]</sup>. Таковы две стороны «подпольного сознания», таков, согласно Мих. Лифшицу, «интегральный модернизм» наших дней. Кому это нужно? Тем, кто ловит рыбку в мутной воде, кто играет, подменив карты. Революция, писал Герцен своему старому товарищу Бакунину, — «сила хранительная». Развивая тему Герцена, Мих. Лифшиц (и литераторы «течения») на протяжении жизни доказывал: это вы, господа жизни, являетесь разрушителями — любви, семьи, товарищества, культуры в широком смысле слова, от культуры чувств до культуры материального производства. Антиглобалисты, молодые образованные люди Европы выходили на улицы с лозунгами: мир — не товар, любовь — не товар, искусство — не товар, и под этими лозунгами объединялись и христиане, и буддисты, и те, кто верит, подобно Спинозе и Марксу, в истину и разум самого бытия. Но это движение в глазах всего мира — через увеличительное стекло услужливых массмедиа, демонстрирующих хулиганство провокаторов, но отводящих свои объективы в сторону, когда антиглобалисты сопротивляются им, не пуская в свои ряды погромщиков, — предстает сборищем хулиганов и гомосексуалистов. А если «лохи» на эту приманку не ловятся, их искусно ставят в безвыходное положение. Разве можно конкурировать с теми, кто прибегают только к гарантированным средствам, а не делает, подобно Гёте, «ставку на Ничто», на невесомую величину, *imponderabilia*?

Но странным образом, так или иначе, скоро или не очень скоро, оказывается, что как раз те, кто владеет искусством ловить «лохов», играют в игру, не ими придуманную. Куда им со своим конечным изворотливым «умишком» (см. об этом в публикуемых заметках Мих. Лифшица) против разума бесконечного бытия (на который надейся, но сам не плошай)! И если мы не оплошаем, то и сам сатана, и его подручные («мелкие бесики дневного мира», гораздо более зловредные, по мнению Мих. Лифшица, чем сатана), оказываются в луже, а иной раз даже неведомо для себя способствуют правому делу (стоит напомнить историю, приключившуюся в начале XX в. с начальником Московского охранного отделения С.В. Зубатовым). Гегель называл этот почти необъяснимый парадокс, в который слабо верится, когда мы сидим в четырех стенах нашего здра-

вого смысла, «иронией истории». Больше того, он видел в истории подлинный «Страшный суд». И не только Гегель. «Все будет правильно...» — цитирует Мих. Лифшиц слова М. Булгакова в своих заметках о «Мастере и Маргарите»<sup>[314]</sup>. Где и как, сказать нельзя, подобно тому как нельзя определить положение электрона, если заданы некоторые его координаты. Но эта принципиальная неопределенность — основа потрясающей точности в современной электронной технике.

Когда и где люди выйдут на улицы, все, без различия убеждений, те, кто рассчитывает не на грабеж других, а на свой труд, требуя честных выборов, Лифшиц сказать не мог. «Должно ли это быть? Да, это должно быть!» Глубокие, сильно трогающие душу слова. Это слова Бетховена, он написал их на партитуре одного из своих последних произведений<sup>[315]</sup> — так заканчивается памфлет Мих. Лифшица «Либерализм и демократия».

В своем памфлете он предлагал старую демократическую тактику (отделение гражданского вопроса от идейного), с помощью которой сможем забрать власть из рук Гвоздилиных. Во-первых, необходимо добиваться того, чтобы равные гражданские права были предоставлены всем людям, и поклонникам авангарда, и реализма, и марксизма. Практически это означает создание, скажем, телеканала под контролем протестного движения «За свободные выборы», на котором участники декабрьских митингов могли бы обращаться ко всей стране и дискутировать между собой. Ибо, во-вторых, гражданское общество и единство не отменяют, а предполагают идейные споры: единство участников протестного движения не должно быть искусственным (т. е. политиканством), и провинция им поверит лишь тогда, когда они не будут прятать свои разногласия, а честно о них говорить. Между тем этот старый демократический принцип был прочно забыт и либералами после 1991 г., и КПРФ. Сможет ли наше общество на этот раз разорвать порочный круг? Шансы есть у того, кто способен учиться на ошибках прошлого.

Большие события, вызывающие резкие и внезапные изменения, подготавливаются на уровне капиллярных сосудов, писал Г. Лукач. Художники и писатели изображают, как совершается борьба истины и разнообразных видов лицемерия в душах обыкновенных людей. Но искусством в полном смысле слова это изображение становится тогда, когда благодаря таланту художника на поверхность всплывает истинное бытие, одержавшее победу и над сатаной, и над его мелкими подручными, которые, как известно, могут принимать самые неожиданные обличья.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. его книги, изданные за последнее десятилетие: Диалог с Э. Ильенковым (Проблема идеального). М.: Прогресс-Традиция, 2003; Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира. «Истинная середина». М.: Искусство — XXI век, 2004; Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М.: Искусство — XXI век, 2007; Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М.: Искусство — XXI век, 2009; *Varia*. М.: Grundrisse, 2010; Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М.: Grundrisse, 2011; Письма В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову. М.: Grundrisse, 2011; Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е годы. М.: Grundrisse, 2012; О Гегеле. М.: Grundrisse, 2012; Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. М.: Искусство — XXI век, 2012; см. также книгу о Мих. Лифшице, изданную Институтом философии РАН: Михаил Александрович Лифшиц. М.: РОССПЭН, 2010.

[2] См. о нем материалы наст. изд., примеч. 274.

[3] См.: *Клешнин А.* Критерий реализма // Наш современник. 1973, № 12. С. 163–166. Лифшиц в письме В. Досталу от 15 января 1974 г. назвал рецензию «забавной» (Письма. С. 137). По свидетельству П.В. Палиевского, она вызвала бурю возмущения в официальных литературных кругах. Мих. Лифшиц говорил В. Арсланову, что рецензия ему понравилась, но с критикой К. Кельвиц, содержащейся в ней, он был не согласен.

[4] Памфлет был опубликован А.К. Фроловым с его предисловием в газете «Советская Россия» (5 сентября 2002 г.) и в исправленном и дополненном по оригиналу, хранящемся в архиве Мих. Лифшица, варианте — в журнале «Свободная мысль», 2012, № 3–4, с комментариями А.Н. Столовича и В.Г. Арсланова.

[5] Философию Н.А. Бердяева Мих. Лифшиц называл «парфюмерной»: много красивых слов о духовной свободе, но при этом в разгар Первой мировой войны Бердяев, например, мог написать такие слова: «Дело идет о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца...» (*Бердяев Н.А.* Судьба России. М., 1990. С. 194).

[6] Сац Игорь Александрович (1903–1980) — участник «течения» 30-х гг., член редколлегии журнала «Новый мир» при А. Твардовском, литературовед, переводчик, друг Мих. Лифшица. См.: *Лифшиц Мих.* Памяти друга // Луначарский А.В. Об искусстве: В 2 т. Т. I. М.: Искусство, 1982. С. 47–48.

[7] См. примеч. 104.

[8] Такую записку, согласно стенограмме, получил сам Мих. Лифшиц во время чтения им лекции о добре и зле в 1964 г. — А. Б.

[9] Выражение восходит к роману Б. Пильняка (1894–1938) «Гольд год» (1922): «Большевики. Кожаные куртки. “Энегрично фукириковать”. Вот что такое большевики» (глава VI). См. также об «энегрично фукирирующих кожаных куртках»: Искусство и современный мир, 2. С. 14. — А. Б.

[10] Народное название Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева за расположение в местности Канатчиково (Канатчикова дача) на юге Москвы. — А. Б.

[11] Вероятно, имеется в виду работа Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886). — А. Б.

[12] В одном из машинописных вариантов «Разговора с чертом» названо имя философа: «Да, мысль ло бессильна, вопреки мнению другого немецкого философа, жившего уже в наше время — Макса Шелера, создателя формулы “бессилие духа”» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 20). Шелер (Scheler) Макс (1874–1928) — философ, один из основоположников аксиологии, социологии знания, философской антропологии. См. о нем: В мире эстетики. С. 187. — А. Б.

[13] По словам вдовы Мих. Лифшица Л.Я. Рейнгардт, именно так завершался этот памфлет. — *Сост.*

[14] Эта часто встречающаяся у Мих. Лифшица аббревиатура означает, скорее всего, *Neue Folge* — новое следствие (см. папку № 240 Архива Мих. Лифшица).

[15] По словам Мих. Лифшица, «если на другой день после Октября не совершилась мировая революция», «то совершилась мировая реформа» (Собр. соч. Т. III. С. 256); он также считал, что капитализм взял в XX в. лучшее из практики движения к социализму в

СССР — опыт планирования экономики, социальное обеспечение, которое оказалось выгодным для капитала, позволило ему снять социальное напряжение и смягчить действие кризисов, а СССР взял худшее из современного капитализма: опыт манипулирования массами, благодетельствование сверху, т. е. стратегию и тактику Великого инквизитора, возвращение к азиатчине, какой была уже монополия конца XIX — начала XX в.

<sup>[16]</sup> Черновик письма со следами авторской правки.

Фридендер Григорий Михайлович (1915–1995) — литературовед, примыкал к «течению» 30-х гг. Мих. Лифшица и Г. Лукача, доктор филологических наук, академик РАН. Руководитель академического издания ПСС Ф.М. Достоевского в 30 т., а также других академических изданий русских классиков. Автор ряда книг, в том числе «Достоевский и мировая литература» (1979; Государственная премия СССР, 1983). Почетный президент Международного общества Достоевского, почетный доктор Ноттингемского университета (Великобритания). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Отзыв Мих. Лифшица о новых взглядах своего бывшего ученика см., например, в наст. изд., раздел V, с. 158–159.

<sup>[17]</sup> Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель. См. о нем: Собр. соч. Т. III. С. 217, 218 («мрачный демонизм героев Леонида Андреева, их нищанская поза», ««чеховцы» и “андреевцы” — два отрицательных типа русской интеллигенции этого времени»). — А. Б.

<sup>[18]</sup> См. о нем материалы наст. изд., примеч. 219. — А. Б.

<sup>[19]</sup> См.: Фридендер Г. Образы и темы Достоевского // Звезда. 1956. № 2. С. 137–163. — А. Б.

<sup>[20]</sup> Возможно, предполагавшийся ответ Мих. Лифшиц называет ответом «прямой наводкой» еще и потому, что он был бы прямым продолжением марксистской традиции анализа и критики рассказа А. Андреева «Тьма», мотивов Достоевского в нем. При своем появлении (Шиповник. Кн. 3. СПб., 1907) рассказ подвергся резкой критике в марксистских сборниках, направленных против идейного и литературного распада, — в статьях В. Воровского (сборник «О веяниях времени». СПб., 1908) и А. Луначарского (сборник «Литературный распад». Кн. 1. СПб., 1908). См.: Воробский В. В ночь после битвы // Воровский В. Статьи о русской литературе. М.: Художественная литература, 1986. С. 161–177; Луначарский А. «Тьма» // Луначарский А.В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1963. С. 392–415; Он же. Борьба с мародерами (1932) // Там же. С. 425–429. — А. Б.

<sup>[21]</sup> В своей незаконченной работе «Горе от ума» Грибоедова» Мих. Лифшиц писал: «Нет в мире виноватых!» — сказал король Лир. К сожалению, это не так, и хотя бы в историческом смысле они есть. Но нет в мире и совершенно правых, поэтому более всего правы те, кто это понимает» (Очерки русской культуры. С. 145).

<sup>[22]</sup> «...последняя форма, придаваемая аристократом своим предрассудкам» (Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики // Маркс, Энгельс. Т. 2. С. 221). — А. Б.

<sup>[23]</sup> Имеется в виду Южаков Сергей Николаевич (1849–1910) — один из идеологов либерального народничества, социолог и публицист. См.: Ленин. Т. 2, статьи «Гимназические хозяйства и исправительные гимназии» (1895) и «Перлы народнического прожектерства» (1897). Ленин называет «план» Южакова «крепостнически-бюрократически-буржуазно-социалистическим экспериментом» (с. 493). — А. Б.

<sup>[24]</sup> Карякин Юрий Федорович (1930–2011) — публицист, один из ведущих исследователей творчества Достоевского, лидер либеральной «перестроечной» интеллигенции, участник сборника «Иного не дано» (1988); член Президентского совета при Б. Ельцине; умер, испытывая материальные затруднения. См. его книги: Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М.: Советский писатель, 1989; Он же. Достоевский и Апокалипсис. М.: Фолио, 2009; Он же. Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. — А. Б.

<sup>[25]</sup> В этом номере журнала была опубликована статья Ю. Карякина «Антикоммунизм, Достоевский и “Достоевщина”», которая сделала его знаменитым. На страницы этой статьи ссылается Мих. Лифшиц.

<sup>[26]</sup> К понятию «Бернарду» Мих. Лифшиц обращается неоднократно в своих архивных заметках. См., например, следующую запись: «Великий шаг, сделанный сенсуалистами XVII века по отношению к обычной “адекватности” и “врожденности” сознания рационалистов метафизической эпохи. И все же это был также шаг назад, шаг к “бернарству”»

(“Братья Карамазовы”), к ограничению сознания его физиологической и социологической клеткой, *ortbestimmung*. Вот из чего тщетно искали выход Локк и его последователи, особенно Вольтер и Дидро» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 189. С. 351).

[27] Здесь центральный пункт расхождения Мих. Лифшица как с «советским» марксизмом, так и с «советским» (а затем постсоветским) либерализмом. М. Вебер писал, что английская революция XVII в. и Великая французская революция XVIII в. были совершены против привилегированной, т. н. «королевской» буржуазии, пользовавшейся покровительством королевской власти и душившей буржуазию демократическую: «Против упомянутых торговых компаний, против ломбардцев, “трапезитов”, монополистов, крупных спекулянтов и банкиров, пользовавшихся покровительством англиканской церкви, а также королей и парламентов в Англии и Франции, вели ведь борьбу и пуритане, и гугеноты» (*Вебер М. Избранные произведения*. М., 1990. С. 99). «Революция» (точнее — контрреволюция) 1991 г., в отличие от Французской революции, дала полную свободу как раз нашему теневоому рынку, созревшему при советской власти, и коррумпированной бюрократии, сросшейся с криминальным миром, и задушила все проявления демократии — экономической и социальной самостоятельности производительного населения: от рабочих и фермеров до людей духовного труда. Достоевский, в интерпретации Лифшица, боролся «на два фронта» и против либеральной, сросшейся с крепостничеством, буржуазии, и против обратной стороны этого «пруссского» капитализма, патерналистского социализма, элементы которого были уже у Столыпина, а затем развились, с одной стороны, в фашизм, а с другой — в империю Сталина, «культ личности», представлявший собой, по словам Лифшица, «перезиток бонапартизма и тирании, неслышанно развившийся и превзошедший всякие предшествующие формы этого явления на экспериментально-чистой почве» (Что такое классика? С. 32).

[28] Противником и страстным разоблачителем которого был Достоевский.

[29] Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) — деятель русского революционно-го движения, организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера». По мнению Мих. Лифшица, фигура Нечаева типична для плебейской революционности, одним из предвестителей которой Лифшиц считал И.В. Сталина. См. о нем: Собр. соч. (по указателю); наст. изд. — А. Б.

[30] То есть Ю. Карякин не понимает того, что «социалисты» типа Верховенского — обратная сторона буржуа-жулика, буржуа-коррупционера и либерала, сросшегося с крепостничеством. Демократическая буржуазия в лице, например, честного фермера и крупного производительного капитала, возглавляемого политиками типа Линкольна, ближе к социализму, чем такой революционер, как Верховенский, являющийся главным врагом социалистической и демократической революции.

[31] Надо думать, пролетарский и крестьянский демократизм выше.

[32] Часто употребляемое Лифшицем понятие: перерождение; по определению Лифшица, энантиодромия — «термин школы Юнга, т. е. перерождение вверх дном слишком косной лестницы ценностей или, по крайней мере, уравнивание всех вещей в общем потоке субъективной творческой деятельности» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 144. С. 202).

[33] Не опубликованная при жизни Достоевского глава романа «Бесы», в которой рассказывается о совращении Ставрогиним малолетней девочки и ее самоубийстве.

[34] Имеется, вероятно, в виду издание сочинений Ницше — *Musarion Ausgabe*. 23 Bände. München, 1920–1929.

[35] В примечании к роману «Бесы» Полного собрания сочинений Ф. Достоевского в тридцати томах приводятся его слова об отказе посвятить этот роман своей племяннице, несмотря на ее просьбу (см. указанную Лифшицем страницу этого издания. Т. 12. А., 1975).

[36] Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — литературовед, теоретик искусства, автор книги «Проблемы поэтики Достоевского» (1929, под названием «Проблемы творчества Достоевского»; 1963; 1972; 1979). См. о нем наст. изд., особенно раздел 6. — А. Б.

[37] Психологическая ориентированность на другого, зависимость от одобрения другого (*англ.*); термин американского социолога Д. Рисмена. См.: «...существо, лишенное центра в самом себе, целиком составленное из внешних влияний (*other directed man*, по терминологии Дэвида Рисмена)...»; «целиком “манипулированное существо”, как принято говорить в современной западной социологии» (*Лифшиц Мих.* Карл Маркс и современная культура (1968) // Собр. соч. Т. I. С. 254). — А. Б.

[38] Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер, теоретик анархизма, идеолог революционного народничества. «Бакунин был человеком большого революционного сердца, и тем не менее анархизм, по выражению Ленина, это вывернутая наизнанку буржуазность» (см.: Почему я не модернист? С. 41, 337–338). См. также: Собр. соч. (по указателю) и наст. изд. — А. Б.

[39] Полонский (псевдоним; настоящая фамилия — Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932) — литературный критик, журналист, историк; основатель и редактор (1921–1929) критико-библиографического журнала «Печать и революция»; редактор (1926–1931) журнала «Новый мир»; в середине 20-х гг. оспаривал мнение Л.П. Гроссмана о том, что Бакунин явился прототипом героя романа «Бесы» Ставрогина. См.: Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л.: ГИЗ, 1926. См. также: *Полонский Вяч.* К теории прототипа. Статья первая. Бакунин и Достоевский. Статья вторая. Михаил Бакунин. Статья третья. Ответ Л. Гроссману. Статья четвертая. Николай Ставрогин и роман «Бесы» // Полонский Вяч. О литературе. Избранные работы / Вступ. ст., сост. и примеч. В.В. Эйдиновой. М.: Советский писатель, 1988. С. 242–343. — А. Б.

[40] Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — поэт, прозаик, литературовед, профессор, доктор филологических наук; автор известных книг о Пушкине (1939, 1958, 1960) и Достоевском (1962, 1965), выпущенных в массовой серии биографий «Жизнь замечательных людей». См. также, например: *Гроссман Л.* Литературные портреты. М.: РИПОЛ классик, 2010. См. также наст. изд., раздел 2, б). — А. Б.

[41] Персонажи драмы Ф. Шиллера «Разбойники», первоначально друзья благородного Карла Моора, а в сущности, негодяи.

[42] Спешнев Николай Александрович (1821–1882) — помещик, революционер, один из руководителей петрашевцев; вместе с Достоевским был приговорен к казни, замененной каторгой; в 1861–1862 гг. мировой посредник в Псковской губернии, отстаивал интересы крестьян. — А. Б.

[43] «Содержание настоящей работы было изложено в заседании Общества российской словесности 14 декабря 1924 г. и в Коммунистической академии 23 февраля 1925 г. Напечатана в «Печати и революции», 1925, II» (*Полонский Вяч.* О литературе. Избранные работы. М., 1988. С. 317, примечание автора к статье «Николай Ставрогин и роман «Бесы»»). См. также примеч. 39. — А. Б.

[44] О Писареве см. ниже, примеч. 176.

[45] Переверзев Валерьян Федорович (1882–1968) — литературовед, профессор МГУ (с 1921), в 1930-е гг., как и Лифшиц, преподаватель (профессор) ИФЛИ (1934–1938), в 1938–1956 гг. находился в заключении и ссылке. Его книги «Творчество Достоевского» (1912, 1922, 1928, 1982) и «Творчество Гоголя» (1914, 1926, 1928, 1982) «были едва ли не первыми попытками применить марксистский метод к истории русской литературы» (*Переверзев В.Ф.* Гоголь. Достоевский. Исследования. М.: Советский писатель, 1982. Вступ. ст. М.Я. Полякова. С. 5). Считаю Переверзева талантливым и честным ученым, в отличие, например, от М. Храпченко, Лифшиц вместе с тем называл его взгляды «наиболее ярким проявлением» «псевдомарксистской социологии» (см.: Литературный критик. 1935. № 2, 3; Надоело. С. 549). Отзывы Лифшица о Переверзеве см.: Собр. соч. Т. 2. С. 214, 234, 242 («социология абстрактных классовых типов Переверзева», «автор оригинальных в своем роде исследований о русских писателях XIX века») и в наст. изд. — А. Б.

[46] Теоретик и практик «всеобщей ликвидации» — Хулио Хуренито, персонаж романа И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922), см. об этом: В мире эстетики. С. 6–10.

[47] См. примеч. 33.

[48] Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845) — дворянин, подполковник лейб-гвардии, декабрист, публицист. «Декабрист Лунин может служить образом благородного героизма дворянской эпохи» (В мире эстетики. С. 150–151); там же сравнение его нравственной позиции с позицией эпохи буржуазной демократии, например, С. Нечаева. — А. Б.

[49] Неопределенно-личное местоимение, некие «они» (*нем.*) — понятие, введенное в книге «Бытие и время» (1927) Хайдеггера для обозначения неподлинного существования человека.

[50] Примечания к «Бесам» 12-го тома ПСС Ф. Достоевского в тридцати томах.

[51] Персонаж одноименной трагедии В. Шекспира.

[52] Так написано у Мих. Лифшица.

[53] Роман Э. Сю, подвергнутый обстоятельной критике Марксом в «Святом семействе».

[54] Касаткин Виктор Иванович (1831–1867) — участник революционного движения 1860-х гг., с 1860 г. эмигрант, помогал Герцену в издании «Колокола»; умер скоропостижно в ночь на 28 декабря 1867 г. — А. Б.

[55] Устинов Григорий Григорьевич — русский помещик, в конце 1860-х гг. живший в Женеве, близкий к эмигрантским кругам, субсидировал издание герценовской газеты «La Cloche» («Колокол»), распространял в России сочинения Герцена и Огарева. — А. Б.

[56] Элидин Михаил Константинович (1835–1908, Женева) — революционер-шестидесятник, деятель вольной русской печати; родился в семье дьякона в Казанской губернии, воспитывался в духовном училище. — А. Б.

[57] Речь идет, по всей вероятности, о фальши традиционной для советского либерального литературоведения интерпретации творчества Достоевского, в том числе и у раннего Ю. Карякина-шестидесятника.

[58] См. более подробно об этом: *Лифшиц Мих.* «Горе от ума» Грибоедова // *Очерки русской культуры*. С. 145.

[59] См. раздел 7 наст. изд.

[60] Термин философии Гегеля, которому Лифшиц уделял особое внимание, начиная со своих ранних работ.

[61] Здесь и далее имеется в виду том 9 Собрания сочинений Достоевского в 10 томах, на котором многочисленные маргиналии Мих. Лифшица, публикуемые в наст. изд.

[62] См. примеч. 104.

[63] Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) — советский государственный и партийный деятель, доктор исторических наук, автор сочинений по истории революционного движения в России, истории религии и атеизма, сектанству, этнографии и литературе. С 1933 г. директор Государственного литературного музея. В 1945–1955 гг. директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.

[64] См. примеч. 51.

[65] Лагерлеф (Lagerlöf) Сельма (1858–1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии (1909). Вероятно, пересказом этой сказки, отвечая уже на вопросы слушателей, Мих. Лифшиц, судя по стенограмме, завершил две свои большие лекции о добре и зле, прочитанные весной 1964 г.: «У Сельмы Лагерлеф, очень хорошей писательницы, есть замечательная сказка в средневековом вкусе о том, что на исповеди к святому однажды пришел не кто иной, как сам черт. Тот спрашивает: “Чем ты грешен, что, ты любишь покушать? — Нет, святой отец, нет, обжорства у меня нет. — Ну, что-то там по женской части, что ли, грешен? — Нет, тоже нет. — Ну, пьянство, выпить? — Тоже нет. — Ну, давай другой грех какой?”. Перебрали все смертные грехи — ничего нет. “Ну, так, — говорит святой, — тогда ты сам сатана, сгинь”. Перекрестил его, и тот провалился сквозь землю, оставив после себя, как и полагается, серный запах.

Так вот, я не отрицаю того, что возможен такой человек, который скажет, что у него нет на душе ничего, такой человек возможен, но я бы не очень поверил его святости» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 447). — А. Б.

[66] Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) — писатель, друг А.Т. Твардовского. Кроме прочего, здесь, может быть, имеется в виду и его «отход» от изображения жизни деревни после «набросков 20-х годов» — «не на политический, а на эстетической почве» (Твардовский и Соколов-Микитов. Письма 1953–1970 годов / Вступ. ст. и публ. М.И. Твардовской // Север. 1978. № 4. С. 106–107). Ср.: «Например, уже в докладе 1926 года я ставил вопрос — как может и может ли выразить себя в данной ситуации эстетически сама действительность?» (Что такое классика? С. 157). — А. Б.

[67] Вот слово (*фр.*). См.: *Ленин В.И.* Планы брошюры «О продовольственном налоге» (1921) // Ленин. Т. 43. С. 379–387, цитируемое — на с. 385: «“Стихия” c'est le mot 1794 versus 1921». Речь идет о мелкобуржуазной стихии. — А. Б.

[68] Имеется в виду вульгарная социология: «Социологи школы Переверзева рассматривали все творческие акты как своего рода удары бомбаранга со стороны определенной социальной прослойки в самой гуще борьбы» (Из автобиографии идей. С. 283). См. так-

же: *Лифшиц Мих.* Пушкинский современник. Обзор статей // Литературный критик. 1936. № 12. С. 256–260 (перепечатано в книге: Почему я не модернист? С. 444–451). — А. Б.

[69] Миртов — псевдоним Лаврова Петра Лавровича (1823–1900), русского философа, социолога, публициста, одного из идеологов революционного народничества, опубликовавшего под этим псевдонимом в 1868–1869 гг. свои знаменитые «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди революционной молодежи. Странник идеалистического субъективного метода в социологии. — А. Б.

[70] Михайловский (псевдоним Гроньяр) Николай Константинович (1842–1904) — русский социолог, публицист, литературный критик, народник. См. о нем: Собр. соч. (по указателю), наст. изд. — А. Б.

[71] Шпет Густав Густавович (1879–1937) — русский философ, психолог, теоретик искусства, последователь Э. Гуссерля, переводчик; расстрелян; в 1956 г. дело пересмотрено и прекращено, в 1992 г. реабилитирован. Мих. Лифшиц сказал о нем в своих лекциях о добре и зле в 1964 г.: «Практика власти есть практика предательства, коварства, как говорил один из противников нашей революции Густав Шпет в 1922 г. Несчастный человек, может быть, и не совершил таких преступлений, за которые он при культе личности понес чрезмерное наказание, но другом Советского Союза, другом Советской власти, другом коммунизма он не был, это можно твердо утверждать (так в стенограмме. — А. Б.)» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 447). — А. Б.

[72] Имеется в виду, очевидно, книга В.Ф. Переверзева «Достоевский» (М., 1925), находящаяся в библиотеке Мих. Лифшица.

[73] В Записке О. Войтинской о журнале «Литературный критик» Л. Мехлису (декабрь 1937 г.) говорилось: «В группу Усневич–Лифшиц» «входят такие люди, как И. Сац, известный тем, что он» «напечатал вреднейшую статью в журнале о том, что мы, якобы, должны добиться победы над врагом, добиваясь пролития малого количества крови» (Переписка. С. 142–143).

[74] Вероятно, имеется в виду работа Д. Мережковского (см. о нем ниже, примеч. 208) «Лев Толстой и Достоевский» (1901–1902).

[75] Ткачев Петр Никитич (1844–1885/86) — публицист, народник. См. о нем ниже, особенно раздел 5. — А. Б.

[76] Дилемма Ставрогина в «Бесах».

[77] См. заметку об «эстетике» ниже (с. 41 и 42 рукописи Мих. Лифшица).

[78] Гефтер Михаил Яковлевич (1918–1995) — историк-марксист, диссидент, в дальнейшем член Президентского совета при Б. Ельцине, из которого вышел после событий осени 1993 г.; был близок с Мих. Лифшицем, относился к нему с большим уважением.

[79] Мих. Лифшиц полагал, что всякое возникновение нового, в том числе появление жизни, представляет собой актуализацию бесконечности, что всякое подлинное рождение требует «займа у бесконечности». Этот взгляд близок идеям современной науки, например, И. Пригожина, о возникновении жизни.

[80] Вероятно, имеется в виду советская либеральная интеллигенция 1960–1970-х гг. См. замечания Мих. Лифшица, например, о Д. Лихачеве или о «младомарксистах» («младотурках») в наст. изд.

[81] См. об этом, например, памфлет Мих. Лифшица об А. Гулыге «Плоды просвещения» (В мире эстетики. С. 37–96).

[82] В 1859 г. Огарев случайно встречает на лондонском «дне» Мэри Сетерленд, которая «стала верной, доброй и заботливой спутницей поэта на протяжении почти двадцати лет — до последних дней его жизни...» (*Путинцев В. Н. А. Тучкова-Огарева и ее записки // Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1959*).

[83] Персонаж произведения А. Франса «Современная история», гуманист в духе Монтеня.

[84] Александров (Келлер) Владимир Борисович (1898–1954) — историк литературы, критик, участник «течения» 30-х гг., друг Мих. Лифшица. См. о нем ниже. — А. Б.

[85] Грибуль — простофиля (*фр.*) — персонаж повести Ж. Санд «История простодушного Грибуля». Герой отличается чрезмерной, гипертрофированной добротелью, его поступки — эксцессы добра. См. предисловие А. Герцена к упомянутой книге Ж. Санд (*Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 14. М., 1958. С. 356–358*).



[86] Бессильная зависть, враждебность к тому, что человек считает причиной своих неудач. Термин введен Ницше в его «Генеалогии морали» по отношению к христианству.

[87] Одна из героинь произведения Достоевского «Неточка Незванова».

[88] *Александров В.Б.* Идеи и образы Достоевского // Александров В.Б. Люди и книги. М., 1956. С. 88. На полях этой статьи книги В. Александрова из библиотеки Мих. Лифшица многочисленные его маргиналии, содержание которых совпадает с приводимыми в наст. изд. заметками Мих. Лифшица по поводу статьи В. Александрова о Достоевском.

[89] Эта заметка Мих. Лифшица практически полностью совпадает с его маргиналиями на полях указанной выше статьи В.Б. Александрова о Достоевском.

[90] *Александров В.Б.* Цит. соч. С. 89.

[91] Там же.

[92] Приведенные выше три фразы Лифшица — изложение положений статьи В. Александрова. С. 89, 90.

[93] *Александров В.Б.* Цит. соч. С. 90.

[94] Там же.

[95] «Воспитание чувств» (1869), роман французского писателя Г. Флобера (Flaubert, 1821–1880). — А. Б.

[96] *Александров В.Б.* Цит. соч. С. 91.

[97] Бодлер (Baudelaire) Шарль Пьер (1821–1867) — французский поэт, критик; «гениальный поэт и первый сознательный декадент» (Мих. Лифшиц). См. о нем: Собр. соч. (по указателю); Почему я не модернист? (по указателю). — А. Б.

[98] «“Вы — железные носы, вы нас заклевали!” — говорили нам арестанты, и как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему в острог!» (*Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома // ПСС. Т. 4. А., 1972. С. 176). Железные носы или железноклюи — прозвище арестантов из дворян, возникшее от формы древнерусских железных шлемов с наносником (кловом), являвшихся привилегией знатных, именитых воинов.

[99] Сенковский Осип Иванович (1800–1858) — журналист, прозаик, критик, востоковед, член-корреспондент Петербургской АН (1828); редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», где под псевдонимом Барон Брамбеус печатал многочисленные «восточные», светские, бытовые и другие повести. Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) — мемуарист, критик, историк литературы, цензор, академик Петербургской АН (1855); автор «Записок и дневника»; о его цензорской работе см., например: О Гегеле. С. 104. Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик, эстетик; его характеристику см. в разделе V наст. изд. Энгельсон Владимир Аристович (1821–1857) — публицист, петрашевец, с 1850 г. политэмигрант, сотрудник А.И. Герцена (ряд прокламаций, статья «Что такое государство?», 1855). Печорин — герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1840). — А. Б.

[100] Истинная середина (*нем.*): одно из основных понятий онтогносеологии и «теории тождества» Мих. Лифшица, см.: Что такое классика?

[101] В «теории тождества» Мих. Лифшица рассматривается мышление по правилам искусства — *lege artis*. В папке № 7 его архива есть следующая запись: «Десять заповедей диалектического анализа

Диалектический анализ *lege artis*

– правило тождества противоположностей. Энантиодромия. Переворачивание

– первая теорема Белинского: (“иное — иного”) (правило раздвоения. *Distinguo?*)

– правило цикла (“порочный круг”, сокращение периода, предел)

– правило дифференциала. “Становление”

– правило двух форм тождества. Экстрем[ального] и гармонического

– правило истинной и дурной середины

– вторая теорема Белинского. Граница свободной отрицательности

– второе правило цикла (аналогично *двум серединам*). Раздвоение экстремального тождества. Обратные силы.

– правило кары и оправдания. Два демонизма.

– правило мировой линии. Развитие и клоака *taxima*

А. Сведение диалектики к релятивизму и его апория

Б. Различие между гегелевской диалектикой и марксизмом

Из этих правил исключаются категории и логика понятия, не говоря уже об онтогносеологии».

<sup>[102]</sup> «Бегство от свободы» — термин и название известной книги (1941) Э. Фромма, характеризующей психологию и поведение западного обывателя.

<sup>[103]</sup> См. примеч. 14.

<sup>[104]</sup> В тексте Достоевского не только главный герой, но и эпизодический, тоже пожилой муж молодой жены, говорит о себе: «Я сам по себе».

<sup>[105]</sup> «Генеалогия морали» — название известной работы (1887) Ф. Ницше.

<sup>[106]</sup> К [«Чужой жене» Достоевского].

<sup>[107]</sup> Имеются в виду слова Ленина: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий» (*Ленин*. Т. 24. С. 18).

<sup>[108]</sup> *Лифшиц Мих., Рейнгардт А.* Незаменимая традиция. Критика модернизма в классической марксистской литературе. М., 1974. С. 28, 159.

<sup>[109]</sup> Ср. логику «ни бе, ни ме», о которой говорит здесь Мих. Лифшиц, с логикой постмодернизма (у Ж. Деррида): «и то, и се; и ни то, и ни се» — полнотой, по словам Деррида, неопределенности, прямо противоположной «теории тождеств» Лифшица с ее принципом «полноты истины», полноты определенности.

<sup>[110]</sup> В своей статье о посмертных произведениях Толстого Р. Люксембург писала: «Конечно, Толстой совершенно не понимал современное рабочее движение. Но было бы признаком недостаточной духовной зрелости сознательных рабочих, если бы они, со своей стороны, не поняли, что тем не менее гениальное творчество Толстого дышит самым чистым, подлинным духом социализма» (Роза Люксембург о литературе. М., 1961. С. 127).

<sup>[111]</sup> Возможно, имеется в виду следующее: «Существует одна забавная апокрифическая история. Спорили о делах веры Симон Маг и апостол Петр. Силою чародейства Симон взлетел выше туч и вызвал на соревнование Петра. Тот согласился, но с одной оговоркой: “Если я не взлечу, это не значит, что моя вера ложна, а значит только, что моя молитва слаба”. И, помолившись, взлетел.

Что моя молитва слаба, мне не раз указывали в прежние времена, но, видимо, она все же выдержала испытание, как показывает тот факт, что некоторые взгляды, приписанные в прошлом мне лично (как еретические), в настоящее время не вызывают сомнения и перешли даже в учебники» (*Собр. соч.* Т. I. С. 42–43). То есть «запасной выход» — это, вероятно, вера в марксистского «бога», в действительность, в обстоятельства, которые развяжут, распутают все позиции и узлы. — А. Б.

<sup>[112]</sup> См. о нем примеч. 40.

<sup>[113]</sup> Речь идет о романе Достоевского «Бедные люди» (1845).

<sup>[114]</sup> Имеется в виду сочинение Д. Дидро «Прибавление к “Путешествию” Бугенвиля» (1772).

<sup>[115]</sup> «Дьявол in persona» — выражение К. Маркса, характеристика участников восстания тайпинов в Китае. «Тайпин — это, очевидно, дьявол in persona (во плоти), каким его должен рисовать себе китайская фантазия. Но только в Китае и возможен такого рода дьявол. Он является порождением окаменелой общественной жизни», — писал Маркс в статье 1862 г. «Китайские дела». Оригинальными, считал он, «в этой китайской революции в действительности являются только ее носители. За исключением смены династии, они не ставят себе никаких задач. У них нет никаких лозунгов. Народным массам они внушают еще больший ужас, чем старым властителям. Все их назначение сводится как будто к тому, чтобы застойному маразму противопоставить разрушение в уродливо отвратительных формах, разрушение без какого-либо зародыша созидательной работы» (*Маркс, Энгельс*. Т. 15. С. 533, 529–530).

<sup>[116]</sup> Ван Гог хотел жениться на проститутке.

<sup>[117]</sup> О «Диалектике просвещения» (1947) М. Хоркхаймера (Horkheimer; 1895–1973) и Т. Адорно (Wisengrund-Adorno; 1903–1969) Мих. Лифшиц писал, например, в статье «Чего не надо бояться» (*Мифология*. С. 556–581). — А. Б.

<sup>[118]</sup> Шмидт (Schmidt) Юлиан (1818–1886) — немецкий критик и историк литературы.

<sup>[119]</sup> «Поль и Виргиния» — повесть-притча французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, образец сентиментализма, впервые опубликованная в 1788 г. в рамках его философского трактата «Этюды о природе».

[120] Абаляр (Abailard / Abélard) Пьер (1079–1142) — философ, герой автобиографического средневекового повествования «История моих бедствий», от которого отталкивался Руссо, автор «Новой Элоизы».

[121] Один из героев «Бедных людей», писатель. См. о нем также в разделе V наст. изд.

[122] Гёте. К Шиллеру. 23 декабря 1797 г. В этом письме Гёте, в частности, пишет: «Мейер заметил, что существует стремление подогнать все роды изобразительного искусства к живописи, потому что она может своей постановкой и красками представить изображаемое как действительно существующее. Можно заметить также, что и поэзия по мере своего развития устремляется к драме, к изображению *самой настоящей действительности*. Например, романы в письмах вполне драматичны, поэтому можно с полным правом включать в них форменные диалоги, как это и делал Ричардсон; повествовательные же романы с диалогами, наоборот, заслуживали бы порицания» (Гёте и Шиллер. Переписка (1794–1805). В двух томах. Том первый / Вступ. ст. Г. Лукача. Перевод А.Г. Горнфельда и И.Г. Смидович. М.; Л., 1937. С. 369). — А. Б.

[123] Возможно, Тиссен (Thyssen) Фриц (1873–1951) — промышленник, доктор права. Вместе с Крупном финансировал фашистскую партию Гитлера, с 1931 г. член НСДАП, после 1938 г. порвал с Гитлером.

[124] Так написано Мих. Лифшицем на вырезке статьи М. Храпченко, с 1952 г. журнал назывался «Коммунист». О М.Б. Храпченко см. наст. изд., примеч. 274.

[125] Роман (1816) Бенжамена Констан (Constant de Rebecque; 1767–1830) — французского политического деятеля, писателя, публициста. См. о нем: Почему я не модернист? (по узателю); *Лифшиц Мих.* Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг. М., 2012. С. 25–26. — А. Б.

[126] См. публикуемые в наст. изд. фрагменты архивной папки Мих. Лифшица № 302 «Бланки. Ткачев».

[127] Долгушинцы — кружок революционеров во главе с А.В. Долгушиным, существовавший в Петербурге, затем в Москве и Подмосковье в 1872–1873 гг., были судимы в 1874-м, главные обвиняемые почти все погибли в заключении. Деятельность долгушинцев была одним из предвестников «хождения в народ» 1874 г.

Чайковцы — революционная народническая организация в России начала 1870-х гг. Зародилась в Петербурге в ходе студенческих волнений 1868–1869 гг. как группа противников С.Г. Нечаева. Заключительным этапом деятельности организации явилось «хождение в народ», в 1873–1874 гг. организация была разгромлена, а большинство чайковцев осуждено.

[128] Здесь Мих. Лифшиц имеет в виду идею своей онтогносеологии: истина есть голос бытия и открывается она тому, кто примыкает к истинному бытию. В преобразовании реальности (в том числе в любви) мир становится субъектом, приобретает способность отвечать на наши вопросы и запросы.

[129] Вероятно, следует понимать в том смысле, что опыт любви основан на всей совокупности отношений человека к миру и мира к человеку.

[130] Завоевание. Известна работа философа-марксиста И. Дитцена (Dietzgen; 1828–1888) «Аквизит философии» (Acqisit der Philosophie, 1887), в русском переводе — «Завоевания (аквизит) философии...» (1906). — А. Б.

[131] См. примеч. 75, 173, 174.

[132] Лицемерие, в конечном счете, христианской морали: посыпая себе голову пеплом за грехи других людей, можно освободить себя тем самым от реальной помощи им.

[133] Лицемерие христианского всепрощенчества, поскольку атеисты для религиозного мировоззрения априори не правы, тогда как материализм Маркса допускает, что неправильное по форме мировоззрение (в том числе и религиозное) может быть более верным и глубоким выражением истины времени (учение Платона, первоначального христианства, Гегеля), чем более правильное по форме, но по сути являющееся ложью (как, например, атеизм аристократии XVIII в.).

[134] См. рассуждения Лифшица об онтологическом доказательстве существования бога — оно, по его мнению, не беспочвенно. Если есть идея бога, значит, есть бог, гласит это доказательство. Но можно, согласно Мих. Лифшицу, сказать и так: идея бога не случайно приходит в голову людей, ибо они на своем опыте убеждаются в реальности идеального.

[135] Центральная идея онтогносеологии Мих. Лифшица: как соотносятся между собой фабульный (подтасованный) мир смысла — и мир бессмысленной случайности («ахиней»). В христианстве Лифшиц видит тождество этих крайностей вместо диалектического отношения и исследования этого отношения *lege artis* (по правилам логического искусства).

[136] Имеется в виду идея Герцена, что история — это не готовое либретто.

[137] Люди, восставшие против зла и бессмыслицы, не ответственны за них: «слезинка ребенка» не является укором для преобразованного людьми бытия, поскольку не они — авторы «либретто», которого, согласно азбуке материализма, вообще говоря, для мира в целом нет, хотя «подтасованность» и «фабульность» свойственны бытию наряду с «ахинеей» и бессмыслицей.

[138] От материалистического гуманизма Достоевский в конечном счете приходит к христианскому признанию, что вся мировая «ахиней», в том числе и страдания невинного ребенка, — необходимы и благодетельны в каком-то высшем, недоступном пониманию людей смысле для создателя мирового «либретто».

[139] Вероятно, имеется в виду письмо В.Г. Белинского В.П. Боткину от 1 марта 1841 г., в котором есть такие его слова: «...если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II, и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1956. С. 202). — А. Б.

[140] Согласно материализму, невинная кровь снимает вину с человека, вынужденного отвечать за чужие грехи согласно закону «круговой поруки», но не с того, кто является автором всего этого «либретто», предполагающего пролитие невинной крови.

[141] Это произведение Дидро заканчивается словами (подчеркнутыми Лифшицем в экземпляре принадлежавшего ему тома сочинений Дидро): «— Поскольку для каждого закона найдется исключение, то мудрому надлежит судить о случаях, когда надо подчиняться закону и когда можно его не исполнять.

— Я ничего не имел бы против, — ответил отец, — если бы в городе был один или два таких гражданина, как ты, но я не стал бы там жить, если бы все думали так же» (*Дидро Д.* Соч.: В 10 т. Т. IV. АCADEMIA, 1937. С. 52). В драме Дидро «Отец семейства» отец убеждает детей, что брак по любви, не обеспеченный материально, есть «подрыв всех основ общества, смешение крови и званий, вырождение семьи» (протитированные слова подчеркнуты Лифшицем в книге из его библиотеки: *Дидро Д.* Соч.: В 10 т. Т. V. АCADEMIA, 1936. С. 237).

[142] Великий инквизитор правильно отмечает противоречие в христианском учении: с одной стороны, ставка на вменяемость людей, на их самосознание, а с другой стороны — насилие, каким является чудо как средство убеждения посредством демонстрации сверхсилы — отмены законов природы Богом.

[143] Штирнер (Stirner; настоящее имя Каспар Шмидт) Макс (1806–1856) — немецкий философ, автор книги «Единственный и его собственность» (1844), один из родоначальников анархизма. «Неистовое желание любить себя во плоти, как проповедовал некогда Штирнер, становится единственной заповедью современного сверхчеловека» (Собр. соч. Т. II. С. 105). См. также наст. изд. — А. Б.

[144] Трагедия Шекспира «Тимон Афинский»; «его двойник» — возможно, имеется в виду персонаж этой трагедии, мизантроп Апенант, или сам Тимон, превратившийся из сверхдобраго богача в нищего человеконенавистника.

[145] Болингброк (Боллингброк; Bolingbroke) Генри Сент-Джон (1678–1751) — английский политический философ, государственный деятель и писатель. Вольтер (Voltaire) Мари Франсуа Аруз (1694–1778) — выдающийся деятель французского Просвещения. Болингброк, деист, был близок физикотеологии, идее мировой гармонии («все благо»); философии «оптимизма» до середины XVIII в. придерживался и Вольтер, затем осмеявший ее в образе доктора Панглоса и сравнивший «предустановленную гармонию» с бойней. Болингброк предвосхитил знаменитое замечание Вольтера «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать» (см.: *Болингброк.* Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука, 1978. С. 292). Однако Болингброк выступил и одним из первых дворянских обличителей современного ему буржуазного общества, уродств эпохи капиталистического

грюндерства в Англии, царства «Золотых мешков», в котором господствует «дух грабежа и продажности, обмана и коррупции», и как аристократ в гораздо большей степени стоял на исторической почве, чем его оппоненты (см. там же. С. 278, 280), а в XVIII в. никто не сделал столько для разоблачения предрассудков и власти религии, церкви, сколько сделал Вольтер. И хотя Вольтер, в других условиях Франции, казался бы, действовал в прямо противоположном направлении, чем Болингброк, — в сторону более широкого, свободного буржуазно-демократического развития, оба они стремились в конечном счете к наиболее благоприятному, полному, человеческому «соприкосновению» временного и вечного, земного и небесного, частного и общего, добра и зла. Возможно, здесь имеется в виду это. См.: Поэтическая справедливость (по указателю); *Лифшиц Мих.* Вольтер — мыслитель и художник // Собр. соч. Т. II. — А. Б.

<sup>[146]</sup> Возникшее под влиянием Фейербаха и Гегеля идейное движение в Германии 40-х гг. XIX в., подвергнутое критике Марксом и Энгельсом в книге «Немецкая идеология» за либеральное доктринерство, отвлечение от реальных проблем в область философствования и филантропических, нередко лицемерных, мечтаний.

<sup>[147]</sup> Согласно теории права Гегеля, преступник, подвергнутый казни, наказывает себя сам.

<sup>[148]</sup> По мнению Маркса, изложенному в «Критике Готской программы», коммунистическое общество имеет две стадии: когда оно «сохраняет еще родимые пятна старого общества» и когда оно «развилось на своей собственной основе» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 18).

<sup>[149]</sup> Проповедуя приоритет действительной, способной устранить нищету и ее социальные причины, а не лицемерно-филантропической помощи «сверху», Лифшиц и «течение» 30-х гг. высмеивали тех «марксистов», которые провозглашали, что нищим они не поддают. См. об этом в разделе V наст. изд.

<sup>[150]</sup> То есть та бессмыслица бытия и зло, к которым примирительно относятся религия, поскольку они входят необходимой составной частью в «либретто», сочиненное Богом.

<sup>[151]</sup> Элемент апологетики «ахинеи» и зла в религии.

<sup>[152]</sup> Мир идеальный и мир реальный. Согласно «диалектической онтогносеологии» Мих. Лифшица, «мир вещей и мир духовный переходят друг в друга, отождествляясь и в то же время сохраняя свое неизбежное гносеологическое различие» (*Лифшиц Мих.* Диалог с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального). М., 2003. С. 174).

<sup>[153]</sup> Религия слишком скоро «связывает концы с концами», игнорируя мучительный и долгий процесс истории — очеловечивание природы и натурализация человека, она скорее декларирует свои истины, чем доказывает их, и потому за чертом с его отрицанием идеального измерения бытия нередко остается последнее слово.

<sup>[154]</sup> Преимущества и недостатки азиатской «демократии несвободы» — основная тема размышлений Мих. Лифшица о российской истории и дворянской культуре, см.: *Лифшиц Мих.* Очерки русской культуры. М., 1995.

<sup>[155]</sup> Рассказ А. Чехова «Мелюзга» (1885).

<sup>[156]</sup> Повесть А. Куприна «Олеся» (1896).

<sup>[157]</sup> Тогда как для Достоевского весь этот дешевый агностицизм — пошлая чертовщина, обратные общие места, говоря словами Лифшица, выдаваемые за глубокую философию.

<sup>[158]</sup> О «человекобожии», «в нем полубоге в лице человечества» см.: *Лифшиц Мих.* На деревню дедушке // Либерализм и демократия. С. 215. — А. Б.

<sup>[159]</sup> Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — русский юрист-правовед, выдающийся адвокат, польский публицист, критик и историк польской литературы, общественный деятель. В ГРМ находится портрет В. Спасовича кисти И. Репина; Спасович считается прототипом образа Фетюковича в романе Достоевского.

<sup>[160]</sup> О Л. П. Гроссммане см. выше, примеч. 40.

<sup>[161]</sup> Спасский Юрий Арсеньевич (1874–1944) — экономист, литературный критик, происходил из «выморочного, опустившегося дворянского рода» (Мих. Лифшиц). См. о нем: Письма. С. 97, 111, 139, 140.

<sup>[162]</sup> То есть трактовка творчества Достоевского, принятая советским литературоведением с конца 30-х гг., когда бывшие вульгарные социологи и рапповцы (В. Ермилов,

М. Храпченко и др.) стали поливать «густым розовым сиропом» (Мих. Лифшиц) ранее черными ими классиков прошлого, создавших гениальные произведения якобы «вопреки» своим консервативным или даже реакционным убеждениям. Точка зрения «течения» Лифшица — Лукача: не только вопреки, но отчасти и благодаря консервативным взглядам.

<sup>[163]</sup> О М. Штирнере см. выше, примеч. 143.

<sup>[164]</sup> Субъект как щель — одна из основных идей онтогносеологии Мих. Лифшица.

<sup>[165]</sup> Фонтенель (Fontenelle) Бернар Ле Бовье де (1657–1757) — французский ученый, писатель, критик религии, картезианец, автор «Бесед о множественности миров» (1686), участник известного спора «древних и новых» на стороне «новых». Отвлеченное предствление о непрерывном развитии человеческого рода (*поступательном движении наций*) побуждало его «смотреть на всю предшествующую историю с более или менее ясно выраженным высокомерием», восстать «против безусловного авторитета античности с точки зрения строгого рационализма» (см.: Собр. соч. Т. II. С. 12, 19). — А. Б.

<sup>[166]</sup> Дескрипция (от лат. *descriptio* — описание) — языковая конструкция, заменяющая собственное или нарицательное имя предмета. В естественном языке передается словосочетаниями типа «тот..., который...» и «такой..., что...» (Большой энциклопедический словарь).

<sup>[167]</sup> Имеется в виду роман английского писателя Олдоса Хаксли (Huxley; 1894–1963) «Прекрасный новый мир» (*Brave New World*, 1931). См. о нем: Собр. соч. (по указателю). — А. Б.

<sup>[168]</sup> *Distinguo* — я различаю (лат.). В «теории тождеств» Мих. Лифшица метод прохождения между двумя одинаково неприемлемыми крайностями.

<sup>[169]</sup> Из сцен лирической комедии Н.А. Некрасова «Медвежья охота» (1866–1867).

<sup>[170]</sup> Петролей (фр. *pétrole* — нефть; керосин) — керосин. Имеются в виду поджигатели. О «петролейщиках» — парижских коммунарах, которые якобы подожгли дворец Тюильри, где хранилось много произведений искусства, говорит Версилье в романе Достоевского «Подросток» (часть третья, глава седьмая, II); см. также наст. изд., раздел V. — А. Б.

<sup>[171]</sup> В Китае длительное время правила маньчжурская Цинская династия.

<sup>[172]</sup> Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — русский писатель. О его отношении к Пушкину более всего см.: *Лифшиц Мих.* Пушкин и его время. Главы незавершенной работы // Очерки русской культуры. С. 162–226. — А. Б.

<sup>[173]</sup> См. о нем выше, примеч. 75. О Ткачеве также много заметок Мих. Лифшица в его архивной папке «Народники».

<sup>[174]</sup> Статья П. Ткачева «О суде по преступлениям против законов печати» (1862).

<sup>[175]</sup> Мих. Лифшиц ссылается на книгу: *Козьмин Б.П.* П.Н. Ткачев и революционное движение 1860-х гг. М., 1922.

<sup>[176]</sup> Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — русский публицист и литературный критик; «нигилист», начавший в т. ч. и отрицание, «разрушение эстетики» (одноименная статья 1865 г.). См. о нем: Собр. соч. (по указателю). Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) — русский публицист и критик; тоже «нигилист», немецкую классическую философию и Фейербаха, например, расценивавший как многовековую абракадабру, последовательный «разрушитель эстетики» 1860-х гг., значительно превосходивший Писарева в крайних суждениях; Достоевский в памфлете «Г. Щедрин или раскол в нигилистах» пародировал эстетические высказывания главным образом именно Зайцева («без Пушкина можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а следовательно, Пушкин — роскошь и вздор» и т. п.); в подготовительных материалах к «Бесам» Зайцев упоминается вместо Шигалева; предполагается, что он был одним из его прототипов (см.: ПСС. Т. XII. С. 209, 213). — А. Б.

<sup>[177]</sup> Невесомая величина (лат.). См. об идее *imponderabilia* у Мих. Лифшица в книге: Михаил Александрович Лифшиц. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010 (Философия России второй половины XX в.). С. 36–37.

<sup>[178]</sup> Имеется в виду книга: *Бехер Э.* Рабочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению. Переведено под редакцией П.Н. Ткачева. С приложением устава народного банка Прудона и устава Международной ассоциации рабочих. Издание книжного магазина Черкесова. Петербург, 1869. Книга вышла в 1868 г. без предварительной цензуры, позднее на нее был наложен арест, однако почти 750 экземпляров были

уже «проданы неизвестным лицам». См.: *Ткачев П.* Предисловие и примечания к книге Бехера «Рабочий вопрос» // *Ткачев П.Н.* Сочинения в двух томах. Т. I. М.: Мысль, 1975. С. 301–327. — А. Б.

<sup>[179]</sup> Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873–1928) — деятель российского революционного движения, врач, философ, экономист, главный теоретик Пролеткульта; выступал за создание «чисто пролетарской культуры», считал возможным обращаться к классическому наследию только для овладения пролетарскими поэтами литературной техникой. См. о нем: *Собр. соч.* (по указателю). — А. Б.

<sup>[180]</sup> Публикуемые заметки Мих. Лифшица о М. Бахтине представляют собой выписки из книги Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» и замечания, сделанные по поводу этой книги; хранятся в Архиве Мих. Лифшица в папке № 21.

<sup>[181]</sup> Имеется в виду, очевидно, книга Аполлинера: *Apollinaire G.* П у а. P., 1925.

<sup>[182]</sup> Апоретика (от греч. ἀπορία — затруднение, недоумение, безвыходное положение, от ἀ — отрицательная частица и λόρος — выход; апория — кажущееся неразрешимым противоречие) — термин, «встречающийся у Аристотеля и Ф. Brentano и ставший центральным в метафизике познания Н. Гартмана», который «усматривает в истории философии постоянное обращение к неразрешимым философским проблемам, таким как субстанция, свобода, возможность и действительность и др.» (см.: *Новая философская энциклопедия* — <http://iph.gas.ru/elib/0231.html>). Гартман (Hartmann) Николай (1882–1950) — немецкий философ-идеалист, основоположник т. н. критической (или новой) онтологии, созданной под влиянием Э. Гуссерля и М. Шелера. «Так называемая “онтология” Гартмана выдает себя за систему объективного мира. На самом же деле это весьма разработанная психологическая техника, посредством которой можно отвлечься от наиболее принципиальных вопросов теории и самой жизни. В своей призрачной объективности она напоминает то состояние полного равнодушия ко всему, которое воспитывают в себе герои современных западных романов. (В сущности, это тот же “феномен рамы”, известный еще предшественнику Гартмана — Гуссерлю под именем “взятия в скобки”)» (*Лифшиц Мих.* *Лабиринт эстетического модернизма* // *Литературная газета.* 1959. 9 июня. С. 4 [рецензия на книгу: *Гартман Н.* *Эстетика*: Пер. с нем. М.: Издательство иностранной литературы, 1958]). — А. Б.

<sup>[183]</sup> «Повсюду, даже в шахматах, рекомендовалось применять “метод диалектического материализма”. Критика этих фантазий в печати начала 30-х годов была громадным прогрессом, настоящим благодеянием» (Из автобиографии идей. С. 279). Здесь же, вероятно, речь идет о требовании вульгаризаторов 20–30-х гг. (РАПП, Л. Авербах), чтобы писатели в своем творчестве также применяли «метод диалектического материализма». Об этом как «вульгаризаторстве» сказал на встрече с писателями в 1932 г. и сам тов. Сталин: «Почему вы требуете от беспартийного писателя обязательного знания законов диалектики? Почему этот писатель должен писать диалектическим методом? И что такое: писать диалектическим методом? Толстой, Сервантес, Шекспир не были диалектиками, но это не помешало быть им большими художниками. Они были большими художниками и в своих произведениях, каждый по-своему, неплохо сумели отразить свою эпоху. А ведь если стать на вашу точку зрения, надо признать, что они не могли быть большими и хорошими художниками слова, потому что не были диалектиками, т. е. не знали законов диалектики. [...] Ваше понимание диалектического метода в применении к художественному творчеству было вульгаризаторством этого метода» (*Максименков А.* *Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946)*. Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // *Вопросы литературы.* 2003. № 4. С. 212–258). В речи Сталина есть и такие слова: «Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова...», со следующим примечанием публикатора: «Этот тезис спустя несколько лет будет развит до масштаба философского учения венгерским философом, литературоведом и эстетиком Дьердем Лукачем (1885–1971). Лукач, с 1929-го по 1945-й год живший в эмиграции в Москве, опубликовал “Исторический роман” (1937) и “Историю реализма” (1939). В этих фундаментальных исследованиях на сотнях страниц и на многих примерах иллюстрируется именно этот сталинский тезис, за что в 1940 году Лукач и его редактор и ментор Михаил Лифшиц навлекли на себя грозное постановление ЦК и изгнание со страниц литературоведческих журналов. Вдобавок были закрыты и журналы, где они печатались» (с. 232). Публикатор

не точен: «течение» Лифшица—Лукача в 30-е и последующие годы выступало против этого сталинского тезиса, требования формального «мастерства», оторванного от содержания, с чем связано и критическое отношение Лифшица к понятию «мастер» в романе М. Булгакова; см. заметки Лифшица о романе «Мастер и Маргарита»: Почему я не модернист? С. 553–554. О сути взглядов «течения» и дискуссии 1939–1940 гг. см. другие материалы наст. изд. — А. Б.

<sup>[184]</sup> Дымшиц Александр Львович (1910–1975) — литературовед, критик; «мой упорный преследователь» (Искусство и современный мир, 2. С. 5); см. о нем также: Почему я не модернист? (по указателю); *Лифшиц Мих.* На деревню дедушке // Либерализм и демократия. С. 197–288. «Я, кажется, раскрыл источник ненависти Дымшица ко мне — он хочет отобрать у меня мои лавры по Марксу!» (Архив Мих. Лифшица. Папка № 396. С. 10). «...Свою охранительскую репутацию он [Дымшиц] блюл с той особой старательностью, которая свойственна людям однажды провинившимся и строго за это наказанным» (*Меттер И.* Не порастет бьялем: Повести. Рассказы. Поселковые заметки. Воспоминания. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 617).

После выхода издания 1963 г. книги Бахтина в «Литературной газете» было опубликовано несколько дискуссионных статей, в том числе: *Дымшиц А.* Монологи и диалоги // ЛГ. 1964. 11 июля. № 82; *Асмус В., Ермилов В., Перцов В., Храпченко М., Шкловский В.* В редакцию «Литературной газеты» // ЛГ. 1964. 13 августа. № 96; *Дымшиц А.* Восхваление или критика? // Там же. — А. Б.

<sup>[185]</sup> Идея — сила (*фр.*). Вероятно, имеется в виду термин французского философа-гилозиста Альфреда Фуйе (1838–1912), который, как сообщает «Энциклопедия Кругосвет», «стремясь преодолеть спиритуалистический дуализм», «развивал теорию “идей-сил” (*idées-forces*), т. е. сознания-действия: любая идея, с его точки зрения, есть одновременно причина и усилие, она несет в себе способность реализации действия и тем самым есть его начало».

<sup>[186]</sup> См.: *Аскольдов С.* Религиозно-этическое значение Достоевского // Достоевский. Статьи и материалы. Сб. I. М., 1922.

<sup>[187]</sup> Бахтин пишет: «В этом смысле единый становящийся дух, даже как образ, органически чужд Достоевскому».

<sup>[188]</sup> Далее цифры в тексте указывают на страницу книги М. Бахтина.

<sup>[189]</sup> Имеются в виду слова Герцена, что история — это не либретто.

<sup>[190]</sup> Вероятно, имеется в виду Джеймс (James) Уильям (традиционное написание; правильно — Джеймс, 1842–1910) — американский философ и психолог, один из основателей и ведущих представителей прагматизма и функционализма. Как видно, первой философской работой Мих. Лифшица, еще студента Вхутемаса, была как раз критика философии Джеймса (см.: Из автобиографии идей. С. 268), она сохранилась в Архиве Лифшица (папка № 329) под названием «Марксизм и прагматизм» и датирована 20.02.24 г. «Бесчисленные поклонники Бергсона и Джеймса еще до первой мировой войны созрели для идеалов насилия» (Почему я не модернист? С. 43–44). — А. Б.

<sup>[191]</sup> Бурже (Bourget) Поль Шарль Жозеф (1852–1935) — французский писатель; в романе «Ученик» (1889) отвергал гуманность разума, противопоставляя ему религиозную мораль. — А. Б.

<sup>[192]</sup> Почти цитата, см. с. 36 по изд. «Проблемы поэтики Достоевского». М., 1979.

<sup>[193]</sup> *Wesenschau* — термин феноменологии Э. Гуссерля.

<sup>[194]</sup> Подобно дихотомической схеме двух полярных стилей у Г. Вельфлина — «линейного» (плоскостного) и «живописного» (изображающего мир с точки зрения движения).

<sup>[195]</sup> С. 58 по изд. 1979 г. книги Бахтина.

<sup>[196]</sup> Простота, естественность (*лат.*). Может быть, как пример, имеется в виду и известное изречение Я. Гуса (1371–1415), идеолога чешской Реформации: «*O sancta simplicitas!*»: «"Святая простота!"» — сказал Ян Гус при виде старушки, несущей вязанку хвороста для костра, на котором его сожгли» (Собр. соч. Т. II. С. 398). — А. Б.

<sup>[197]</sup> Цит. с. 58 по изд. книги Бахтина 1979 г.

<sup>[198]</sup> Цит. с. 59 по изд. 1979 г.

<sup>[199]</sup> Роман Б. Константа «Адольф». См. примеч. 125.

<sup>[200]</sup> Мих. Лифшиц различает два сознания: то, которое отражает лишь состояние моего тела, то, что стоит за моей спиной (биологические инстинкты по Фрейдю), — и сознатель-



ное сознание, которому доступен мир передо мной. «Мы, в темноте находясь, освещенные видим предметы», — цитирует Лифшиц Лукреция Кара. Другими словами, есть разница между сознанием человека, сидящего в подполье и «сознающего» только то, что ему темно, холодно, сыро и т. д., — и сознанием, которое с высокой башни (как в известном стихотворении Гёте) способен видеть мир во всем его многообразии и красоте. Модернизм, паразитируя на «несчастном» сознании человека, оказавшегося в подполье, демагогически выдает «подпольное» сознание за единственную реальность, а сознательное сознание (присущее всем классикам, в том числе Гёте, Толстому и Достоевскому) объявляет лживой утопией, тоталитарным мифом. Представить и Достоевского апологетом подполья и противником объективной истины — такова главная интенция современного «достоевсковедения», теоретические основы для которого Мих. Лифшиц находит у Бахтина.

[201] Превращать в камень; приводить в оцепенение, изумлять, ошеломлять (*фр.*). Сартр (Sartre) Жан-Поль (1905–1980) — французский философ-экзистенциалист, писатель. Возможно, здесь имеется в виду положение основного онтологического труда Сартра: «Cette pétrification de l'en-soi par le regard de l'autre est le sens profond du mythe de Méduse» (Sartre. Être et Néant. 1943. P. 502); «Другой, появляясь, придает для-себя бытие-в-себе-в-середи-мире в качестве вещи среди вещей. Это окаменение в-себе под взглядом другого оказывается глубоким смыслом мифа о Медузе» (Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. Опыт феноменологической онтологии) / Пер. В.И. Колядко. М.: Республика, 2000). — А. Б.

[202] Марлинский — псевдоним Бестужева Александра Александровича (1797–1837), декабриста, публициста, критика, писателя-романтика. Культ Марлинского-писателя и «марлинизм» как стиль «ложного романтизма» развенчал Белинский. См. у Лифшица о Марлинском: «Ваши претензии напоминают речи мальчишек: *мы не простим старшему поколению культа личности...* Претензии 1956 года в завуалированном виде. [...] Допрос продолжается: почему не боролся? Бывали такие вопросы. “Почему вы не покончили с собой?” Эх, чего им нужно, знаете, какой-нибудь черноокий, бесстрашный Амалат-Бек в арестантском халате»; «...характер Ивана Денисовича, его психология честного хозяина. Так вот отсюда и культ, “парцелла” (и потому он, Иван Денисович) [неразб.] недостаточно хорош, видите ли. А у вас есть люди лучше, с которыми строить коммунизм? Или вы хотите новый миф об Амалат-Беке в арестантском бушлате?» (Лифшиц Мих. Заметки по поводу рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Очерки русской культуры. С. 228, 230–231). Амалат-Бек — герой повести («Аммалат-бек», 1832) Марлинского. — А. Б.

[203] Цит. со с. 89–90 изд. книги Бахтина 1979 г.

[204] Спор в советском литературоведении 1930-х гг., к которому Мих. Лифшиц относится иронически.

[205] Ордыннов — персонаж повести Достоевского «Хозяйка», одинокий ученый, см. с. 97–98 изд. книги Бахтина 1979 г.

[206] «Erhaltende Individuen» — характеристика людей «буржуазного общества» у Гегеля; *erhaltend* — «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь» (см., например, Толстой А. «Живой труп»).

[207] Цит. со с. 98 изд. книги Бахтина 1979 г.

[208] Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский писатель; автор статьи «Грядущий Хам» (1905); Октябрьскую революцию воспринял как торжество Хама; эмигрировал; сравнивал Муссолини с Данте, а Гитлера — с Жанной д'Арк, призванными спасти мир от власти дьявола в святом крестовом походе против царства Антихриста, которым считал большевизм. См. о нем наст. изд., а также: Почему я не модернист? (по указателю). Ср. высказывания Лифшица: «...что касается меня, то я издавна принадлежу к людям, которые стоят на стороне “хамова племени”, и, протравив на это свои лучшие годы, не собираюсь отказываться от старого вероисповедания» (Там же. С. 340); «Что ты будешь делать с людьми, которые считают, что главное противоречие мира — это противоречие между интеллигенцией и хамами! Как им объяснишь, что коммунисты всегда стояли за “хамово племя”, если их отношение к этому делу ограничено получением зарплаты?» (В. Досталу, 23 апреля 1967 г. // Письма. С. 68–69); «Библия все же великое литературное произведение — она создала образ Хама» (Varia. С. 49). Возможно, здесь имеется в виду также статья Ленина «Памяти графа Гейдена (Чему учат народ наши беспартийные “демократы”?») (1907), где Ленин пишет о том, кто есть хам, о господах-хамах и о тех интеллигентах, которые учат народ хамству (см.: Ленин. Т. 16. С. 37–45). — А. Б.

[209] Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ, историк, публицист, идеолог славянофильства. В июле 1864 г. в Лондоне обвинил Герцена, с которым когда-то в Москве был дружен, в пагубном воздействии на молодое поколение, в том, что Герцен жаждет «революции — революции ради»; трехдневный спор привел к окончательному расхождению. В ответ на письмо Самарина Герцен предлагал «Робеспьеру монархии» печатную полемику и опубликовал в «Колоколе» «Письма к противнику» (1864–1865), однако ответа на них не получил. Здесь, возможно, имеется в виду следующее место из письма первого: «История вам указывает, как язычники и христиане, люди, не верившие в жизнь за гробом и верившие в нее, умирали за свое убеждение, за то, что они считали благом, истиной или просто любили... а вы все будете говорить, что человек, считающий себя скучением атомов, не может собою пожертвовать; а человек, который считает свое тело искусными, но презренными ножами души, жертвует собой по праву, несмотря на то, что история вовсе не доказывает, что материалисты 93 года были особенные трусы, а верующие по ремеслу — попы, монахи — были бы (кроме Польши) особенно падки на самоотвержение и героизм. Дело в том, что все эти *первые мотивы* и метафизические мирозерцания вовсе не имеют такого решительного и резкого влияния на характер и действия, как вы полагаете. Большое счастье, что голод и жажда развиваются прежде, чем человек обдумает, стоит ли кормить ничтожные атомы и достойно ли поить презренные ножны. Привычка сделана, и еда идет своим чередом, а трансцендентальная психология своим. Матери не нужно ни религии, ни атеизма, чтоб любить своего ребенка; человеку вообще не нужно ни откровений, ни сокровений, чтоб быть привязанным к своей семье, своему племени и, если случится, вступить за них; а кто вступает, тот иной раз ложится костями — из ничтожных ли атомов они или из творческого вовсе ничего, это все равно» (*Герцен А.И.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 280). — А. Б.

[210] Кант, в отличие от позитивиста Конта, не считал вечные проблемы и т. н. метафизические вопросы нашего разума пустыми химерами, не достойными научного рассмотрения.

[211] Возражение Лифшица заключается, возможно, в том, что, во-первых, в согласии с идеями онтогносеологии, явление есть не что иное, как сама жизнь, являющая скрытую суть материи. Из этого следует, во-вторых, что трансцендентальный умопостигаемый характер наших действий — не внешнее, эпифеноменальное оформление эмпирических поступков, а вытекает из идеального начала бытия.

[212] Мелетинский Елеазар Моисеевич (1918–2005) — «крупнейший отечественный ученый-гуманитарий, чьи работы по исторической поэтике, фольклору, мифологии и литературным архетипам хорошо известны во всем мире» (*Мелетинский Е.М.* Избранные статьи. Воспоминания / Отв. ред. Е.С. Новик. 2-е изд., доп. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008; в т. ч. статья «Миф и двадцатый век» и воспоминание-отзыв о М.А. Лифшице на с. 443). Окончил ИФЛИ (1940), учился в его аспирантуре, с 1956 г. более тридцати лет работал в ИМЛИ. См. также его книги: Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». М.: РГГУ, 1996 (Серия «Чтения по теории и истории культуры»). Вып. 16; Заметки о творчестве Достоевского. М.: РГГУ, 2001. — А. Б.

[213] Анникс Александр Абрамович (1910–1988) — историк литературы, один из ведущих отечественных шекспироведов, председатель Шекспировской комиссии АН СССР, почетный доктор литературы Бирмингемского университета (1974). В 1956 г. подарил Лифшицу свою «Историю английской литературы» (М., 1956) с такой надписью: «Выдающемуся мыслителю нашей эпохи Михаилу Александровичу Лифшицу от одного из тех, кто питался его идеями». См. также: Письма. С. 94–96. — А. Б.

[214] Эльсберг (настоящая фамилия Яшпирштейн) Яков Ефимович (1901–1976) — литературовед, критик, лауреат Сталинской премии (1950). См. о нем: Почему я не модернист? (по указателю); наст. изд. — А. Б.

[215] На свернутом пополам листе бумаги, в котором находится статья (род небольшой папки) надпись: «Моя реплика, которую, конечно, не печатали». На первой странице статьи в левом верхнем углу надпись: «Копия имеется в папке, связанной с Видмаром, набор был сделан для В[опросов] Ф[илософии] (есть там же)». В правом верхнем углу первой страницы статьи чужой рукой надпись (возможно, сделанная в редакции журнала): 1610 / 23.V.57.

[216] Эта брошюра находится в папке «Эльсбериана», и из нее даются цитаты в статье (страницы указаны в скобках).

[217] От идеи Я.Е. Эльсберга, согласно которой отражение (и не только отражение, но и мимезис, вопреки ясному смыслу этого термина — «подражание») не есть изображение, либеральное советское искусствознание и т. н. «творческий марксизм», по сути, разделяющие ее, не сдвинулись ни на шаг вплоть до наших дней. Тезис Эльсберга — теоретический костяк выступлений и статей «младомарксистов-младотурков» (В. Непомнящий, Ю. Давыдов, С. Бочаров и др.) против Мих. Лифшица в 60-е и последующие годы. См. об этом в наст. изд.

[218] Такова классическая концепция мимезиса со времен Платона, который доказывал: первое по важности — что изображает художник и от этого что зависит, как он изображает.

[219] Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) — литературный критик, публицист, лауреат Сталинской премии (1950); один из самых одиозных партийных и литературных функционеров 1920–1950-х гг., активный разоблачитель «течения» Лифшица–Лукача в дискуссии 1939–1940 гг., автор статьи «О вредных взглядах “Литературного критика”» (Литературная газета. 1939. 10 сентября). См. о нем, например: *Платонов А. Фабрика литературы // Октябрь. 1991. № 10. С. 200–206.* Был одним из лидеров кампании против творчества Достоевского (Горький и Достоевский // Красная новь. 1939. № 4–6; Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского. М., 1949), однако уже в книге «Ф.М. Достоевский» (М., 1956) охарактеризовал его как величайшего гуманиста и реалиста. Отзывы Лифшица о нем («настоящий подлец»; «мерзавец, не лишенный внутренней раздвоенности и сознания своей подлости») см.: Почему я не модернист? (по указателю); *Varia* (по указателю); *Надоело* (по указателю). См. также наст. изд. — А. Б.

[220] Новое время. 18.III.1953.

[221] Там же. С. 15.

[222] См. о нем наст. изд., примеч. 274.

[223] *Ермилов В.* Против неправды о Достоевском // Правда. 1957. 2 июня.

[224] Архив Мих. Лифшица. Папка № 247 «Достоевский». С. 115.

[225] Там же. С. 136.

[226] *Гулыга А.* Воспитание Пушкиным // Литературная газета. 1978. № 47 (цит. по: В мире эстетики. С. 79).

[227] В мире эстетики. С. 81.

[228] Там же. С. 82.

[229] Там же. С. 83.

[230] Архив Мих. Лифшица. Папка № 247. С. 126–127.

[231] Там же. С. 123.

[232] Там же. С. 107.

[233] Там же. С. 129.

[234] Собрания сочинений Достоевского.

[235] Архив Мих. Лифшица. Папка № 247 «Достоевский». С. 16–19.

[236] Там же. С. 144–147.

[237] Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме О. Дормана. М., 2010. С. 228.

[238] Шрагин Борис Иосифович (1926–1990) — философ, историк искусства, публицист. См. о нем: Письма. С. 158. — А. Б.

[239] См. о нем ниже, примеч. 263.

[240] В мире эстетики. С. 292.

[241] *Varia*. С. 139.

[242] Там же. С. 159.

[243] Там же.

[244] «Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не вдруг, а постепенно) — где Тургенев (...), где — Достоевский с несколько бледным и далеким сиянием христианского креста над клоакой окровавленного гноища», «...публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. “Дневник писателя”, не во гнев будет сказано поклонникам покойного романиста, — для меня во сто раз драгоценнее всех его романов» (*Леонтьев К.* Избранное. М., 1993. С. 193, 303).

[245] *Бочаров С.* Литературная теория К. Леонтьева // Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 186, 187.

[246] *Лакшин В. Дердь Лукач* // Лакшин В. Голоса и лица. М., 2004. С. 110–111.

[247] *Лакшин В. Воспоминания о Дерде Лукаче* // Иностранная литература. 1988. № 7. С. 231.

[248] В разгар травли Лифшица в период поздней перестройки я позвонил Ю. Карякину. Он возмутился этой травлей, обещал содействие в защите честного имени Михаила Александровича, но дело дальше слов не пошло. — *Сост.*

[249] *Розанов В.В. Уединенное*. М., 1990. С. 359.

[250] *Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля*. М., 1968. С. 15.

[251] См.: «Дух мировой тогда осел в эстетике...» [Интервью с Ю.Н. Давыдовым] // Давыдов Ю.Н. Труд и искусство. Избранные сочинения. М.: Астрель, 2008. С. 3–24. — А. Б.

[252] См.: *Дмитриева Н.А. М.А. Лифшиц* // Дмитриева Н.А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 472–494. — А. Б.

[253] Пажитнов Леонид Николаевич (1931–1997) — историк искусства, эстетик. См. о нем: Письма (по указателю). О Лифшице см.: *Пажитнов А., Шрагин Б.* Социологические концепции искусства 20-х и 30-х годов в России // Мир искусств. Альманах. М.: РИК Русанова, 1997. С. 7–65. — А. Б.

[254] См.: *Лифшиц Мих.* Реализм древнерусского искусства // Почему я не модернист? С. 387.

[255] Там же.

[256] Там же. С. 16.

[257] Там же.

[258] Название настоящего письма в квадратных скобках и комментарии к двум публикуемым в настоящем сборнике письмам Мих. Лифшица Л.Н. Столовичу принадлежат адресату этих писем.

[259] Имма-Маре — в это время жена адресата. — А. С.

[260] Адрес — сын адресата, родился 11 августа 1958 г. Скончался 14 июля 2006 г., будучи старшим научным сотрудником Института физики Тартуского университета, канд. физико-математических наук. — А. С.

[261] Речь идет о статье адресата, являющейся ответом на статью Я.Е. Эльсберга «Схоластические концепции», опубликованную в журнале «Вопросы философии» (1961. № 1). Эта статья была в ряду статей (А. Егорова, И. Астахова, В. Разумного, П. Строкова и др.) с резкой критикой Л.Н. Столовича за его т. н. «общественную» (по сути дела, социокультурную) концепцию эстетического отношения, по которой объект этого отношения трактовался не как природная данность, а возникающий в процессе общественно-исторической практики человечества. «Общественная» концепция обвинялась, в частности Я.Е. Эльсбергом, в схоластике, субъективизме, игнорировании принципа коммунистической партийности, абстрактном гуманизме, игнорировании познавательной и воспитательной функций искусства и т. п. (см. очерк «Начало дискуссии об эстетическом (Исповедь общественника)» в кн.: Философия. Эстетика. Смех. СПб.; Тарту, 1999; в Интернете: <http://independent-academy.net/science/library/stolovich1.html>).

Я написал ответ Эльсбергу под названием «Чего же любила королева Квинтэссенция?», переадресовав обвинение в схоластике моему обвинителю. Но редколлегия на своем заседании 30 марта 1961 г. заблокировала мою статью, и журнал продолжал публиковать статьи, направленные против меня. Адресат этого письма получил возможность ответить Я.Е. Эльсбергу лишь после опубликования в «Вопросах философии» статьи президента Болгарской академии наук, известного философа-марксиста Годора Павлова «Схоластика и эмпиризм. Теория отражения и теория иероглифов» (1961. № 7), в которой он резко критиковал Эльсберга и тепло отзывался о моей книге «Эстетическое в действительности и в искусстве» (1959). 21 декабря на новом заседании редколлегии моя статья под названием «О двух концепциях эстетического» была принята при поддержке академика Б.М. Кедрова. Во 2-м номере журнала за 1962 г. она была, наконец, напечатана.

Написав свой ответ Эльсбергу, я в конце февраля – начале марта 1961 г. обратился к М.А. Лифшицу, которого необычайно ценил как выдающегося теоретика марксизма и блестящего полемиста и который с симпатией относился ко мне и моим эстетическим воззрениям, с просьбой прочесть мою статью и посоветовать, каким образом ее можно усо-

вершенствовать. В это время уже было известно, что Я.Е. Эльсберг был еще в 30–50-е гг. профессиональным провокатором и доносчиком, по вине которого пострадали и погибли многие люди, в том числе писатели и литераторы. — А. С.

[262] Янкелем Михаил Александрович называет Якова Эльсберга. — А. С.

[263] Разумный Владимир Александрович — одиозная фигура тех лет. В эти годы работал в секторе эстетики Института философии АН СССР. Будучи сыном известного кинорежиссера Александра Разумного, он имел большие связи среди деятелей искусства и в партийных кругах. Был в дружеских отношениях с Я. Эльсбергом. Появление новых веяний в эстетике он встретил весьма болезненно. В своих статьях и книжках В. Разумный также поносил «общественную» концепцию эстетического как субъективистскую и идейно порочную. Качество же его собственной продукции было достаточно точно определено М.А. Лифшицем в статье «В мире эстетики» (Новый мир. 1964. № 2 и в книге: *Лифшиц Мих.* Мифология древняя и современная. М., 1980. С. 418–463). — А. С.

[264] Речь идет о конспектировании К. Марксом в 1857–1858 гг. книги Фридриха Теодора Фишера (1807–1887) «Эстетика, или Наука о прекрасном». Этот конспект содержит выписки из книги Фишера без комментариев. Конспект Маркса находился в закрытом доступе Института Маркса и Энгельса. М.А. Лифшиц и Г. Лукачу удалось не только основательно познакомиться с этим конспектом, но и содержательно прокомментировать характер выписок, показывающих интерес Маркса к проблеме эстетики и соотношению объективного и субъективного, в период работы над экономическими трудами (см. в кн.: *Лифшиц Мих.* Вопросы искусства и философии. М., 1935. С. 254–255; *Лукач Г.* Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1937. С. 70–88. Притом Г. Лукач ссылается и солидаризируется со взглядами М.А. Лифшица). Текст этого конспекта Маркса впервые опубликован на русском языке в журнале «Диалог» (1990. № 10. С. 66–77). — А. С.

[265] М.А. Лифшиц ставит имя Ю. Борева рядом с именем Я. Эльсберга, имея в виду, вероятно, что Ю. Боров работал в эти годы в Институте мировой литературы им. М. Горького в секторе теории литературы, руководителем которого был Я. Эльсберг. Ю. Борову поэтому приходилось участвовать в некоторых коллективных изданиях сектора вместе с Я. Эльсбергом. Но Ю. Боров решительно выступил против Я. Эльсберга, как и И. Стахова, и В. Разумного и т. п., устно и в печати, в дискуссии о сущности эстетического отстаивая «общественную» концепцию эстетического, которую его «начальник» клеймил как субъективистскую, антимарксистскую, антипартийную. — А. С.

[266] Речь идет о фрагменте из «Экономических рукописей К. Маркса 1857–1858 гг.», опубликованном в «Архиве Маркса и Энгельса» (Т. IV. Партиздат ЦК ВКП (б). 1935. С. 97). — А. С.

[267] Макс Адлер (1873–1937) — австрийский философ и социолог, один из лидеров австрийской социал-демократии, теоретик австромарксизма и неокантианской ревизии марксизма. Отрицал разделение философии на материализм и идеализм. Толковал производственные отношения как «явления духовной жизни». — А. С.

[268] Возможно, Рубин Исаак Ильич (1886–1937) — советский экономист, считался в свое время вторым авторитетом по вопросам марксистской политэкономии после Н. Бухарина.

[269] М.Б. Митин в это время был главным редактором журнала «Вопросы философии». — А. С.

[270] Письмо датировано по почтовому штампу на конверте. Оно представляет собой отзыв на полемическую статью Л.Н. Столовича «О двух концепциях эстетического», направленную против статьи Я.Е. Эльсберга «Схоластические концепции», опубликованную в журнале «Вопросы философии» (1961. № 1). В письме от 15. III. 61 автору этих строк М.А. Лифшиц дал ряд ценных советов для доработки антиэльсберговской статьи. Настоящее письмо рассматривает результат этой доработки. Статья была опубликована во 2-м номере журнала «Вопросы философии» за 1962 г. — А. С.

[271] Имма (Имма-Маре) — в то время жена адресата. Андрес — его сын. — А. С.

[272] Кръстьо Горанов (Кръстьо Горанов) (1931–2000) — болгарский философ, эстетик, доктор философских наук (Москва, 1968), профессор, член-корреспондент Болгарской АН. Автор книг «Содержание и форма в искусстве» (М., 1962), «Художественный образ

и его историческая жизнь» (М., 1970) и других, изданных в Болгарии. В 1990 г. был мини-стрем культуры Болгарии. — А. С.

<sup>[273]</sup> Адресат письма остался неизвестным.

<sup>[274]</sup> Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) — литературовед, академик АН СССР (1966). Здесь имеется в виду статья Мих. Лифшица «Стыдливая социология» (Литературное обозрение. 1936. № 8. С. 36–41, под псевдонимом И. Иванов), посвященная его книге «Н.В. Гоголь» (1936). В письме В. Досталу от 24 апреля 1974 г. Мих. Лифшиц писал: «Хотят отделаться от демократических и культурных требований, отдав на растерзание марксизм. В этом секрет Сучковых, Храпченко и всей компании, их необходимость. Пусть старый спор возобновится» (Письма. С. 141). См. о нем также: *Varia* (по указателю); *Надоело* (по указателю) и наст. изд. О Храпченко как о персонаже, достойном пера Достоевского, писал О. Прокурин (<http://www.rosavl.ru/history/favorit/hrapchenko/proskurin.html>). — А. Б.

<sup>[275]</sup> Книпович Евгения Федоровна (1898–1988) — историк литературы, критик. Здесь имеется в виду статья Мих. Лифшица «Надоело» (Литературная газета. 1940. 10 января) и, может быть, тогда не опубликованная статья: *Лифшиц Мих.* Необходимые разъяснения (Тайны мадридского двора) // Почему я не модернист? С. 366–376. См. также: *Надоело* (по указателю). «Ведь это она [Книпович] и ей подобные разделяют ответственность за разложение интеллигенции, о котором Вы пишете, — они поощряли весь этот сдвиг к модернизму и западничеству» (Письма. С. 102, письмо В. Досталу от 23 мая 1971 г.). — А. Б.

<sup>[276]</sup> См.: *Агапов Бор.* Против снобизма в критике // Литературная газета. 1954. 6 апреля. № 41. С. 2–3. Агапов Борис Николаевич (1899–1973) — писатель, киносценарист, лауреат Сталинских премий (1946, 1948). Вероятно, имеется в виду «Бизнес. Сборник Литературного центра конструктивистов». Госиздат, 1929. В 20-е гг. Б. Агапов входил в группу конструктивистов; конструктивисты рассматривали художественное произведение как «целесообразную конструкцию», сводя творческий процесс к чисто механическому «деланию вещей». См. также: «Борис Агапов, сильно подкрепившись, распахнул рубашку и выпятил пузо с возгласом: “Заголимся, братия!”», после чего пустился скакать» (Очерки русской культуры. С. 241–242). — А. Б.

<sup>[277]</sup> Все публикуемые в настоящем сборнике письма (кроме двух писем Л.Н. Столовичу) находятся в папке № 398 «Ответы М. А.» Архива Мих. Лифшица.

Македонов Адриан Владимирович (1909–1994) — друг А. Твардовского и Мих. Лифшица, литературовед, публиковавшийся в журнале «Литературный критик» (Мих. Лифшиц ценил его статьи о Пушкине, опубликованные в этом журнале), доктор геологических наук, провел в заключении и затем ссылке в Воркуте 19 лет.

<sup>[278]</sup> Речь идет о работе Мих. Лифшица «Античный мир, мифология, эстетическое воспитание», которая впервые была опубликована в качестве предисловия в сборнике «Идеи эстетического воспитания» (1973).

<sup>[279]</sup> Роман немецкого писателя Томаса Манна (Mann; 1875–1955) «Иосиф и его братья» (1933–1943). — А. Б.

<sup>[280]</sup> Дынин Михаил Александрович (1896–1971) — философ, член-корреспондент АН СССР (1958). Основные труды по истории греческой философии. Лауреат Государственной премии СССР (1943). «Один профессор 30-х годов писал о нем [Сократе]: “В философии Сократа софистическая гибкость понятий непосредственно становится на службу идеалистического миропонимания и политической практики реакционной афинской аристократии” (Дынин М. Очерки истории философии классической Греции. М., 1936. С. 173). Теперь уже никто не напишет такой социологической ахинеи» (В мире эстетики. С. 297–298). — А. Б.

<sup>[281]</sup> Возможно, имеется в виду близкий к «течению» искусствовед, специалист по античности И.А. Ильин, книгу статей которого «История искусства и эстетика» (М., 1983) Мих. Лифшиц подготовил к печати и опубликовал о нем большой очерк «Человек тридцатых годов» (В мире эстетики. С. 189–312).

<sup>[282]</sup> Г.М. Фридендер. См. о нем наст. изд., примеч. 16.

<sup>[283]</sup> Вероятно, имеется в виду книга: *Лифшиц Мих.* Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М.: Художественная литература, 1972. — А. Б.

<sup>[284]</sup> Жена А.В. Македонова.

[285] Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — писатель, драматург, поэт, лауреат Сталинской премии (1946), Герой Соцтруда (1974). Здесь, вероятно, имеется в виду его «антисоветская» повесть «Уже написан Вертер» (Новый мир. 1980. № 6. С. 122–156). «Осваг» (Осведомительное агентство) — информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии Деникина, белого движения на юге России. Выразительный портрет Катаева, образца 1937 г., оставила в своих «Воспоминаниях», в главе «Старое и новое», Н.Я. Мандельштам: «Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многоликой литературы», и в то же время — «настоящий сталинский человек». «В нем есть настоящий бандитский шик» (О. Мандельштам), со смешением «шутки» и «хари», желанием «прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства», «двенадцати томов — с золотыми обрезками!», цинизмом и такими жизненными принципами: «...Лишь бы не рассердить начальство...», «...не надо искать правду: “Правда по-гречески называется мрия” (Каламбур; украинское “мрія” означает “греза”, “мечта”)» (см.: Юность. 1989. № 7. С. 55, 57). Об этом типичном сталинском «мастере» (см. примеч. 183) сам О. Мандельштам написал: «Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия» (*Мандельштам О.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Терра, 1991. С. 186, а также см. примеч. к этому тому. С. 606, 616). Не менее резко охарактеризовала Катаева М. Булгаков (см.: Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 248). — А. Б.

[286] Вероятно, этот писатель — Александр Альфредович Бек (1902–1972), наиболее известные произведения которого — повесть «Волоколамское шоссе» (1943–1944) и роман «Новое назначение» (1965; опубликован в ФРГ в 1972 г., в СССР — в 1986 г.). См.: *Лифшиц Мих.* Вопрос и ответ // Художник. 1986. № 9. С. 61. — А. Б.

[287] Этот отзыв Мих. Лифшица (хранящийся в его архиве, папка «Внутренние рецензии») мы приводим как пример отношения Мих. Лифшица к серьезным ученым, с идеями которых он был не согласен.

[288] Ср., что пишет о «всечеловеке», например, модный ныне философ и филолог М. Эпштейн: Дар слова. Еженедельный лексикон Михаила Эпштейна. 9 октября 2000 г. // <http://old.russ.ru/antolog/intelnet/dar10.html>. — А. Б.

[289] О И.Е. Верцмане см. также: *Косолапов Р.* Об одном «брежневском» юбилее И.В. Сталина // <http://prometej.info/new/history/739-stalin1917.html>. — А. Б.

[290] Небезынтересно отметить, что Д.Е. Максимов, наряду с Л. Гинзбург, Д. Лихачевым, А. Рахмановым, подписал текст «Осторожно — искусство!» (Литературная газета. 1967. 15 февраля), направленный против статьи Мих. Лифшица «Почему я не модернист?». — А. С.

[291] О дискуссии по проблемам сущности эстетического отношения (эстетическое) см. очерк пишущего эти строки «Начало дискуссии об эстетическом. Исповедь “общественника”» в книге: *Столович А.* Философия. Эстетика. Смех (СПб.; Тарту, 1999. С. 109–178). Этот очерк воспроизведен в несколько дополненном виде в Интернете: <http://independent-academy.net/science/library/stolovich1.html>. — А. С.

[292] После кончины Михаила Александровича я переслал в его архив микрофильм с этими письмами. В настоящее время их оригиналы находятся вместе с моим архивом в Библиотеке Стэнфордского университета в США, при том, что некоторые из них сохранены в копии на моем компьютере. — А. С.

[293] *Лифшиц Мих.* Вопросы искусства и философии. М., 1935. С. 255. — А. С.

[294] Об этом эпизоде я написал в своей книге «Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии» (Таллин, 2003. С. 75–77). — А. С.

[295] См.: Михаил Александрович Лифшиц. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010 (Философия России второй половины XX в.). С. 17.

[296] Собр. соч. С. 68.

[297] Там же. С. 69.

[298] Цит. по: Михаил Лифшиц // Альтернативы. 1995. № 4. С. 151.

[299] *Лифшиц Мих.* Письмо Г. Лукачу // Что такое классика? С. 162.

[300] *Достоевский Ф.М.* Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1956. С. 240.

[301] *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс, Энгельс. Т. 42. С. 118.

[302] Заметка Мих. Лифшица на полях романа «Братья Карамазовы» — см. в наст. изд.

[303] «Отсюда вывод — непримиримый ко всякому идеалистическому мировоззрению последователь марксистского атеизма обязан искать союза с христианами, язычниками, мусульманами, последователями Фомы Аквинского или философа Кьеркегора, лишь бы это был союз для действительной борьбы против оплота всякой реакции, в том числе и духовной» (Либерализм и демократия. С. 319).

[304] См. об этом: *Лифшиц Мих.* Художественный метод Бальзака // Собр. соч. Т. II. С. 344.

[305] Статья, посвященная разъяснению этой идеи, — «Чего не надо бояться», опубликована в журнале «Коммунист» (1978. № 2) и не была понята либеральной публикой.

[306] Почему я не модернист? С. 484.

[307] *Лифшиц Мих.* На деревню дедушке // Либерализм и демократия. С. 279.

[308] В журнале «НЛО», брезгливо отторгающем халтуру, читаем в статье Н. Полтавцевой «Платонов и Лукач»: «...именно в круге деятельности “течения” Лукача–Лифшица закладывался и активно обсуждался основной корпус эстетических и философских идей и концепций, ставший потом во многом основой советской марксистско-ленинской эстетики и, следовательно, главной версией интерпретационного кода “соцреализма”» (НЛО. № 107). «Советский вариант марксистско-ленинской эстетики был, по сути, созданием одного человека — Михаила Лифшица», — пишет и Д. Гутов (см. об этом: *Арсланов В.Г.* Постмодернизм и русский «третий путь». *Tertium datur российской культуры XX века.* М., 2007. С. 628–629).

И верно, да скверно! — замечает Лифшиц, терпеливо объясняя читателю еще с середины 30-х гг., почему официальная «советская марксистско-ленинская эстетика» — это и не эстетика, и не философия в строгом смысле слова, а, как он сформулировал однажды, «морософия».

[309] Не случайно именно Я.Е. Эльсберг (см. публикуемую в наст. изд. статью Лифшица о нем) оказался одним из пионеров советского либерализма, начавших подкоп под азбучными истинами марксизма еще в 1957 г.

[310] История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский. СПб., 2011. С. 593.

[311] *Усиевич Е.* Разговор о герое // Литературный критик. 1938. № 9–10. С. 159.

[312] Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме О. Дормана. М., 2010. С. 228.

[313] *Лифшиц Мих.* Почему я не модернист? // Почему я не модернист? С. 40–41.

[314] См. там же. С. 553.

[315] См.: Либерализм и демократия. С. 326.



## КРАТКИЕ НАЗВАНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ПО ТЕКСТУ ИЗДАНИЙ

### Произведения Мих. Лифшица

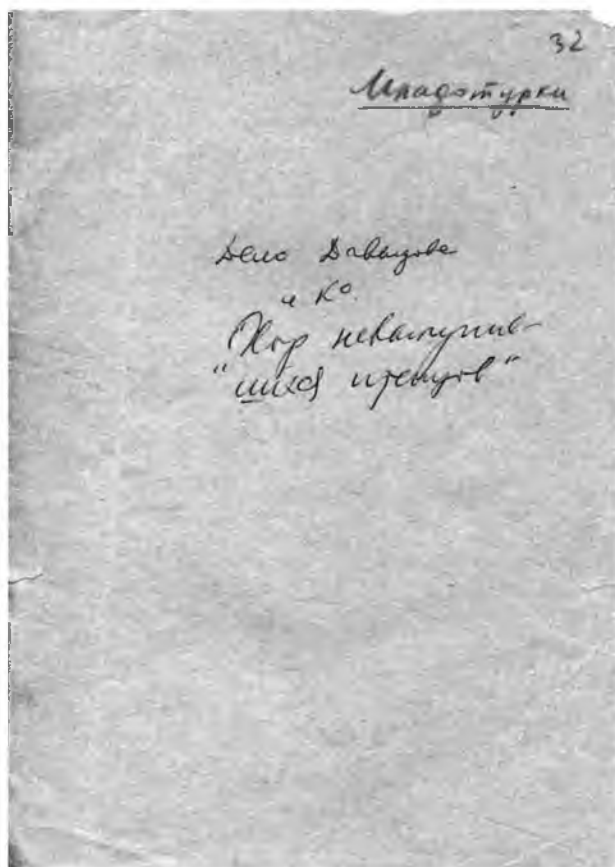
- В мире эстетики** — *Лифшиц Мих.* В мире эстетики. Статьи 1969–1981 гг. М.: Изобразительное искусство, 1985. 320 с.
- Из автобиографии идей** — Из автобиографии идей. Беседы М.А. Лифшица / Обработка записей бесед, введение и примечания А.А. Вишневецкого // Контекст. 1987. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1988 (Академия наук СССР, Институт мировой литературы им. А.М. Горького). С. 264–319.
- Искусство и современный мир** — *Лифшиц Мих.* Искусство и современный мир. М.: Изобразительное искусство, 1973. 320 с.
- Искусство и современный мир, 2** — *Лифшиц Мих.* Искусство и современный мир. 2-е изд., доп. М.: Изобразительное искусство, 1978. 384 с.: ил.
- Карл Маркс. Искусство и общественный идеал** — *Лифшиц Мих.* Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М.: Художественная литература, 1972. 472 с.
- Карл Маркс. Искусство и общественный идеал, 2** — *Лифшиц Мих.* Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1979. 471 с.
- Либерализм и демократия** — *Лифшиц Мих.* Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М.: Искусство — XXI век, 2007. 336 с.
- Мифология** — *Лифшиц Мих.* Мифология древняя и современная. М.: Искусство, 1980 (1979). 582 с.
- Надоело** — *Лифшиц Мих.* Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. Беседы. Статьи. Выступления. М.: Искусство — XXI век, 2012. 574 с.
- О Гегеле** — *Лифшиц Мих.* О Гегеле. М.: Grundrisse, 2012. 304 с.
- Очерки русской культуры** — *Лифшиц Мих.* Очерки русской культуры. Из неизданного. М.: Наследие; Фабула, 1995. 245 с.
- Переписка** — Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М.: Grundrisse, 2011. 296 с.
- Почему я не модернист?** — *Лифшиц Мих.* Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М.: Искусство — XXI век, 2009. 606 с.: ил.
- Поэтическая справедливость** — *Лифшиц Мих.* Поэтическая справедливость. Идея эстетического воспитания в истории общественной мысли. М.: Фабула; Издательский центр, 1993. 472 с.
- Собр. соч.** — *Лифшиц Мих.* Собрание сочинений в трех томах. М.: Изобразительное искусство, т. I, 1984, 432 с.; т. II, 1986, 448 с.; т. III, 1988, 560 с.

**Что такое классика?** — *Лифшиц Мих.* Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира. «Истинная середина». М.: Искусство — XXI век, 2004. 512 с.: ил.

---

**Ленин** — *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 1–55. М.: Государственное издательство политической литературы, 1958–1965.

**Маркс, Энгельс** — *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 1–50. М.: Издательство политической литературы, 1955–1981.



Обложка папки «Младотурки. Дело Давыдова и К°.  
“Хор невылупившихся птенцов”»



По-ран издана ест.  
 нова догадка на 16

\* - издана ест.  
 Он издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

А издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

Кремль

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

издана ест. издана ест.  
 издана ест. издана ест.

яснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокаиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предельно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? где у меня первоначальные причины, на которые в упор, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же, наконец, в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не винки.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следовательно, и отшатает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следовательно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все перебить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь,— предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никак не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход — то есть стену побольше прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это

время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя знамя надул. В результате: мыльный пузырь и инициация. О господи, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтуш, бездельник, досадный болтуш, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее.

VI

О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй!» — да ведь это звание и назначение, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первого клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? мне это давно мерещилось. Это «прекрасное и высокое» слышало так надвинуло мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, — а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом вы-

Страницы 146–147 из 4 тома Собр. соч. Достоевского в 10 томах с маргиналиями Мих. Лифшица



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абеляр П. 55  
Абрамов Ф.А. 140  
Августин Блаженный 32, 109  
Агапов Б.Н. 140  
Адлер М. 137  
Адорно Т. 53, 173, 217  
Аксаков К.С. 153  
Александр III 13  
Александр Невский 194  
Александров (Келлер) В.Б. 3, 37, 40, 41, 43, 128  
Алкей 165  
Алкивиад 199  
Алтаузен Д.М. 224  
Альтман И.Л. 125  
Андреев Л.Н. 17–20  
Аникст А.А. 120  
Антонины 56  
Аполлинер Г. 97, 170  
Аракчеев А.А. 185, 187  
Арендт Х. 174  
Аристотель 147, 165, 177, 241, 246  
Аристофан 131, 191  
Аскольдов С.А. 99  
Асмус В.Ф. 135, 142–144, 242  
Астахов И.Б. 211, 212, 215, 246, 247  
Ауэрбах Б. 149
- Бабель И.Э. 224  
Байрон Д.Н.Г. 23, 52, 58, 97, 176  
Бакунин М.А. 24–26, 35, 38, 61, 85, 91, 95, 185–187, 193, 194, 200, 225  
Бальзак О. 23, 36, 43, 52, 105, 120, 125, 131, 132, 148, 149, 151, 183, 191, 193, 221, 224  
Бауэр Б. 25, 145  
Бахтин М.М. 23, 30, 52, 79, 97–102, 105, 107–110, 114, 115, 117, 120, 162, 167, 175, 217, 222, 223  
Безыменский А.И. 224  
Белинский В.Г. 18, 22, 25, 47, 50, 54, 57, 63, 74, 81, 85, 94, 96, 109, 115, 147, 150, 154, 156, 158, 162, 165, 184, 188, 197, 201, 204, 235, 243  
Бергсон А. 242  
Бердяев Н.А. 6–8, 10, 145, 212, 214, 215, 218, 222  
Бернар К. 21, 39, 48, 75, 104, 113, 116, 181, 182



- Бернарден де Сен-Пьер Ж.А. 236  
Бетховен Л. ван 151, 167, 226  
Бехер Э. 95  
Бирон Э.И. 202  
Бисмарк О. фон Шёнхаузен 150  
Бланки Л.О. 94  
Блок А.А. 4, 25  
Богданов А.А. 95  
Бодлер Ш. 44  
Болинброк (Болингброк) Г.С.-Д. 66  
Большцман Л. 142  
Бонапарт, см. Наполеон I  
Бонч-Бруевич В.Д. 31  
Бор Н. 222  
Борев Ю.Б. 136  
Босх И. 209  
Бочаров С.Г. 130–132, 245  
Браунинг Р. 149  
Брежнев Л.И. 218  
Бугенвиль Л.А. де 51  
Булгаков М.А. 169, 226, 242  
Булгарин Ф.В.  
Бунин И.А. 25  
Бурбоны 130  
Бурже П.Ш.Ж. 104  
Буркгардт Я. 118  
Буртин Ю.Г. 224
- Вагнер Р. 25  
Ван Гог В. 53  
Ванслов В.В. 136  
Ван Эйк 166  
Васильев П.Н. 224  
Венецианов А.Г. 177  
Верцман И.Е. 171  
Видмар И. 244  
Вильгельм II 166  
Винер Н. 15  
Виноградов И.И. 132  
Виппер 108  
Вовчок М. 183  
Вогюэ Э.М. де 150  
Водолазов Г.Г. 132  
Волынский А.А. 98  
Вольтер (Аруэ М.Ф.) 66, 97, 115, 181, 185, 192, 200, 201, 231

- Гагарин Ю.А. 4  
Гайдар Е.Т. 134  
Гартман (Хартман) Н. 97  
Геббель (Хеббель) К.Ф. 25  
Гегель Г.В.Ф. 15, 44, 47, 50, 67, 92, 95, 102, 103, 114, 115, 132, 133, 134, 140, 148, 178, 192, 205, 216, 219, 225, 226, 233, 235, 237, 239  
Гейне Г. 29, 38, 65, 148, 199, 216  
Георге С. 150  
Гердер И.Г. 139  
Герострат 23  
Герцен А.И. 4, 25, 29, 30, 32, 33–35, 38, 39, 54, 61, 64, 71, 78, 88, 91, 95, 100, 112, 154, 159, 162, 169, 174, 185–188, 193, 201, 202, 225  
Гесиод 142  
Гёте И.В. 38, 46, 50, 54, 56, 103, 166, 177, 178, 185, 193, 218, 221, 225, 243  
Гефтер М.Я. 36  
Гильдебрандт (Хильдебрандт) А. фон 139  
Гитлер А. 174, 243  
Глинка М.И. 151  
Гоголь Н.В. 10, 23, 46, 50, 52, 106, 107, 109, 112, 145, 154  
Голодный М.С. 224  
Голосовкер Я.Э. 31, 115–117  
Гомер 20, 109, 142  
Гонкур Э. и Ж. 181  
Гончаров А.А. 195  
Гончаров И.А. 88, 204  
Горанов К. 139  
Горбачев М.С. 130  
Горький А.М. 13, 122, 125, 245  
Гофман Э.Т.А. 46, 52  
Грамши А. 167, 168  
Гриб В.Р. 3, 171, 179  
Грибачев Н.М. 211  
Грибоедов А.С. 39, 82, 201, 203, 204, 230, 233  
Григорий Турский 153  
Григорьев А.А. 202, 203  
Григорьев П.В. 96  
Грин Г. 164  
Грозный (Иван IV Васильевич) 27  
Гроссман Л.П. 24, 76–78, 99, 105, 106  
Гулыга А.В. 126, 195, 196, 234  
Гуссерль Э. 241, 242

Давыдов Ю.Н. 130, 132–134, 245

Дали С. 224

Даль В.И. 174

- Данелия С.И. 204  
Данилевский Н.Я. 153  
Данте А. 102, 105, 109, 156, 185, 191, 212, 243  
Дантон Ж.Ж. 162  
Деборин А.М. 142  
Дедков И.А. 132  
Дезами Т. 78  
Декарт Р. 73, 217  
Демокрит 15, 219  
Деникин А.И. 143  
Державин Г.Р. 147  
Джемс (Джеймс) У. 104  
Джойс Д. 219  
Дзержинский Ф.Э. 220  
Дидро Д. 51, 63, 100, 110, 132, 139, 176, 199, 206, 207, 217–219, 221, 231  
Диккенс Ч. 23, 109, 160  
Диоген Синопский 88  
Дитмар Мерзебургский 153  
Дмитриева Н.А. 133  
Добролюбов Н.А. 46, 52, 53, 115, 150, 162, 183, 184, 204  
Долинин А.С. 99  
Долматовский Е.А. 224  
Достал В. 162, 164, 165, 167, 174, 175  
Дуров 79  
Дымшиц А.А. 98, 129, 130, 132  
Дынный М.А. 142  
Дюрер А. 46  
Дюркгейм Э. 141
- Екатерина II 138  
Ельцин Б.Н. 134, 230, 234  
Ермилов В.В. 17, 18, 94, 113, 124, 125, 131–133, 219, 223, 224, 242
- Жаров А.А. 224  
Жданов А.А. 212, 241  
Желябов А.И.  
Жид А. 170  
Жуковский В.А. 122
- Заболоцкий Н.А. 29  
Зайцев В.А. 93, 94  
Засулич В.И. 77  
Золя Э. 48  
Зубатов С.В. 225

- Иванов Вс. В. 124  
Иванов Вяч. И. 98, 99  
Иванчин-Писарев А.И. 96  
Ильенков Э.В. 132, 133, 206, 222  
Ильин И.А. 142, 197, 198  
Иов 65, 66
- Кабе Э. 78  
Калигула 9, 44  
Кант И. 41, 42, 54, 82, 95, 115–117, 215, 218  
Карякин Ю.Ф. 17, 21, 29, 132, 216, 220, 246  
Кассирер Э. 141  
Катаев В.П. 143  
Катков М.Н. 77, 87, 93  
Каус О. 100–102  
Каутский К. 136  
Кёппен К.Ф. 145  
Киреевский И.В. 153  
Кирпотин В.Я. 105, 125, 131, 133  
Книпович Е.Ф. 125, 140, 148  
Козьмин Б.П. 94–96  
Козюра Н.Н. 211  
Комарович В.А. 101  
Констан Б.А. де Ребек 58  
Конт О. 117  
Конфуций 10  
Крамской И.Н. 53, 112, 157  
Критий 53, 200  
Крылов И.А. 180  
Ксенофонт 199  
Кузен В. 202  
Куприн А.И. 70  
Кьеркегор С. 92, 114, 250
- Лавров П.А. 34  
Лагерлеф С. 32  
Лакло П.Ш. де 54  
Лакшин В.Я. 131  
Ларошфуко Ф. де 59  
Лассаль Ф. 25, 148  
Латынина А.Н. 48  
Лафонтен Ж. де 33  
Леви-Стросс К. 141  
Ленин В.И. 6, 34, 48, 53, 108, 116, 123, 127, 131, 139, 150, 158, 161, 164, 168, 169, 174, 180, 185, 186, 188, 192, 193, 198, 209–211, 214, 216–218, 230, 232, 243

- Леонтьев К.Н. 126, 130–132  
Лермонтов М.Ю. 28, 45–48, 57, 88, 89, 154  
Лесков Н.С. 41, 138  
Лессинг Г.Э. 163  
Липранди П.П. 89  
Лихачев Д.С. 135, 143  
Локк Д. 231  
Ломоносов М.В. 4  
Лоррен К. 206  
Лосев А.Ф. 135, 141, 142  
Лукач Г. (Д.) 3, 47, 131, 133, 134, 207, 217, 223, 226, 237, 241, 246, 247, 250  
Лукреций К. 243  
Луначарский А.В. 105, 165, 171, 181, 182, 209, 210, 217, 230  
Лунгина Л.З. 129, 224  
Лунин М.С. 26, 89, 93  
Люксембург Р. 49
- Македонов А.В. 141, 143  
Максимов Д.Е. 212  
Малевич К.С. 172, 194  
Манн Г. 166  
Манн Т. 141, 150  
Мануйлов В.А. 212  
Марат Ж.П. 165, 193  
Маркс К. 6, 21, 22, 38, 49, 53, 55, 95, 108, 114, 117, 120, 130, 136, 137, 139, 145, 148, 161, 174, 183, 186, 188, 192, 193, 196, 198, 200, 213, 217–219, 221–223, 225, 236, 237, 242  
Маяковский В.В. 190  
Мелетинский Е.М. 120  
Мережковский Д.С. 35–37, 45, 57, 98, 116, 145, 163, 168, 218  
Мещерский В.П. 77  
Мильтон Д. 165, 221  
Милюков П.Н. 143  
Миртов, см. Лавров П.Л.  
Митин М.Б. 138  
Митчелл С. 131  
Михайлов М.А. 187  
Михайлов М.Г. 185, 205  
Михайловский Н.К. 34, 77, 189, 194  
Модильяни А. 11  
Мольер Ж.Б. 50  
Монтень М. де 37, 45  
Мопассан Г. де 149

- Надеждин Н.И. 45, 146  
Наполеон I 22, 23, 148, 166, 216  
Некрасов Н.А. 45, 46, 77, 147, 148, 192, 240  
Непомнящий В.С. 130, 132, 245  
Нечаев С.Г. 21, 24, 29, 38, 90, 92, 96, 159, 160, 185–189, 223, 232  
Никитенко А.В. 45  
Нитгард 153  
Ницше Ф. 23, 25, 38, 39, 42, 148–150, 170, 188, 200  
Нуйкин А.А. 174
- Огарев Н.П. 29, 37, 186, 188, 193, 201, 202  
Ордин-Нащокин А.Л. 153  
Оруэлл Д. 160  
Островский А.Н. 14, 47, 128
- Пажитнов А.Н. 133  
Пазолини П.П. 224  
Палиевский П.В. 4  
Переверзев В.Ф. 25, 34, 52, 174  
Петр I 153, 154  
Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) М.В. 23, 78  
Петросян Р.С. 140  
Пикассо П. 10, 123, 215  
Пинский А.Е. 224  
Писарев Д.И. 25, 94  
Платон 6, 47, 132, 142, 178, 199, 219, 237, 246  
Платонов А.П. 224, 245, 250  
Плеханов Г.В. 4, 25, 170, 193, 217  
Победоносцев К.П. 191, 200  
Погодин М.П. 153  
Покровский М.М. 141  
Пол Пот 143  
Полежаев А.И. 46  
Полонский В.П. 24, 25  
Померанцев В.М. 140  
Помяловский Н.Г. 170  
Прудон П.Ж. 94  
Пуришкевич В.М. 143  
Пушкин А.С. 4, 18, 20, 30, 39, 45–47, 52, 54, 55, 82, 89, 93, 94, 112, 126, 127, 130,  
145–147, 151–154, 156, 161, 162, 165, 166, 168, 170, 173, 177, 181, 185, 193, 198,  
199–202, 204, 221, 224, 232
- Радзинский Э.С. 195  
Разин С.Т. 91  
Разумный В.А. 130, 135, 213

- Расин Ж. 109  
Рафаэль Санти 91, 189, 194  
Рейнгардт Л.Я. 135, 170  
Решетников Ф.М. 194  
Рисмэн (Рисмен) Д. 197, 231  
Розанов В.В. 98, 132, 174, 204, 218, 222  
Розенберг А. 146, 150  
Роллан Р. 30  
Романовы 203  
Рубин 137  
Руссо Ж.Ж. 50, 51, 54, 207, 237
- Сад Д.А.Ф. де 23, 26, 54, 62, 218  
Сазонов Н.И. 87, 154  
Салтыков-Щедрин М.Е. 19, 25, 31, 40, 46, 48, 77, 162, 172, 187, 189, 204, 240  
Санд Ж. 51, 54  
Сартр Ж.П. 111  
Сац И.А. 3, 234  
Свифт Д. 131, 181, 185  
Сезанн П. 118  
Сенковский О.И. 45  
Сен-Симон К.А. де Рувруа 216, 223  
Сервантес Сааведра М. де 156, 171, 185  
Серно-Соловьевич А.А. 187  
Симонов К.М. 194  
Соколов-Микитов И.С. 33  
Сократ 47, 142, 195, 199, 200, 207  
Солженицын А.И. 163, 164, 243  
Соловьев В.С. 145, 154  
Софокл 177  
Спасович В.Д. 76  
Спешнев Н.А. 24  
Спиноза Б. 225  
Сталин И.В. 14, 95, 120, 124, 143, 209, 216, 218, 231, 241, 249  
Стендаль 148, 149, 160  
Столович А.Н. 135, 138, 211–215, 217  
Страхов Н.Н. 184  
Суворов А.В. 8  
Сумароковы-Эльстон 174  
Сю Э. 167
- Татлин В.Е. 194  
Твардовский А.Т. 130, 211, 233  
Теннисон А. 149  
Тиссен 56

- Ткачев П.Н. 35, 58, 59, 75, 91, 94–96, 223  
Толстой Л.Н. 4, 18, 20, 23–25, 28–30, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 59–61, 63, 66, 76, 77, 98, 101, 112, 114, 123, 125, 126, 128, 131, 132, 146–149, 151, 154, 157, 160, 164, 170, 177, 178, 181, 184, 188, 190, 193, 194, 207–209, 219, 243  
Трепов Ф.Ф. 77  
Троцкий Л.Д. 215  
Тургенев И.С. 25, 101, 128, 145, 149, 151, 203, 209, 245  
Тургенев Н.И. 203
- Уотсон Д.Б. 7  
Усиевич Е.Ф. 3, 207  
Успенский Г.И. 41, 96, 189
- Фадеев А.А. 133  
Фейерабенд П.К. 195  
Фейербах Л. 65, 66, 89, 139  
Феллини Ф. 143  
Фет А.А. 209  
Фешин Н.И. 11  
Фигнер В.Н. 132  
Фидий 194  
Фиораванти А. 4  
Фишер Ф.Т. 136  
Флобер Г. 43, 149, 185  
Фонвизин Д.И. 204  
Фонтенель Б.А.Б. де 81  
Франс А. 164  
Франциск Ассизский 66  
Фрейд З. 35, 38, 161, 182, 217  
Фрейтаг Г. 149, 185  
Фридлендер Г.М. 17, 142, 158  
Фромм Э.  
Фруассар Ж. 153  
Фурье Ш. 44, 45, 163, 223
- Хаксли О. 171  
Хемингуэй Э. 24, 164  
Херст П. 189  
Хлебников В.В. 29  
Хомяков А.С. 153  
Хоркхаймер М. 53  
Храпченко М.Б. 4, 57, 58, 124, 129, 132–134, 140, 219, 223, 224, 232, 242  
Христиансен Б. 101  
Христос 33, 34, 64, 66, 78, 195, 217



Цвангер

Цветаева М.И. 126

Цезарь Гай Юлий 28, 163

Цеткин К. 168

Чаадаев П.Я. 202

Чаплин Ч.С. 209

Чернышевский Н.Г. 18, 37, 46, 60, 83, 84, 95, 115, 147, 148, 150, 162, 187, 188, 199, 207

Чехов А.П. 70, 230

Чингисхан 30, 31, 78

Чубайс А.Б. 130, 134

Шагинян М.С. 140, 216

Шамполион (Шампольон) Ж.Ф. 142

Шарьен 153

Шахматов А.А. 152

Швиттерс К. 170

Шекспир У. 28, 31, 50, 52, 82, 91, 105, 120, 125, 127, 137, 156, 177, 184, 185, 191, 197, 201, 218, 230

Шелгунов Н.В. 96

Шеллинг Ф.Г. 146

Шестов А. 98

Шиллер Ф. 24, 46, 52, 54, 56, 76, 143, 144, 169

Шкловский В.Б. 105, 242

Шлегель Ф. 56

Шмидт Ю. 54

Шпенглер О. 141, 212, 214

Шпет Г.Г. 34

Шпильгаген Ф. 149, 185

Шрагин Б.И. 130, 133

Штирнер М. 64, 80, 200

Штрассер О. 174

Щеглов М.А. 140

Щедрин, см. Салтыков-Щедрин М.Е.

Эвклид 34, 63

Эйнштейн А. 99

Элиаде М. 176

Эльсберг Я.Е. 122–124, 129–138, 213, 219, 223, 224, 246, 247, 250

Энгельгардт Б.М. 101, 102

Энгельс Ф. 15, 19, 36, 39, 53, 55, 95, 117, 136, 143, 148, 150, 173, 188, 192, 194, 198, 222

Энгельсон В.А. 45

Эпиктет 54

Эренбург И.Г. 34, 171, 232

Эсхил 178, 191

Ювенал Децим Юлий 50

Юдин П.Ф. 138

Южаков С.Н. 19

Юнг К.Г. 70, 117, 120, 231

Ясперс К. 161

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ( <i>В. Арсланов</i> ).....	3
<b>I. РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ</b> .....	6
<b>II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И НАБРОСКИ МИХ. ЛИФШИЦА К КНИГЕ О ДОСТОЕВСКОМ</b> .....	17
1. Архивные заметки о творчестве Достоевского (1950–1970-е годы).....	17
2. Заметки о романе «Братья Карамазовы».....	58
3. Заметки на полях повести «Записки из подполья» .....	78
4. Заметки о романе «Бесы».....	87
5. Фрагменты из архивной папки № 302 «Бланки. Ткачев» .....	94
<b>III. «ЭТО ВО ВСЕ НЕ РЕЗОН, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА КОНЧИЛАСЬ, ВРИ, КТО ХОЧЕТ»</b> .....	97
6. Заметки о книге М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» .....	97
7. Заметки на полях книги Я.Э. Голосовкера «Достоевский и Кант. Размышление читателя над романом “Братья Карамазовы” и трактатом Канта “Критика чистого разума”» .....	115
8. Современный капитализм, классовый анализ, бунт, критика Бахтина и Юнга.....	117
<b>IV. МИХ. ЛИФШИЦ И СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ</b> .....	122
9. «Эльсбергиана» .....	122
10. Продолжение старого спора .....	124
11. Мих. Лифшиц об А.Ф. Лосеве, Д.С. Лихачеве, В.Ф. Асмусе, Я.Е. Эльсберге и др. ....	135
<b>V. МИХ. ЛИФШИЦ О ДОСТОЕВСКОМ (ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАНЕЕ ТЕКСТОВ)</b> .....	145
Комментарии.....	211
Примечания .....	227
Краткие названия цитируемых по тексту изданий .....	249
Указатель имен .....	256

*Научное издание*

Лившиц Михаил Александрович

# ПРОБЛЕМА ДОСТОЕВСКОГО

## (РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ)

Компьютерная верстка  
*К. А. Крылов*

Корректор  
*Т. Ю. Коновалова*

ООО «Академический Проект»  
111399, Москва, ул. Мартеповская, 3.  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012.  
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51  
ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ»

Издательство «Культура»  
105215, Москва, ул. Парковая 13-я, д. 27, оф. 2

*По вопросам приобретения книги просим обращаться  
в ООО «Трикси»:*

*111399, Москва, ул. Мартеповская, 3  
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088  
E-mail: [info@aproject.ru](mailto:info@aproject.ru)  
Интернет-магазин: [www.aproject.ru](http://www.aproject.ru)*

Подписано в печать ???.?.12.

Формат 60×90/16. Гарнитура MyslC. Бумага писчая.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. ??.?. Тираж ??00 экз.  
Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».  
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.